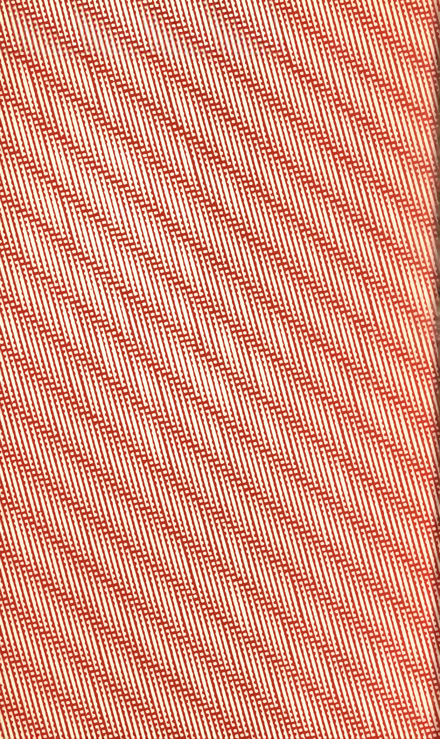

Александр ВАСИЛЬЕВ
МЕ-
МО-
РИ-
АЛ





Александр ВАСИЛЬЕВ

МЕМО-РИ-АЛ



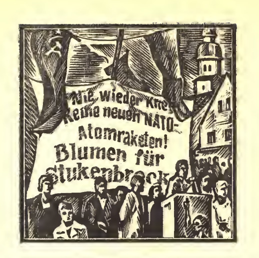
МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1986

ББК 84Р7
В 19

Слово «мемориал» (от латинского «мемориалис» — «памятный») имеет несколько значений. Одно из них—записки, дневник, свидетельство о виденном и пережитом; другое — памятное сооружение в честь кого-либо (преимущественно жертв войны...)

Из Энциклопедического словаря

В $\frac{4702010200-267}{078(02)-86}$ КБ—024—002—86



ВЗГЛЯД С ВЫСОТЫ

Возможно, кое-кому это название главы покажется условным. Полет проходил на высоте одиннадцать тысяч метров, откуда земля, как правило, не видна — это знает каждый, кто поднимался на подобную отметку. Под крылом расстилалась белая пустыня, вся в легких барханчиках облаков, и наш лайнер, казалось, парил неподвижно. Проходило некоторое время — пустыня меняла окраску. Вглядываясь, я различал даже оттенки цветов, напоминавшие нежностью японский фарфор или картины ранних импрессионистов. Но землю за все три часа пребывания на высоте я так и не увидел.

Однако название осталось. Возможен ведь и другой взгляд, подумалось мне, — взгляд памяти. Киев... Житомир... Славута... Здесь проходил когда-то мой крестный путь. И дальше, уже на польской земле, — Хелм... Познань... Тогда эти города назывались по-другому, на тевтонский лад — Холм, Позен... Мне хотелось посмотреть на них, хотя бы сверху. Впрочем, с высоты все, наверно, выглядит иначе. Все разумно, целесообразно, не видно ни горя, ни драм. И человек — не больше пылинки...

...Мои попутчики — один философ, другой драматург — дремлют, откинувшись в креслах, и перебрасываются изредка двумя-тремя фразами. Драматург, пожилой, но молодящийся мужчина, в прошлом актер,

полулежит в небрежной позе и лениво допрашивает философа, дюжего дядю с красно-коричневым лицом и большими бровями. «Так скажите вы, материалист, душа все же есть или нет?» — «И есть и нет. Смотря как мы это понимаем — в смысле как совесть или же как определенную философскую категорию». — «А вы лично чему отдаете предпочтение?» — «Я... я. — Философ, увидев что-то впереди, даже привстает. — Лично я отдаю предпочтение обеду!» — весело рявкает он, кивая на служебный отсек, откуда показалась тележка, нагруженная белыми пенопластовыми коробками.

Тележку толкают перед собой по проходу две хорошенькие девушки в желтых халатиках с синими фирменными эмблемами. Эти цвета — традиционные для Люфтганзы, западногерманской авиакомпании, сотрудничающей с нашим Аэрофлотом. И в тех и в других самолетах кормят хорошо, но мне больше нравятся люфтганзовские обеды за то, что в них нет кур, которых я и дома ем через силу. «Тебе ли привередничать? — корит меня за мои капризы жена. — Там ты, наверное, все ел?» Да, ел, если, конечно, было что есть. Но времена меняются.

После обеда привычно складываю в коробку остатки пищи — сосисочные шкурки, косточку от отбивной, кожицу от банана. Поднимаю упавшую на пол сдобную лепешку, которую поначалу не заметил. С минуту меня точит мысль — выбросить ее вместе с другими остатками трапезы или обжечь для профилактики спичкой и съесть? Поколебавшись, решаю выбросить. Жаль, такое богатство, т а м не съел бы — проглотил...

Смешно? Да, смешно и немного грустно.

Смотрю на табло, показывающее время. До посадки еще есть время, можно и поспать. Сосед-философ одобряет мое намерение, говоря, что мудрецы в древности установили: один час дневного сна равен двум часам ночного...

Устраиваюсь удобнее, закрываю глаза. «Спать, спать!» — приказываю себе.

Но что-то мешает заснуть. «Интересно, где мы сейчас летим, вероятно, уже над Германией?» Я ловлю себя на мысли о предстоящей встрече во Франкфурте. Мне хочется увидеть моих друзей, пожать их мужественные руки, сказать о том, как мы следим за их отважной борьбой. Нет, они не чужие мне. Думаю, что и я им — тоже...

А кто бы мог предположить такое еще несколько лет назад? «Мой друг — пастор!» Я сам, первый, назвал бы это бредом. Но теперь...

Все началось для меня тогда, с первой встречи. Она осталась в моей памяти, как все первое. Заветная страница жизни, которую я готов перечитывать снова и снова.

* * *

...Говорят: год как жизнь. Значит, бывает и день, равный году. День, когда постигаешь нечто очень важное.

В 8.15, как условились накануне, генерал разбудил звонком. «Доброе утро!» — «Доброе утро!» — «Как самочувствие?» — «Лучше некуда!»

Я бодрился. Но на душе у меня все еще лежала какая-то хмарь, под стать той, что была за окном. Шел дождь, порывистый ветер швырял в стекло капли. Слышно было, как падает с плеском вода на мостовую.

Через полчаса мы встретились в холле. Генерал выглядел, как всегда, молодцом — высокий, подтянутый, грудь вперед, с папкой под мышкой. Само воплощение оптимизма и деловитости. «Мне надо с вами обсудить кое-что», — сказал он весело. В ресторане мы уселись за дальний столик, заказали завтрак. Когда официант отошел, генерал раскрыл папку и показал текст своего предстоящего выступления. Он был весь перечеркан. Мы с переводчиком Виктором ахнули: кто теперь в нем разберется, а на перепечатку уже нет времени.

«Зачем вы это сделали? — спросил я. — Ведь было же хорошо».

«Хотел сделать еще лучше!» — ответил Алексей Кириллович. Оказалось, что вчерашний разговор с руководителями кружка натолкнул его, как он сказал, на некоторые новые мысли. «Я работал почти всю ночь!» В его голосе звучала гордость.

И я и Виктор думали, что непогода отпугнет людей. Однако, приближаясь к Штукенброку, мы заметили, что поток машин на дороге увеличивается. Они выходили, присоединяясь к нам, отовсюду — и с больших трасс, ведущих к Рейну с его промышленными центрами, и с узких асфальтовых тропинок. Это были как бы ручейки, вливающиеся в единое речное русло.

Вскоре поток разросся до предела. Сравнительно неширокую дорогу забили машины от края и до края. Ме-

стиому антифашисту Вернеру, который вез нас в своем «пежо́», пришлось, как и всем остальным водителям, сбавить скорость. Мы уже заметили, что он не любил слишком медленной езды. Но сейчас в его лице я не увидел досады, наоборот, немца явно радовало это скопление машин. Люди ехали в Штукенброк! Значит, дело, которому Вернер и его друзья служат отважно и бескорыстно вот уже больше десяти лет, живет.

Машины, машины... Они продвигались уже почти впритирку друг к другу. Сквозь промытое дождем стекло мы могли без труда различать их марки. Многие были нам знакомы — «рено» и «фиаты», более дешевые, но не менее популярные, особенно здесь, в ФРГ, «фольксвагены», «форды» и «шевроле». Иногда встречались наши, советские «Лады», где-то, в потоке, мелькнул «Москвич» — с ними мы поздоровались мысленно как с близкими родственниками. И уже совсем редко можно было увидеть дорогой «мерседес».

Когда-то, в прежние времена, о сословной принадлежности человека судили по его лошадям. Теперь обычно судят по машине. Большинство едущих в Штукенброк принадлежало, по-видимому, к малоимущему сословию. Мы спросили у Вернера, кто — по профессии — эти люди. Он пожал плечами: такого учета не ведется, можно сказать лишь приблизительно. В основном рабочие или «средние» интеллигенты — врачи с весьма умеренной практикой, учителя, больше с периферии, чем из крупных городов, пенсионеры, пережившие войну и еще способные передвигаться.

Штукенброк! Мое сердце дрогнуло, когда на зеленом, чуть тронутом желтизной холме показалась башня с часами и шпиль старинного замка. Как часто я взирал на эти стрелки с надеждой и упованием... К подножию сползали редкие домики, переходя в улицу, кажется, единственную в местечке. Едем дальше к центру. Но здесь ничего не могу припомнить — ни особнячков, чистеньких, похожих друг на друга, как близнецы, ни бензоколонки, украшенной цветными пейзажами Вестфалии, ни сверкающего стеклами магазина, где на витрине рядом с плакатом, рекламирующим рыбные блюда, висит объявление о предстоящей манифестации.

Возле магазина, прямо на земле, сложены велосипеды. «Транспорт молодых», — по словам Вернера. Теперь мы увидели тех, кем он особенно гордился, — юных активистов кружка «Цветы для Штукенброка».

Юиоши и девушки живописиой verеиицей тянулись по боковым тропикам. Их легкие, увертливые машииы лавировали перед самым носом автомобилей, выискивая место для стояики. Груды велосипедов видиелись всюду — иа детских и спортивных площадках, в простенках между домами, даже в кюветах. Мы смотрели иа эти скопища машии с некоторым удивлением: у иас в страие пора увлечения велосипедами давио прошла, здесь же оиа, как видио, продолжалась.

Поворот, еще поворот, и иаш «пежо» останавливается. Приехали! Выходим из машииы и сразу попадаем в окружеиие приветливых и деятельиых людей. Кто они? Вериер представляет: ветераи рабочего движеиия такой-то, корреспоидеит «левой» газеты такой-то, врач такой-то, музыкаит такой-то, свящеиник такой-то... Мы только успеваем пожимать руки. Дай бог запомиить хотя бы иесколько имеи. В ответ иа приветствия бормочу иечто иевразумительиое. Зато геиерал, как всегда, освоился мгиовенио. «Как же, как же, я о вас слышал, очень приятно позиакомиться!» Ему улыбаются, трясут руку. И ои улыбается. Нет, ои ие притворяется, не играет в любезиость, ему и в самом деле доставляет удовольствие это общение. А ведь сколько людей прошло перед ним в его поездках — и у иас в страие, и за рубежом? Но ои помнит, иаверное, всех — ие только по имени, ио и в лицо.

Замечаю, как Вернер показывает иа меия и что-то говорит. Улавливаю лишь слово «лагерь». И люди вдруг бросаются ко мие. «Камрад! Камрад. Ти... мой... тофарищ!» — дрожащим голосом повторяет худой морщиииcтый старик, теребя меия за рукав. Из-под плаща у иего выглядывает полосатая куртка с красиым «виикелем» на груди. Девушка в очках протягивает мие блокиотик для автографа. Пожилая упитаииая пара — ои в тирольской шляпе с перышком, оиа в какой-то замысловатой повязке в виде тюрбаиа — встают рядом со мною, а третий, их родственник или зиакомый, фотографирует нас. Ничего ие поделаешь, приходится прииять соответствующую позу. Откуда-то вывериулся шустрый корреспоидеит с объективом, иапомииающим пушку. Вспышка, еще вспышка... Слышу, как кто-то говорит вслух: «Неужели это правда? У иего совсем молодое лицо». — «Удивительио, как ему удалось так хорошо сохраииться!» Чья-то рука тяиется к моему плечу...

Ничего оскорбительного иет. Голоса сочувствеииые,

дружелюбные. Но вдруг в моей памяти, точно блиц, вспыхивает картина: голые, дрожащие от холода, мы стоим, прикрывая срам, а чиновник арбайтсамта *, такой же упитанный, как этот, с перышком, идет вдоль шеренги, пробуя наши тела на крепость...

Сбросив с плеча чужую руку, протискиваюсь сквозь толпу. Не нужна мне эта слава. И не нужны эти проявления дружбы.

Однако генерал не согласен со мной. Слова и жесты, по его мнению, могут быть одинаковыми, но смысл их — разным. «К тому же, друг мой, вы сейчас не принадлежите себе. Вы, так сказать, реликвия, общественное достояние».

В мою сторону все еще смотрят, показывают пальцем. Куда бы спрятаться от этих любопытствующих?

Внезапно мне на помощь приходит музыка! Где-то впереди грянул марш, и все вокруг заколебалось, пришло в движение. Мы снова попадаем в один из потоков и движемся, прижатые к чьим-то бокам и спинам.

Нас несет, несет. Кто правит этой массой народа? А ведь кто-то правит! Люди вдруг расступаются и дают дорогу строю инвалидных колясок. Сидящие в них ветераны раскланиваются, как артисты, уверенно манипулируя рычагами. Жалость стучится в сердце при виде этих чистеньких, безногих и безруких жертв войны. Некоторые уже совсем старики. Но вот ведь приехали!

Инвалиды проезжают, и человеческая река снова смыкается. Не спеша, шажок за шажком, приближаемся к некоему рубежу, который образовала плотная шеренга молодых активистов, одетых в одинаковые синие курточки и такие же пилотки. Пока мы видим лишь их спины. Приподнимаюсь на носки, чтобы заглянуть через головы передних. Невидимый оркестр продолжает играть попурри из народных песен. Когда музыка на минуту смолкает, слышится усиленный мегафоном мужской голос. Кто-то распределяет потоки: вправо! влево! вперед!

Наконец подходит наша очередь. Строй молодых «активистов» размыкается, пропуская поток, и вдруг кто-то выхватывает нас из общей массы. Приземистый расторопный мужчина с повязкой на рукаве показывает: идите за мной! Он ведет нас по широкой зеленой лужайке

* Арбайтсамт — гитлеровская служба, ведавшая «рабочей силой». *(Прим. авт.)*

к стоящим в отдалении автобусам, украшенным лозунгами и плакатами. Там, как мы догадываемся, штаб. Видим небольшую группу людей с повязками на рукаве. Это организаторы и почетные гости. Я различаю подтянутую, большеголовую фигуру Вернера в черной блестящей кожанке, его друзей и соратников — пастора Дистельмайера, опирающегося на палку, и подвижного лысоватого Гельмута Гейнце, а также нашего соседа по номеру — болгарского офицера, с которым познакомились вчера в гостинице. Вернер снова представляет нас. Стоящий в центре группы пожилой немец в ответ на приветствие поднимает сжатый кулак. «Рот фроит, камрад!» Теперь уже я смотрю, как на реликвию, на высокого мужчину в коротком темном пальто и светлых брюках. Сколько ему лет? Лицо грубоватое, с кирпичным румянцем на скулах: обычно на таких лицах долго не бывает морщин. Из-под массивных надбровных дуг спокойно и внимательно глядят темно-серые, словно прокаленные жизнью, глаза. В них тоже нет признаков старости: ни воспаленных век, ни тусклого ореола вокруг зрачков. В уголках плотно сжатых губ читается едва заметная усмешка — в ней и скрытый юмор, и горечь, и еще что-то, отличающее много повидавших людей. Я знаю от того же Вернера, что Курт, или Старик (назову его так, по одной из его прежних подпольных кличек), был партийцем еще при Тельмане. Затем прошел тюрьмы и концлагеря. «Разве можно в это поверить?» — спрашиваю я у самого себя, забыв, что таким же вопросом недавно задавались другие люди, только уже на мой счет.

Нет, как бы его ни называли, он и сейчас еще молод, этот крепкий телом и духом человек с лицом рабочего или матроса и лбом мыслителя. Моя рука тонет в его крепкой, большой, теплой руке. «Как жаль, — мелькает мысль, — что мы были не знакомы с ним тогда!»

Подъезжают еще автобусы — в них вороха цветов, венки с алыми лентами. Товарищ Вернер и другие члены «рабочего кружка» коротко переговариваются. Музыка вдруг обрывается, через минуту она возобновляется, но характер ее уже другой — торжественный и скорбный.

Генерал подталкивает меня и показывает глазами: начинается! Разговоры, шутки смолкли как по команде. Тут же, на поляне, выстраивается длинная молчаливая колонна людей с венками в руках. В первых рядах —

ветераны-антифашисты, бывшие подпольщики, узники концлагерей и гости из-за рубежа.

Нам, представителям Советского комитета ветеранов войны, отведено почетное место позади Старика и других видных деятелей ГКП. Стоим, ждем. Генерал молча разглаживает красные шелковые ленты на венке, его пальцы слегка подрагивают. Он волнуется! А я почему-то спокоен. Почему? Ведь здесь, на этой земле, мне довелось когда-то пережить и самое большое горе, и самое большое счастье, познать величайшую из трагедий, которая когда-либо выпадает на долю человека, и священный миг освобождения... Сколько раз, уже возвратившись на Родину, я мечтал — с каждым годом все сильнее, все настойчивее — снова посетить эти места. У меня к ним был свой счет и своя непонятная многим привязанность. Места эти даже снились мне...

Но где же сейчас все то, что я видел? Передо мной — незнакомый пейзаж: широкий луг, окаймленный лесом, вдали невысокий ажурный забор с выглядывающими оттуда чистенькими домиками. Нет ржавых мотков колючей проволоки, проходной с контрольными будками и шлагбаумом, линии узкоколейки! Нет ничего, с чем сжилась моя память. Для меня это место — чужое! Чужое!

Музыка умолкает. Раздается негромкая команда, и колонна трогается. Шаг торжественный, тихий. Только чуть слышно трепещет на ветру пламя в факелах, которые держат в руках выстроившиеся по обе стороны юноши и девушки в синих форменках.

Колонна направляется к лесу. «Правее, правее!» — предупреждает голос. Впереди, в полумраке, дрожат огоньки. Куда мы идем? Смутное волнение вдруг поднимается во мне. Словно где-то я уже видел этот лес — строгие, задумчивые ели, крепкотелые, осанистые дубки... Но вот — береза! Это же наше, русское, дерево, откуда оно здесь?

«Еще правее!» Девушки в белом, как ангелы скорби, стоят, низко опустив факелы. Стоп! Шедшие впереди останавливаются и кладут венок на какой-то серый, тронутый пятнами мха камень. Невольно поднимаю глаза вверх. Мой взгляд скользит по серой трехгранной «стреле», уходящей в чащу ветвей, закрывших небо. Что это? Я вижу большую, потемневшую от времени, потрескавшуюся на гранях звезду! Нашу, пятиконечную!

Возлагаем венок и отходим в сторону, давая дорогу другим делегациям. Подходят болгары, поляки, францу-

зы, бельгийцы, итальянцы... Читают надписи на потемневшей доске: «Здесь покоятся русские солдаты, замученные в фашистском плену. Их 65 тысяч». Стоят с минуту, потупив взгляд долу... И тоже неслышно отходят.

«Товарищи! — хочется крикнуть мне. — Товарищи!» Но проклятая условность сковывает язык. «Всему свое время и место!» — как любит говорить генерал. Конечно, конечно, я понимаю... Но я еще расскажу! О мертвых и живых. О любви и ненависти. О подвиге, совершенном горсткой людей в канун мира. И наконец, о великой силе солидарности, о наших надеждах, которые, может быть, и не полностью осуществились, но все же и не погибли, а, как добрые семена, дали ростки.

Растет на постаменте гора венков. Струится по камню алый шелк с надписями на разных языках. Вот так же было тогда, в тот светлый весенний день, вскоре после Победы...

Гремит оркестр — наш, советский. И марши, которые он играет, тоже наши.

Страна моя, Москва моя,
Никем непобедимая...

У нас с Андрюшей — мы стоим в толпе, возле нашего трофейного «опеля» — на глаза навертываются слезы. Мрачное прошлое забыто — будь оно проклято. О побоях и унижениях, о гестаповских допросах, о муках, которые были порой страшнее смерти, никто из присутствующих здесь наших людей не думает. Вот уже два месяца как мы свободные граждане, восстановленные во всех правах, так нам объявили приехавшие из Парижа представители советской военной миссии. Сказали, что скоро, когда наладится регулярное транспортное сообщение между всеми зонами, мы поедем на Родину, а пока надо жить, работать и вести себя, как положено советским офицерам и солдатам. Разрешили даже восстановить, по возможности, военную форму и воинские отличия.

Нам песня строить и жить помогает,
Она, как друг, нас зовет и ведет...

Ни у кого нет таких звонких песен, такой вдохновляющей музыки! Ведь сколько лет прошло — и каких лет! — с той, довоенной, поры, когда мы пели эти пес-

ни на вечерах и праздничных демонстрациях. А ведь все сохранилось в памяти — каждая нотка, каждое слово. Это еще одно доказательство того, что мы — советские люди, что в нашей душе ничего из того прекрасного прошлого не утрачено. Наоборот, как бы преломленное в таинственной призме, оно кажется нам еще прекраснее. И если кто-то начинает иногда вспоминать про недостатки вроде очередей у магазинов или же перебоев на транспорте, то мы — я, Леня, Бадиков, да вообще все мы, наша когорта — тут же даем сокрушительный отпор этому брюзжанию. Все у нас в стране было хорошо, все правильно, и нечего выискивать несущественные мелочи, тем более теперь, когда весь мир смотрит на нас, как на сказочных героев.

Нам нет преград ни в море, ни на суше,
Нам не страшны ни льды, ни облака...

На этом кладбище, что простерлось на несколько километров вдоль сине-зеленой кромки леса, погребено шестьдесят пять тысяч. «Целый город!» — говорит Андрюша, задумчиво глядя вдаль, на уходящие к лесу ряды рвов. Это братские могилы, куда сваливали погибших в лагере. В каждой могиле — тысячи: пожилых и совсем юных, командиров и рядовых, некогда знатных или безвестных... Тысячи хлеборобов и рабочих, инженеров и учителей... Лежат русские, украинцы, белорусы, узбеки, евреи. Смерть уравняла всех. Сейчас уже не различить никого — одни скрюченные скелеты.

— А ведь были мечты, желания, любовь!

Это опять Андрюша. Иногда я не могу понять моего друга. Летчик, храбрый «ястребок», расстрелявший в воздушном бою нескольких фашистских асов, — ему ли думать о печальной участи тех, кто погиб. Кто-то же должен был погибнуть — на то война. И мы тоже могли погибнуть, он прежде всего, но не погибли. Значит, такова судьба. Главное — в том, что мы не купили себе жизнь ценой предательства. Наша совесть чиста, а если она чиста, то, как сказал нам генерал из миссии, Родина примет нас, как мать...

А строй идет, идет. Оркестр играет, играет.

О как я горд за нашу Победу. За этот строй, за четкий воинский шаг, за лихость офицеров и неприхотливость солдат. И конечно, за частичку этого целого — за моих друзей.

Пой песню, страна родная,
Страна мечтателей, страна героев!

Ведь это и о нас. В нашей «когорте» есть и мечтатели и герои — Андрюша, например. И ученые. И писатели есть. Вон, у самой трибуны, стоит с раскрытым блокнотом в руке и что-то быстро, увлеченно пишет Вася Кротков, которому капитан поручил сделать репортаж об этом знаменательном дне. И Вася старается. Круглое конопатое лицо в поту, лоб наморщен, нижнюю губу прикусил — и строчит, строчит. Кто-то его окликает, он отмахивается, как от слепня. В такую минуту к Васе лучше не подходить.

Сам Вася — человек скромнейший, о себе почти не говорит, но земляки-владимирцы хорошо помнят его довоенные фельетоны и очерки, которыми, по их словам, зачитывались в городе. Для меня, кропавшего в то время лишь статейки в школьную стенгазету, Вася — признанный авторитет, что-то вроде метра.

А вот и вовсе знаменитость, столичный ученый. В лагере Володя Крюков помогал мне. Немцы зачислили его в огородную команду. Почему они кинули ему этот куш, никто из нас не знал — видно, прочли в его карточке, что он биолог, и решили потешиться. Обычно трофеев у него бывало меньше, чем у других «огородников»: пяток-другой облепленных землей картофелин или брюкв. Но и эта жалкая пожива делилась им среди тех, кто особенно нуждался в помощи. Перепадало и мне. По вечерам я с надеждой смотрел в дальний угол барака, где жили «огородники». Когда почти все в бараке засыпали, там начинался «пир». С печурки снимали котелок с вареной картошкой и несли на нары. В дело вступали ложки, по бараку распространялся теплый, духмяный, сытный запах. И всегда на фоне освещенного коптилкой рядна, которым был завешен угол, возникала, как на экране, непомерно высокая, тощая фигура с плоской крышкой от котелка в руках. К кому она сейчас направится? Вероятно, этим вопросом задавался не я один... Но как же я был счастлив, как благодарен Володе, когда он подходил ко мне и, осторожно тронув меня своими худыми длинными пальцами, виновато шептал: «Вот, возьми, пожалуйста. Больше, к сожалению, дать не могу, но это — моя доля». Мой добрый Паганель, он еще извинялся!

Теперь он нашел себя здесь, на строительстве мемориала. Но пока еще не как ученый, а как поэт. Володе

принадлежат стихотворные надписи, которые выбиты на каменных намогильных плитах. «Борьба за свободу — нет дела правей! Родина помнит своих сыновей!» — читаю я одну из них. Эта патетика хотя и кажется немного неуместной, но критиковать Володю я не позволю ни себе, ни другим.

Я вижу, как он, все такой же худой, но уже переодетый в новенькую, еще не обмятую гимнастерку и брюки навыпуск, проходит, слегка наклонив голову и близоруко щурясь, вдоль рядов и придирчиво, в последний раз, вчитывается в свои же строки. Губы его шевелятся: он пробует стихи на слух.

Сегодня все держат экзамен — и Володя, и Леня, который с вдохновенно-озабоченным видом уже подбегал к нам с Андрюшей, но, похвалив нас за то, что мы приехали к началу торжества без опоздания («Исправляетесь, друзья-патронники!»), снова убежал, и те, что уже стоят на затянутой кумачом трибуне или возле нее, и даже этот высокий, пожилой, но еще бравый и подвижный человек с крупным, бритым, загорелым лицом, с папироской, намертво зажатой в углу рта, обвешанный фотоаппаратами, — Александр Михайлович Богданов, или просто Михалыч, земляк Володи, столичный мастер фотографии, чьи работы, публиковавшиеся в лучших журналах, были известны всей стране. Здесь, на стройке, он является как бы летописцем. И сейчас, что называется, у финишной ленточки, Михалыч юношески деловит: присядет — щелк! встанет — щелк! немыслимо изогнется и тоже — щелк! щелк! щелк!

Смотрим на трибуну: там уже все начальство. Высокий, седой, в новом кителе с погонами и с медалью на груди — полковник Куринин. Я видел его в день освобождения, знал, какое у него звание, но фамилию услышал лишь недавно от кого-то, кто остался здесь, на возглавляемом им сборном пункте. Тут же, на трибуне, — гости, наши — из военной миссии, из соседних сборных пунктов, и иностранные — американцы, англичане, французы, югославы. Приехали-таки все, даже гордые «бритты»: ну а как же иначе, ведь здесь, в этой земле, лежат и англичане, их соотечественники. Шестьдесят пять тысяч — это ведь округленная цифра, кто тогда нас считал? На деле, может быть, шестьдесят шесть или шестьдесят семь.. Большинство, конечно, наши, из тех, кто был доставлен сюда, в лагерь, на живодерню, с окровавленных полей и болот Украины, с омытого кро-

вавой пеной крымского берега, из спаленных на корню смоленских, минских, брянских и иных лесов.

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...

Да, рождены. Но ведь сказка бывает разная. В одной верх берет Иван-царевич или Георгий Победоносец, в другой — Кощей или Баба Яга... Но, наверно, нет страшнее сказки, чем эта. Только поверят ли в нее те, кто не видел, как это было? Рвы старательно и любовно покрыты дерном, дорожки между ними посыпаны песком, посажены деревца, поставлены тесаные камни со стихами... Постарались строители. Но обнаженные кости и черепа могут дать больше пищи воображению! Какая получилась бы гора, если бы все их сложить воедино? С Казбек? С Эверест?

Полковник Куринин поднимает руку. Музыка умолкает.

— Товарищи! — говорит он. — Начинаем торжественно-траурный митинг, посвященный памяти жертв фашизма и открытию мемориала на территории братского кладбища бывшего лагеря смерти. — Полковник делает паузу. — Приказываю... — его стариковский тенор слегка дрожит, — ввести в строй главный памятник, со всеми положенными воинскими почестями!

Трое — русский, англичанин и югослав, стоящие у подножия окутанной белым полотнищем громады, упирающейся чуть ли не в самое небо,—тянут на себя веревки, прикрепленные к покрывалу. Ткань медленно сползает, и взору собравшихся предстает сначала светло-серый граненый обелиск, увенчанный красным флажком, затем огромные, примкнутые к трем граням обелиска звезды из красного песчаника, и наконец могучий постамент с наложенными на него литыми эмблемами из бронзы — советским автоматом и каской. В верхней части постамента — мраморные доски с надписями на трех языках: русском, английском и немецком.

И вдруг треск. Воздух разрывают автоматные очереди. Это живые салютуют павшим — в первый и, может быть, в последний раз.

Я смотрю на Андрюшу: по его обожженной, в красных рубцах щеке, катится слеза. Мы плачем. Боже, бывают же такие минуты! Но мы почему-то стыдимся их.

— Послушай, — бормочу я. — Зачем надо было это... по-немецки писать. Их здесь нет. И не будет. Разве они сюда придут?

Андрюша молча кивает своей кудрявой головой. Мне, кажется, что он улыбается. Или он знает что-то такое, чего еще не знаю я?..

* * *

А гора венков у старого памятника все растет.

«Кто эти люди?» — поминутно спрашивает шепотом генерал у вездесущего Виктора, показывая глазами на идущих в строю. Виктор, тоже шепотом, поясняет: эти трое — бельгийцы, муж, жена и сестра жены, у которой здесь, возле Штукенброка, погиб жених и был похоронен на «русском» кладбище, теперь она приезжает сюда каждый год отдать долг его памяти; эти — высокая, суховатая старуха в черном под вуалью, и маленькая, круглобокая, румяная девица, которая держит ее под руку, — из Италии, вероятно, хозяйка со своей служанкой, они ищут следы пропавшего в годы войны сына хозяйки, интернированного в свое время в этом лагере; тот, в куртке мастерового, — немец, но он никого не представляет, никакую организацию, он кладет венок просто от себя, памятуя о каком-то своем русском друге Иване, который работал вместе с ним, бок о бок, на шахте в Гемере, а потом бежал, был пойман, отвезен в Штукенброк и здесь замордован...

Живая ниточка памяти — она оказалась крепкой, гораздо крепче, чем я когда-то думал. Андрюша был прав: летчик, он привык далеко видеть! Эта незримая ниточка связывает и еще долго будет связывать нас всех — погибших и живых, стариков, знающих, что такое война, и молодежь, не желающую погибать в расцвете лет, коммунистов и беспартийных, русских и немцев, французов и англичан... Ну что, казалось бы, привело сюда этого высокого сдержанного мужчину в темном, застегнутом наглухо плаще, похожего на какого-нибудь судью или другого важного государственного чиновника? Кто он? Что привело его сюда?..

Венки закрыли весь памятник, до самых звезд. Лесок уже полон людьми, ожидающими, когда начнется митинг. Смотрю на часы: остаются считанные минуты, а процессия еще идет и идет.

И тут, как назло, небо закрывает новая туча, в лесу становится совсем темно, языки пламени колеблются все сильнее, и вообще вся картина принимает тревожный характер, как в какой-нибудь опере перед приближением

беды. Генерал, кажется, тоже обеспокоен. Уж не зря ли он готовил свою речь? Впрочем, мы еще утром предполагали подобные коррективы в повестке дня. И Виктор помрачнел, ищет кого-то взглядом. Подходит Вернер в блестящей от дождя куртке — он только что с поляны, бормочет, стряхивая с воротника капли: «Вот она, фашистская провокация!» Шутит, значит, все хорошо?

Ровно через пятнадцать минут Вернер уже стоит на трибуне, построенной на лугу, возле автобусов, и открывает митинг. Дождь уже льет вовсю. Но поляна забита людьми буквально до отказа. С чем сейчас сравнить ее? Наверно, с лугом, на котором вдруг расцвели тысячи больших цветов самой причудливой расцветки. Это раскрытые и поднятые над головой зонтики. «Матч состоится при любой погоде!» Выходит, есть правила, одинаково касающиеся всех.

Первым выступает товарищ Курт. Он приветствует собравшихся от имени Правления Германской коммунистической партии. Подобные манифестации, по его словам, есть один из показателей правильности той политики, которую проводят в Западной Германии прежде всего коммунисты, желая предотвратить ад новой, еще более чудовищной войны. Коммунисты стоят за прочный союз со всеми миролюбивыми силами, и наше сегодняшнее содружество здесь, в Штукенброке, есть прежде всего содружество чести, совести и доброй воли, которому не страшны ни дождь, ни угрозы наших врагов, ни сами враги, какой бы мощью они ни обладали. Ибо нет больше и победоноснее силы, чем нормальный человеческий разум и нормально чувствующее сердце. Они в конечном счете определяют будущее Земли.

Товарища Курта внимательно слушают все — и те, кто стоит на трибуне, и те, кто сидит под зонтиками, и те, кто отважно мокнет под дождем с непокрытой головой, лишь подняв воротник куртки, — это молодые активисты, продолжающие нести свою добровольную службу. Даже полицейские, которых местные власти прислали сюда «на всякий случай», как-то посерьезнели — перестали переговариваться между собой и усмехаться. Мне с трибуны хорошо видны эти молодые, крепкие, упитанные парни в светло-зеленой форме, стоящие в стороне, у своих служебных машин. Поза у полицейских уверенная — ноги расставлены, руки сложены на груди, но в глазах я читаю смущение, растерянность. В казармах им, наверно, внушают, что коммунисты — зло для

Германии, что их речи — «вредная крамола», но как же тогда сопоставить это с тем, что они слышат сейчас?..

Сила слова! Но разве я могу в полной мере испытать ее на себе, не понимая толком и половины того, что говорится? Однако суть мне понятна, понятна и форма — простая, ясная, без шаблонных ораторских приемов. Кроме того, меня и всех слушающих привлекает еще и личность оратора. Я думаю: скажи то же самое другой человек, за кем не стоят долгие и трудные годы жизни, борьба, каждодневный риск — все то, что является уделом героев-подвижников, — его слова не имели бы той притягательной силы. Нет, не имели бы!

На какую-то долю секунды в памяти снова встает другая трибуна и другой оратор — наш полковник из сборного пункта, с медалью на груди. Казалось бы, что между ними общего? Тот был русский, этот — немец, тот — военный, этот — штатский, у того был высокий голос, у этого — низкий. Но, право же, они представляются мне очень похожими...

Товарищ Курт говорил недолго — ровно пятнадцать минут, столько, сколько установлено регламентом для каждого оратора. Следом за ним выступает узкоплечий мужчина в очках. Кто он, я не расслышал, Виктор тоже, известно лишь, что это представитель от социал-демократов округа. Виктор замечает, что на прошлых манифестациях бывали даже «соцдемовские» лидеры из Дюссельдорфа, министры из Бонна. Сегодня правящая партия представлена скромнее. Почему? Вернер объясняет это тем, что приближается предвыборная кампания, и социал-демократы, боясь, что правые обвинят их в «заигрывании» с красными, проявляют осторожность.

Социал-демократа сменяет на трибуне представитель духовенства. Этого молодого пастора я приметил еще на возложении венков — бросились в глаза его бледность, черная, аккуратно подстриженная бородка, сосредоточенный взгляд темных глаз. Он говорит, что истинный христианин не может принять идеи войны и всего того, что ей сопутствует, приводит изречения философов, цитаты из Библии. Я понимаю его речь меньше, чем речи предыдущих ораторов, но опять же, уловив суть, а главное, слыша глуховатый, идущий словно из души голос и глядя в еще более побледневшее лицо с широко открытыми глазами, я верю в его миролюбие.

«Да пребудут дела наши в детях наших!» Не знаю, что было в мыслях у пастора, но, во всяком случае, на-

верное, не этот музыкальный шабаш, который вдруг начался сразу, едва закончилась речь. Полуголые «дети», как какие-нибудь дьяволы, выскочили из-за занавеса на площадку под трибуной и принялись исполнять эксцентрические танцы, сопровождаемые «зонгами». Зачем их выпустили, этих громогласных, исступленно дергающихся юношей и девушек? Однако, как я заметил, они никого не шокировали. Наоборот, и на трибуне, и в публике к ним относились вполне сочувственно, награждая время от времени аплодисментами. Это были самодеятельные артисты. Они пели, как оказалось, «зонги» на тексты прогрессивных поэтов, обличали неофашистов и поджигателей новой войны.

Закончился последний номер, босая танцовщица с красным флагом в руках сделала прощальный круг и убежала за занавес, а на трибуну вышел очередной оратор.

Я обратил внимание на то, что среди приглашенных на трибуне была лишь одна женщина, вернее, девушка, в мундирчике мышиного цвета и в такой же пилотке. Вначале я принял ее за представительницу учащейся молодежи — в Германии, как нигде, любят всякую отличительную форму; только у студентов с их корпорациями и обществами десятки, а то и сотни разных костюмов, головных уборов, нарукавных и нагрудных знаков. Кто же эта?

Девушка стояла спокойно и скромно. Среди взрослых мужчин она казалась маленькой и хрупкой. Прядка золотистых волос спадала на чистый белый лоб, темные пушистые ресницы прикрывали большие голубые глаза. Девушка о чем-то думала, может быть, готовилась к выступлению. Лишь однажды, на какой-то миг, она подняла взгляд, и я уловил строгий холодноватый блеск. Это была, по-видимому, девушка с характером!

Вдруг до меня донеслось: «...солдат бундесвера Франк Вировски», и объект моего наблюдения пошел к трибуне. Мама родная, как же я опростоволосился! «Девушка» заговорила ломким юношеским баском. И как заговорила — пламенно, бесстрашно, с каждым новым словом завоевывая симпатии слушающих.

Молоденький красивый солдатик гневно обличал двуличие властей, которые, с одной стороны, заявляют о своем стремлении к миру, а с другой — потворствуют реваншистам; разрешают сборища, где открыто прославляется культ силы; играя в «объективность», дают про-

стор для выпуска книг и фильмов о «подвигах» фюрера и его присных. «Как, например, — говорил он, — расценить такую акцию: недавно нашей военной казарме было присвоено имя гитлеровского фельдмаршала Роммеля? Тем, кто там размещается, объяснили, что Роммель якобы антифашист и участвовал в заговоре против Гитлера. Да, участвовал, но тогда, когда увидел, что «третий рейх» трещит и разваливается. Нам не нужны такие липовые «антифашисты», мы не хотим жить в казармах, освященных именами палачей и завоевателей!»

Я, да и все вокруг смотрели на него с восхищением. Право, его смелости могли бы позавидовать многие дюжие мужчины. «Молодец этот Франк! — думал я. — Но не поплатится ли он за свою страстную речь?» Не выдержав, спросил у Виктора. «Определенно поплатится, — услышал в ответ, — и он, и те, кто с ним». Только сейчас я заметил среди слушающих группу военных, развернувших над собой лозунг: «Нейтронной бомбе — НЕТ!», и невольно подивился их мужеству. Если бы все люди на земле могли так правдиво, так независимо выражать свое отношение к злу, вряд ли ему удавалось бы поднимать свою кровожадную голову!

Одним из последних, уже под занавес, выступает наш генерал. Председательствующий называет его не по званию, просто: представителем советских ветеранов войны. Но люди его бурно приветствуют. Все знают, что этот человек приехал из страны, которая пострадала от войны неизмеримо больше других. К тому же он немолод, безусловно, сам прошел по кровавым полям войны, и прошел доблестно — об этом красноречиво свидетельствуют ряды орденских планок на его груди.

Так я — сам для себя — перевожу на язык логики и эти аплодисменты, и трепетную уважительную тишину, которая затем воцаряется вокруг. Алексей Кириллович Горлинский говорит о том, что́ объединяет всех нас, наши народы, — о желании жить в мире, ибо мир — это плодородие земли, благословенная тишина лесов, чистая вода рек и морей, мир — это счастье матерей, чья любовь и забота помогают растить нового, счастливого человека, мир — это созидание и творчество, великие искры, высекаемые при соприкосновении мысли и духа и озаряющие человечеству путь в будущее...

Я слушаю речь и удивляюсь, словно бы ее текст не знаком мне почти дословно. Есть какой-то необъяснимый

секрет: те же слова, написанные на бумаге, казались гораздо будничнее, чем сейчас, когда они звучат с этой высокой и торжественной трибуны, близ кладбища, где погребено шестьдесят пять тысяч. Разве можно найти более убедительное подтверждение мысли оратора?

И, как бы отвечая на этот немой вопрос, Алексей Кириллович начинает говорить о минувшей войне, о жертвах фашизма. «Преступная шайка убийц, претендуя на мировое господство, развязала войну, которая унесла в могилу десятки миллионов людей. Жертвы войны! Это был цвет человечества, наиболее дееспособная часть населения — молодые, сильные, талантливые. Сколько могли бы они одержать трудовых подвигов, совершить замечательных открытий, создать прекрасных произведений искусства? Взять хотя бы лагерь в Штукенброке. Никто и никогда уже не узнает, что унесли с собой в могилу мертвые — какие невысказанные мысли, какие несостоявшиеся свершения. Но мы знаем, на что оказались способны те, кому, пройдя круги гитлеровского ада, посчастливилось дожить до освобождения. После окончания войны они вернулись на Родину и приняли самое деятельное участие в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства. Многие работали и учились. Некоторые со временем выросли в руководителей крупных предприятий, в знатных рабочих и тружеников полей, в известных всей стране ученых, писателей, артистов. Назову хотя бы тех, кто побывал на прошлогодних манифестациях в Штукенброке, — вы видели и слышали этих людей! Владимир Сильченко — ныне доктор медицины, профессор из Воронежа. Валентин Родинков — орденоносец труда, инженер-рационализатор и организатор производства на московском автозаводе. Александр Мордань — один из авторов памятника и оформления кладбища, где мы только что возложили венки, ставший впоследствии видным художником-монументалистом. Это — капля, в которой можно увидеть море. И пусть каждый из нас вспомнит, сколько молодых, подававших надежды людей — наших знакомых, родных, близких — унесла война!»

Дождь хлещет как из ведра. Но никто, ни один человек не уходит с поля. Наоборот, внимание публики растет. Старики инвалиды, сидевшие в своих колясках с полуопущенным верхом, оживились и выглядывают из убежища, как птицы из гнезда. Молодые артисты, давно закончившие выступления, не ушли домой и теснятся

под трибуной, слушают, прикрываясь от дождя предметами своего нехитрого реквизита. Даже полицейские подошли поближе и с интересом внимают речи этого русского — то ли пытаясь уловить в ней крамолу, то ли, наоборот, желая лучше постигнуть ее высокий и благородный смысл.

Свое выступление Алексей Кириллович заканчивает стихами из драмы Шиллера «Вильгельм Телль». Перед отъездом мы все вместе искали эту цитату: призыв одного из героев к своим согражданам, решившимся на борьбу с наглым врагом. Сейчас генерал читает их, заглядывая в бумагу.

Держитесь вместе! Вечно, нерушимо!
Дозоры на вершинах гор поставьте,
Друг другу помогайте. И да будет
Союз наш вечен!

Алексей Кириллович — натура патетическая. В его чтении шиллеровский текст обретает нужное звучание. Но в переводе Виктора романтические ноты исчезают. «Зачем стараться, вкладывать эмоции, когда эти стихи хорошо известны чуть ли не каждому немцу?» — сквозит в позе и голосе переводчика.

Я вижу, как Алексей Кириллович искоса поглядывает на нашего Витю. И вдруг, слегка отстранив его, читает сам, уже по-немецки.

Поле буквально сотрясают аплодисменты. Дождя не слышно. Раздается крик: «Фройндшафт! Дружба!» И все подхватили: «Фройндшафт!» Инвалиды в колясках машут костылями, снова скандируют: «Ура! — Москва!», «Ура! — Москва!» «Ура-а-а!», — катится тысячеголосая волна.

Молодец, генерал! Я вижу его как сквозь пелену. Но это не дождь...

— Эй, дружище, уж не спите ли?

Кто-то трясет меня за плечо. Это мой сосед-философ.

— Хоть ремни пристегните!

Вот они, воспоминания! На табло горят красные буквы: «Самолет идет на посадку».





ФРАНКФУРТСКИЕ СОСИСКИ

Чериая релиовая змея выползает из иоры и, петляя, скользит по зеркальио-гладкому полу. Плывут потихоньку иаши пожитки. Я подкарауливаю мой чемодаи и всматриваюсь в стоящую в отдалении толпу встречающих. Сумеречный свет подземелья не позволяет разглядеть лица, приходится строить догадки. Вот тот, высокий, в спортивной куртке, кажется, Дитер? А этот, седой, в темиом одеяиии — уж ие пастор ли?

Люди! Еще час назад, в самолете, я ощущал себя как бы частичкой большой семьи, с общей судьбой и заботами. Сейчас все распалось, даже иаше московское трио. Моим попутчикам — драматургу и философу, повезло. Вещи свои оии получили, встречающие подоспели к ним вовремя, и вот оба, сочувствеиио поглядывая иа меия, уже прощаются.

С завистью смотрю им вслед. Нет, я не боюсь, что затеряюсь в чужом для меия городе, — сейчас это мне уже ие угрожает. Просто мне хотелось встретить друзей, что иазывается, иа пороге. Увидеть их, расспросить о новостях. Ведь за три года иемало воды утекло.

Вот пришел и мой чемодаи, одиим из последиих. Подхватив его, плетусь к эскалатору. Он почти пуст, толпа схлынула, впереди маячат лишь редкие фигурки. Все-таки это ужасно — остаться в чужой страие одному, даже на иесколько часов.

На память приходит совет, данный мне еще в Москве: если встречающие по какой-либо причине не явятся, от Франкфурта до Вестфалии можно добраться по железной дороге. Листаю записную книжку. Черт побери, до отхода поезда осталось меньше часа, других же поездов нет.

Срываюсь с места и бегу. По лбу струится пот. Люди удивленно смотрят на меня, прижимаясь к поручням. Я не обращаю на них внимания, продолжаю бежать. Скорее, скорее!

Эскалатор кончился, бегу через зал. И вдруг у самых дверей меня кто-то ловит. Это что еще за шутки? Я вырываюсь, но тут же вижу над собой широкое, загорелое лицо, глаза с теплой синевой — Дитер!

— Не надо очень бежать, — говорит он по-русски и, отбирая у меня чемодан, трижды касается щекой моей щеки.

В ответ леплю полновесные поцелуи и чуть не плачу от радости.

— Оставьте в запасе кусочек пыла, там есть еще друзья!

Он произносит «пы-ля», трудное слово, вычитанное из разговорника, но я не успеваю его поправить, из-за широкой спины Дитера, как из-за кулис, появляются еще двое — Гельмут Гейнце, активист кружка «Цветы для Штукенброка», с которым я уже встречался на антивоенных манифестациях, лысый, стройный, подвижный, в щегольской курточке, и какой-то приземистый старичок с румяными щечками-яблочками. С Гельмутом мы тоже лобызаемся. И старичок, глядя на нас, тянется ко мне с поцелуем. Я на секунду замешкался, что-то неприятное промелькнуло в глубине души, но делать нечего — обнимаюсь и с ним. Вытирая лицо платком, он бормочет про жару и больное сердце, и я тут вдруг вспоминаю, где мы виделись. Да ведь это же с ним Дитер, учитель русского языка из Гиссена, приезжал к нам: немецкие туристы ехали в Ялту и проездом были в Москве, кажется, всего один день. Поздно вечером Дитер позвонил ко мне домой, и мы назначили свидание на полпути друг к другу — у Белорусского вокзала. Тогда старичок был бледен, молчалив и сказал лишь, что его сосед — пастор Дистельмайер — просил передать мне привет...

И вот старичок здесь, во Франкфуртском аэропорту, — посвежевший, помолодевший, одетый в ярко-синий пиджак и желтые брюки, на шее — кокетливо повязан-

ный платочек. Потное лицо сияет, словно он встретил близкого родственника. Странный человек. Надо было ему трястись в машине?

Дитер и Гельмут наперебой объясняют, почему не встретили меня в зале выдачи багажа. В телеграммах, которые им вручили, были указаны разные номера рейса. Боясь разминуться, они решили ждать меня здесь, у выхода в город.

— И сколько же вам пришлось простоять?

— С девяти утра.

— Три с половиной часа? Да от такого ожидания можно с ума сойти.

— Не от ожидания, а от голода! — уточняет Дитер. Кто-кто, а он поесть любит. Гельмут, неприхотливый, как спартанец, тонко улыбается:

— Тогда чего же мы стоим? Давайте поднимемся в кафе.

— В кафе? — переспрашивает Дитер. — Вряд ли там накормят прилично. Лучше в какой-нибудь ресторанчик с хорошей кухней. — Он с минуту думает. — Я знаю такой, вперед!

Гельмут, который привык сам задавать тон, теперь великодушно уступает роль старшего молодому учителю: как-никак тот «местный» *.

— Машины там, — показывает Дитер на тоннель, ведущий к подземной стоянке.

И, подхватив мой чемодан, идет первый.

Напрасно борюсь с ним, пытаясь отобрать багаж. Он вежливо отстраняет меня.

— Не надо со мной бороться, — посмеивается Дитер. — Надо идти тихо.

Немолодой, но легкий на ногу Гельмут старается не отстать от Дитера. Мне с моим стокилограммовым весом с ними трудно соревноваться. Постепенно отстаю. Старичок, потеющий даже здесь, в прохладном подземелье, семенит рядом.

Спрашиваю его о пасторе: как чувствует себя, здоров ли?

Старичок делает неопределенный жест.

— По-разному. Еще вчера собирался вас встречать. А сегодня с утра ему снова хуже.

Он добавляет не без важности, что в таких случаях ему приходится заменять пастора.

* Город Гиссен находится неподалеку от Франкфурта-на-Майне. *(Прим. авт.)*

И тут же, держа меня за пуговицу, начинает рассказывать какую-то историю.

— Эй, — кричат нам издалека, — идите побыстрее!

Дитер и Гельмут уже сидят за рулем и энергично машут руками, показывая на вереницу машин, которым надо освободить место. Кто-то нетерпеливо сигналит. Приходится прибавить шагу.

Я и старичок садимся в уже знакомый мне БМВ Гельмута. Дитер в своем подержанном «форде» грязновато-голубого цвета выруливает из подземелья, показывая путь.

Витрины, вывески... Близость аэропорта дает о себе знать: торговля идет полным ходом. «Арабская кухня», «Китайская кухня», — зовут рекламы. Некоторые заведения выдвинули свои форпосты прямо на улицы.

Десять минут, пятнадцать. Город, уплотняющийся в глубину, уже цепко держит нас в объятиях. Лужаек почти не видно, просветы между домами становятся все меньше и меньше.

Странное дело: чем плотнее и величавее городской массив, тем реже уличная толпа, чем больше и шикарнее витрины магазинов, тем заметнее безлюдье в торговых залах. Никак не могу раскусить этот парадокс: откуда при отсутствии покупателей берутся доходы у владельцев всех этих бесчисленных торговых заведений?..

Я сижу рядом с Гельмутом на переднем сиденье. Он мой самый старый знакомый из всех трех немцев, мы встретились впервые еще пять лет назад, в Штукенброке. С тех пор исколесили на его безотказном БМВ и Рейн-Вестфалию, и другие земли. Я помогал активистам кружка отыскивать ныне забытые филиалы лагеря, все эти разбросанные по немецкой земле заводы и заводики, шахты и каменные карьеры, где когда-то, на «галерах» двадцатого века, трудились и погибали подневольные рабы — мои товарищи. Нам удалось найти следы еще никому не известных зверств гитлеровских палачей, и эти страшные находки тут же становились достоянием общественности, поднимая новую волну возмущения деяниями как прежних, так и новых приверженцев Гитлера. На народные сборы Гельмут и его друзья по рабочему кружку «Цветы для Штукенброка» приводили в порядок места захоронения жертв фашизма, ставили надгробия и устанавливали постоянное наблюдение за могилами. Благородный поиск вестфальских борцов за мир, их неустанная и бескорыстная деятельность служи-

ли делу дружбы наших народов, укрепляли в сердцах людей ненависть к войне.

Мы с Гельмутом давно на «ты», я хорошо знаю и его жену Лизелотту, высокую красивую женщину, с такой же неуемной энергией, как и ее муж. Оба они коммунисты, принимающие самое деятельное участие в подготовке мирных манифестаций и других выступлений общественности, направленных против милитаризма и реакции. Живет Гельмут в Лемго, маленьком вестфальском городке, вот уже больше года как на пенсии, куда его поспешили спровадить хозяева фирмы, узнав, что кандидатура этого рядового служащего выдвинута от коммунистов Земли в ландтаг. Но Гельмут Гейнце, как и его друзья по кружку — художник-оформитель из Миндена Вернер Хёнер, пастор из Бад-Зальцуфлена Генрих Дистельмайер и другие борцы за мир, доказали, что авторитет в народе приобретается не должностью и не чином, а добрыми делами.

За то время, что мы не виделись, кружок «Цветы для Штукенброка» хотя и подвергся гонению федеральных властей, отдавших было приказ секретной полиции взять его деятельность под негласный надзор, но тем самым стал еще более популярен среди населения, особенно молодежи, и финал этой истории был таков: власти, испуганные недовольством народа, отменили свой, мягко сказать, неразумный приказ, а число друзей кружка намного возросло. В настоящий момент кружок вместе с другими прогрессивными организациями готовится к проведению многотысячной всегерманской манифестации мира в столице государства — в Бонне.

Сразу же, за ближайшим поворотом, нас встречает скромное, как бы притулившееся среди больших железобетонных коробок здание старинной архитектуры. Над гостеприимно распахнутыми дверями потемневшая вывеска с гастрономическими натюрмортами.

Останавливаемся, выходим.

Заведение и вправду симпатичное. Его формы спокойны, несколько тяжеловесны. Не одно поколение пережили эти крепкие, осанистые столы, эти темные балки, поддерживающие лепной потолок, эти выстроившиеся на полках фарфоровые кружки с медными крышками-колпачками. И даже война пощадила их.

Заказ был уже сделан, когда меня осенило: да ведь здесь, в этом зале, мог бывать Гёте! Великий поэт, которого я обычно читаю с трудом, но перед которым тем не

менее преклоняюсь, родился во Франкфурте. Было бы трудно уехать из города, так и не повидав дома, где прошли детство и юность великого немца.

Однако мое предложение о «поездке к Гёте» встречают довольно прохладно. Старичок простодушно признается, что терпеть не может стихов. Гельмут благоразумно помалкивает. Даже Дитер меня не поддерживает. Объехавший по туристским маршрутам чуть ли не полмира, он не знает, сохранился ли здесь, в соседнем с ним городе, дом поэта, а если сохранился, то есть ли в нем музей и какое у него расписание. И вообще, по мнению всех троих, экскурсию надо отложить до другого раза, потому что сейчас уже поздно, а дорога мне предстоит долгая.

— Вы еще будете во Франкфурте, — успокаивают меня.

— Морген, морген, нур нихт хойте... * — отвечаю я, демонстрируя память бывшего «первого ученика».

Все смеются.

Подходит официант с подносом, начинает расставлять яства.

Через минуту стол накрыт.

Перед нами на старинных фаянсовых блюдах с картинками самая простая и в то же время самая прекрасная еда — свежие огурцы и помидоры; домашний хлеб, крутобокий, душистый, с лаково блестящей корочкой; желтое сливочное масло, только что со льда; сочная, нарезанная большими тонкими ломтями ветчина; белый, плоский, как лепешка, тоже домашний сыр с тмином, еще хранящий на себе марлевый узор; и «гвоздь программы» — длинные, красноватые, с масляными потеками, поджаренные на сковородке колбаски.

— О, франкфуртские сосиски! — восклицает маленький Фриц и, схватив блюдо, предлагает мне попробовать традиционное изделие местных колбасников.

Что может быть лучше? От одного запаха проглотишь язык!

Но я сижу не двигаясь. «Как он сказал, — пытаюсь удержать осенившую меня догадку. — Франкфуртские сосиски? Его излюбленное кушанье... Где я это уже слышал?»

Старичок смачно чмокает и подносит блюдо к моему носу.

---

* «Завтра, завтра, только не сегодня» — из немецкой поговорки. *(Прим. авт.)*

— Вкусно, очень вкусно!

Сижу, по-прежнему уйдя в себя.

Гельмут первый замечает, что со мной что-то произошло.

— Тебе плохо, Александр? — участливо спрашивает он. — Может быть, тебя укачало в самолете?

И шарит у себя по карманам.

— Где-то у меня были мятные лепешки.

Теперь и Дитер услышал. Старается опередить Гельмута.

— Это бон-бон, — говорит он, протягивая плексигласовую коробочку, — по-русски леденцы. Попробуй, тоже освежает.

Добрые, участливые лица. Но память, этот услужливый официант, уже достала запыленную книгу с полустертыми записями и листает ее, листает... Мелькают люди, бесплотные, как духи в гётевских мистериях, призраки с человеческими лицами. Среди них и друзья, и враги, и просто случайные встречные... Кто-то из них сказал те же слова, только по-другому... Мгновенье, и, вызванное памятью, передо мной встает чье-то искаженное злобой лицо...

Вспомнил!

Облегченно вздыхаю, словно сбросив с себя многопудовый камень. Я вспомнил главное: от кого услышал впервые эти слова. Значит, мое прошлое еще со мной!

К радости немцев, говорю, что их таблетки мне помогли. Теперь, пожалуй, можно и закусить. Беру с блюда, которое продолжает держать у моего носа настырно-услужливый старичок, длинную поджаренную колбаску, добавляю к ней немного картофеля, зелень, поливаю все темным ароматным соусом. Гельмут наполняет вином крошечные рюмочки. «Мне не надо бы, — слегка противится Дитер, — я за рулем». — «А я, как ведьма, — на помеле? — усмехается Гельмут и наливает себе. — С меня дорожная полиция штрафов не берет, — шутит он, — знает, что я безработный. — Он поднимает рюмку. — Пр́озит! Пр́озит!» Старичок порывается сказать тост, но ему не дают: слишком уж все проголодались.

Некоторое время молчим, дружно работая челюстями. Гельмут насытился первым и снова принимается за свои шутки. Показывая Дитеру и мне на самозабвенно поглощающего пищу маленького Фрица, подмигивает: вот, мол, кто, оказывается, главный гурман.

— А если бы это были не франкфуртские сосиски, а,

допустим, седло косули на вертеле, — представляете себе картину?

— Ему нельзя так много есть, — вставляет Дитер. — Посмотрите, как он покраснел.

— Того и гляди лопнет.

— Лопну — туда мне и дорога! — Фриц, продолжая с аппетитом уплетать еду, беззлобно отбивается от дружеских подначек. — Моя Ленхен говорит, что я всегда был обжорой. Но кто меня им сделал, она умалчивает.

— Да, уж Ленхен хозяйка что надо. Правда, сама ест как птичка, лучшие куски отдает тебе.

— Это чтобы я носил ее на руках.

— И ты ее носишь?

— Ношу... Но больше — других.

Общий смех. И я смеюсь. Но тайная пленка воспоминаний продолжает бежать, добавляя новые подробности. «У т о г о тоже было красное лицо, — напрашивается сравнение. — И маленькие глазки. Неужели он?» Я боюсь этой мысли и хочу отогнать ее от себя, но есть минуты, когда мы не властны над собой.

Пленка бежит еще немного, и я уже вижу все, как было тогда, поздней осенью сорок третьего года. За окном, странно уменьшившимся в размерах, мелькают вершины озябших деревьев, метет пурга...

Нас везут в холодных грязных вагонах, опутанных колючей проволокой. Проволока — на окнах, на дверях, даже на тормозных площадках. Где-то там, впереди, Германия, таинственный и страшный «великий рейх».

Сегодня для них подвелн эшелон.
Обыщут их, сунут в вагоны,
И будет больных и страдающих стон
Размеренным стуком колес заглушен,
А поезд пойдет под гудков перезвон,
Под скрип тормозов на уклонах.
И думает пленный, прижавшись к стене
Вагона, склонившись устало,
Как будет он жить в незнакомой стране,
И холод от страха бежит по спине.
Но вот он уснул и уж видит во сне
Он дома, и ест, как бывало

В ночь перед отправкой фельдшер Николай Коршунов, странный, белобрысый, неразговорчивый человек, послушав стихи, вдруг растрогался. Удостоверившись, что их написал я, фельдшер решил меня наградить. Порывшись в изголовье, он извлек противогазную сумку со своими дорожными припасами. «Возьми», — сказал мне

неожиданный поклонник муз и протянул несколько сырых картофелин. Потом, подумав, снова покопался в сумке и добавил кусок ломкого просяного хлеба. Я был растроган признанием моих поэтических способностей, но, наверно, еще больше — первым полученным «гонораром».

Но он быстро подошел к концу. Смотрю на последнюю щербатую корочку хлеба и все гадаю: есть или не есть? Нет, пожалуй, воздержусь, — решаю, вспомнив давнее наставление матери, что надо всегда что-то иметь при себе на «черный день». Мама, конечно, была права, но что она подразумевала под этим днем? И разве он для нас не наступил?

После недолгой душевной борьбы съедаю мой жалкий НЗ. Слышу, как кто-то рядом, посвистывая простреленными легкими, строит прогнозы, зачем немцы перегоняют нас в Германию. «Сами воны уси на фронт пишли, а мы за них робыть будемо». — «Ну, в хозяйстве еще можно, — отвечает ему невидимый собеседник. — А если на военный завод, покажем им хрен с маком». — «Станок спалю или сломаю — и в лес!» — подает голос третий. Первый только иронизирует: «Тож тоби не дома. Там в каждом кусту собаки да волчьи ямы. Зараз стреножат».

Рад бы с ним поспорить, но, вероятно, он прав. Любой транспорт для нас был почти равносилен смерти, об этом и говорить нечего. Ведь теперь нас перегоняли не просто на запад, а на немецкий запад. Мы прощались не просто с местом, где, казалось, как-то уже приспособились и пока остались живы, а с родной землей — с маячившими вдали за проволокой белыми украинскими мазанками и белыми, осыпанными первым снегом садочками... Великая сила скрывалась в этом понятии — Родина, для нас ее значение возросло во сто крат по сравнению с прежним — мы ею клялись, на нее уповали, думали о ней, поддерживая угасающую в душе и теле искорку жизни.

Германия! Когда-то, по книжкам, я представлял себе немцев людьми неторопливыми, разумными, вежливыми, даже сентиментальными. Но первые же из них, увиденные воочию, перевернули все мои представления. Перед нами оказались человекоподобные дьяволы — жестокие, злобные, суетливые, с неестественно высокими гортанными голосами. Они не давали нам ни минуты покоя, казалось, для них не было ничего ужаснее, чем вид заду-

мавшегося пленного. Они кричали: «Никс думать! Работать!» Стоило кому-нибудь из нас хотя бы на секунду замешкаться в строю или передохнуть во время работы, как тут же раздавался этот истошный крик, а то и выстрел. За мысль или за видимость ее, за одно подозрение, что пленный еще не потерял способность думать, человек порой расплачивался жизнью.

Но мы думали — думали ночью, лежа на нарах, натянув на себя зловонные остатки бывших шинелей и ватников. Думали обо всем, о чем думает нормальный человек в нормальной обстановке, в том числе и о том, зачем этим «разумным» немцам уничтожать нас, не лучше ли попытаться извлечь пользу — заставить, допустим, убирать хлеб или копать огороды? И тут же понимали — они боятся. Боятся, что мы перебьем стражу заступами или мотыгами, перережем косами горло и, захватив урожай, подадимся в лес к партизанам.

Всякое думали мы и сейчас, когда нас увозили с родной земли. Несмотря на запрет, мы, прижатые друг к другу, как кильки в банке, вели разговоры под стук колес. Одни высказывались так: увозят, потому что Красная Армия уже близко, по эту сторону Днепра. Другие возражали — не в том, мол, главная их мысль, проще было бы укокошить всех до единого: тыщей больше, тыщей меньше, все бы в земле лежали. А тут живьем везут, значит, и мы нужны стали.

Из листовок, случайно проникших в лагерь, я знал, что несколько гитлеровских армий разгромлено под Курском, а недавно Красная Армия освободила Киев. И тоже думал: Германия не бездонная бочка, откуда Гитлер достает своих отборных головорезов, рано или поздно придется бросить на фронт и хилых и немощных. Радостная была эта мысль и одновременно грустная. Радовался я мысли о крахе бандитского государства, печалила же беда, грозившая несчастным, обреченным на погибель людям.

«Разве они люди?» — спросил дернувший раненой шеей мой сосед, бывший севастопольский моряк Виктор Шумаков. Я ничего не ответил. Только подумал, стыдясь своей прежней детской наивности, как эта война запутала все и простое стало сложным.

Нас везли десять, или двенадцать, или все четырнадцать дней — не помню. Помню, что нас никто не трогал, если не считать двух или трех осмотров, когда на стоянке двери с тяжелым скрипом открывались, солда-

ты из спецкоманды с серповидными шевронами на груди выгоняли всех из вагона и, светя фонариками, осматривали пол, потолок, стены. Иногда поезд останавливался вдалеке от населенного пункта, и мы под командой немецкого санитара выносили из вагона трупы умерших от голода или болезни и поспешно зарывали их где-нибудь неподалеку, в кювете или в яме.

Уже проехали Польшу — на станционных вывесках, которые мы видели в щелку, двойные надписи, на немецком и польском языках, исчезали, остались только немецкие названия, а на перронах маячили внушительные полицейские в касках, похожих на перевернутые горшки. Теперь нас везли почти без остановок и под угрозой расстрела запрещали подходить к окнам. Мы не знали, была ли это санитарная мера или нас прятали от местных жителей, боясь, что наш вид вызовет у них жалость. Только раз, ночью, в поле поинтересовались, есть ли в вагонах мертвые, быстро, воровски вытащили их наружу и так же воровски унесли в кромешную темноту.

Мы чувствовали, что нашему «путешествию» скоро конец, и как-то внутренне подтянулись. Еще недавно вагон оглашали стоны, просьбы хлеба и воды... Теперь, когда большинство уже уничтожило свои последние жалкие запасы, все молча ожидали развязки. «Умирать надо достойно!» — сказал кто-то, возможно, тот же гордый моряк со шрамом, выглядывающим из-под драной тельняшки, Виктор Шумаков, и этот афоризм был принят большинством как закон. Мы знали: стонами и мольбами о помощи не разжалобишь врага, а себя унизишь. Теперь, на чужбине, внутренний голос повелевал нам держаться до последнего вздоха.

И вдруг поезд остановился. Еще не утихло клацанье сцеплений, как двери резко распахнулись и низкорослый унтер, в пилотке с черными наушниками, с медалькой на мундире, гаркнул, как выстрелил: «Алле раус!» — «Все выходи!» Это новый немец, такого мы здесь, на транспорте, не видели, по-видимому, его к нам только что прикрепили. На фронтовика он мало походил, несмотря на награду и грозные, воинственные позы. Но именно в нем, в тоне, который он сразу взял с нами, мы почувствовали для себя особую опасность. Инстинкт подсказал, что от этого пощады не жди. Розовощекий гном с медалькой стрелял командами, показывая себя большим начальником. Этих — туда, тех — оттуда, всех

нас быстро разделил пинками на два потока и присоединил к другим, из первых вагонов. Две длинные шеренги, гремя котелками и грохоча колодками, бежали сбивчивой рысью по обе стороны полотна, туда, где на фоне бледного озябшего заката вырисовывались какие-то темные здания.

«Лос, лос!» Кто-то в соседней шеренге споткнулся о шпалу; звякнул котелок и отлетел на середину полотна. Пленный вскочил, метнулся за котелком, но маленький унтер опередил его и ударом ноги отбросил котелок под откос. «Пан!» — отчаяино вскрикиул пострадавший, в ужасе протягивая руки, но, угадав намерение немца, потянувшегося к кобуре, нырнул в толпу.

Маленький уитер задал тои и остальным немцам. Довольно мирно настроенные к иам вначале, они постепенио иакалялись его мерзкими выходками и тоже стали орать петушнными голосами и сыпать ударами. Глупое стадо! Привычка думать, даже в такой обстановке, не оставляла меня, я с жалостью, с презрением посматривал, ие умеряя шага, на безусых юнцов, одетых в новые, еще не обмятые шинели, подражающих выходкам своего «фюрера».

Не знаю уж, заметил ли он выраженне моего лица — такого же серого и изможденного, как у всех, но когда я пробегал мимо него, инстинктивно отвернувшись, то он вдруг дал мне пинка в бедро. Я не остановился, даже не потер ушибленного места, ощущая на спине взгляд этого подонка, получившего свою медальку за участие в какой-нибудь карательной акции. Теперь я был уверен, что к нам прикрепили карателя. Инстннкт самосохранения подсказал мне, чтобы я держался как можно подальше от него. Но у карателей нюх собачий: унтер так и буравил меня взглядом.

Ои что-то готовил против меня. Я знал, чувствовал это, следя искоса, из-за чужих спин, за каждым его движением. Но, к счастью, уитера отвлек железнодорожник, подошедший к нему с какой-то бумажкой. Через минуту наша шеренга была далеко от него, уитер уже не мог меня увидеть. От души сразу отлегло.

Однако я рано обрадовался. Когда передние из наших поравнялись с большим, мрачным кнрпичным зданием, возле которого дымились под навесом два котла, и в протянутые посудины потекла баланда, в этот момент я снова почувствовал на себе ненавидящий взгляд... Унтер как вынырнул из-под земли и встал между кот-

лами. В руках у него была длинная, острая щепа, подобранная на полотне. «Лос, лос!» — крнчал он, покалывая острием замешкавшихся. Люди, подхватнв свон порции, пробегали дальше и выстранвались в шеренгу вдоль здання, под охраной солдат. Поглощение баланды — жидкого, грязного супа, пахнущего гнилым бураком, мерзлой картошкой, землей, — происходнло молча, с жадной поспешностью.

Мне хотелось поскорее получить свою порцию и, миновав унтера, оказаться в толпе, по ту сторону котлов. Но когда до меня оставалось всего несколько человек, пронзошла заминка. Одному из пленных, уже теряющему от голода рассудок, показалось, что разливальщнк, тоже из пленных, плеснул в его котелок меньше баланды, чем положено, и он, упав на коленн перед унтером и протягивая ему полупустой котелок, заплакал, пытаясь того разжалобить. «Пан, скажи ему... пусть добавнт... Хучь юшкн немножко... И так смотри... скоро помру, капут».

Его мольба, а главное, образовавшаяся заминка, разозлнла унтера. «Ннкс капут!» — крикнул он, заподозрнв в просителе притворщнка, и палкой выбил у него нз рук котелок. Пленный, с ошпаренным лнцом, жалобно воя, пополз по земле, подбнрая овощи.

Небольшой н ладный, несмотря на худобу, Внктор Шумаков сделал шаг нз строя, быстро, рывком, поднял несчастного, поставил рядом с собой. «Дай ему мою порцию!» — сквозь зубы прнказал он разливальщнку. Тот ухмыльнулся, но опрокннул черпак. Унтер еще не понял толком, что пронзошло, как оба пленных оказалнсь по ту сторону котлов.

Подошла моя очередь. Не знаю уж, вдохновнл ли меня благородный поступок товарища илн проснулась моя прнродная гордость, еще не утраченная за годы плена, но, подойдя к котлу, я вдруг поднял глаза н смело посмотрел на унтера. Мне хотелось показать ему, что Внктор не едннственный средн нас, что ничто, никакне уннжения, не могут сломить прнсущего нам, советским людям, человеческого достоннства.

Но унтер все еще не мог сообразнть, кннуться лн ему вслед этнм двонм илн оставить их в покое; его лобик сморщнлся, взгляд блуждал. И я осмелел еще больше. Заметнв, что мне в котелок попала черная капустная кочерыжка, жесткая как камень, я, обжнгая себе пальцы, достал ее из котелка и демонстративно швырнул. «Дерь-

мом кормишь, придурок!» — тихо, подражая Виктору, выдавил я, презрительно посмотрев на разливалу. Тот, не привыкший к подобным оскорблениям со стороны пленных, взорвался: «Ах, доходяга несчастный...», и завершил фразу отборным матом.

Кажется, он произнес одно из немногих русских слов, известных унтеру. Немец вдруг дернулся и уставился на меня. «Ду?..» * — словно бы удивленно протянул он. Его щеки зловеще побагровели. Унтер перевел взгляд на валявшуюся кочерыжку и мгновенно все понял. «Менш!» ** — угрожающе заговорил он, подняв свою палку. Но не ударил, передумал, в его глазах мелькнула злобная усмешка. Он придавил сапогом кочерыжку, изловчившись, насадил ее на острие и поднес к моему носу. «Ну как, — донесся до меня смысл его речи, — вкусно пахнет?» И, свирепея от моего молчания, крикнул: «Ты хотел франкфуртскую сосиску? Так ешь, ешь!»

Шершавая кочерыжка шарила по моему лицу, искала рот. Я увертывался. Стоявшие позади замерли от страха.

Я чувствовал, что сейчас со мной произойдет нечто ужасное, роковое. Кочерыжка уперлась в мои сомкнутые губы и пыталась прорваться сквозь них в ротовую полость и дальше, в горло, по лицу из пораненных губ текла теплая струйка... Я решил не раскрывать рта, предвидя последующее. Противиться унтеру было равносильно подписанию себе смертного приговора. Немец стервенел, его налитые кровью щечки шевелились, он уже не говорил, а выдавливал из себя какие-то звуки — насмешливые и угрожающие. Не отрывая от моего лица палку с кочерыжкой, он переложил ее в левую руку, а правой нащупывал кобуру...

Строй замер, люди, словно позабыв о баланде, молча наблюдали за неравным поединком. Сейчас прозвучит выстрел, и моя голова разлетится на части... Я закрыл глаза. В сознании мелькнул далекий родной образ. «Прощай, мама!» — шепнул я.

Не знаю, что произошло, но страх из моей души вдруг ушел, жизнь словно отлетела... Я не услышал выстрела. Но не услышал и другого, того, что спасло меня, — резкого, нетерпеливого звука сирены подъехавшего к зданию автомобиля. Товарищи потом рассказывали мне, что Виктор Шумаков, тоже наблюдавший издалека за

* Ты *(нем.)*.
** Человек *(пренебрежительно)* — *(нем.)*.

готовившейся расправой, увидел въехавший в ворота автомобиль с сидящим в нем строгим и важным пожилым чиновником в полувоенной фуражке с золотым шнуром. Мгиовенно оценив обстановку, Виктор выбежал из строя и что-то сказал важной персоне, показывая в нашу сторону. Машина подъехала ближе, начальник нажал на клаксои, заставивший унтера оглянуться...

Почему тот не сделал выстрела?

Не успел? Или струхиул перед штатским? Могу лишь предполагать, что чиновник, приехавший за «рабочей силой», не захотел терять «единицу». Но, может быть, им руководило чувство сострадания — ведь и среди врагов иногда попадались люди. Не знаю. Но только случай с унтером, пытавшимся накормить меня «фраикфуртской сосиской», навсегда врезался в память.

* * *

— ...Спасибо, дорогой Фридрих, данке шёи, — говорю я, иасаживая колбаску на вилку. Из ее поджаренного бока брызжет жирная красноватая струя. Капля падает мие на галстук.

— Ай-ай-ай! — сокрушается старичок и, поставив блюдо, тянется ко мне с бумажной салфеткой. — С ними надо обращаться очень осторожно. Сразу понятно, что вам никогда не доводилось пробовать это блюдо.

Его улыбка кажется мне наигранной.

— Да, да, вы правы!

Я киваю, рассматривая его в упор. У него маленькие барсучьи уши, острые и почти без мочек, с красноватыми прожилками. Как жаль, что я не запомнил уши у того... Зато щеки: здесь не может быть ошибки, щеки его, разве лишь чуть дряблые. И эти красноватые веки — тогда оиий слезились от ветра, сейчас — от старости.

— Вы молодец, у вас такие ловкие руки!

— О, это пустяк, во время войны мне приходилось делать даже перевязки.

— Да? А сколько вам лет, если не секрет?

Моя дипломатия шита белыми нитками. Но Фриц ничего не подозревает. Похихикивая, он отвечает:

— Это моя Ленхен еще иногда не дает заглядывать к себе в паспорт. Но мне уже безразлично. Для девушек я ие представляю интереса — одиих ие устроила бы моя внешность, других — он подмигивает, кивая иа соседний столик, за которым в лениво вызывающих позах

расположились три накрашенные девицы, — мой карман.

Его шутки наивны и грубоваты, но мы смеемся. И больше всех веселится он сам. Это снова сбивает меня с толку: тот не мог бы смеяться так по-детски. Когда-то мудрецы утверждали, что искреннее веселье удел лишь чистых душ. Да, но разве наши палачи не веселились вполне искренне при виде предсмертных корчей своих жертв?

Змея недоверия снова жалит меня в сердце.

— Выходит, дорогой Фриц, что мы с вами оба — старые солдаты.

— Я скорее старый матрос.

— Вы... служили на флоте?

— С шестнадцати лет.

В голосе старика звучит неподдельная гордость. Он лезет за бумажником и достает оттуда свое «курикулюм вите» * в фотографиях. Начинает с последней по времени, где он и его Ленхен стоят во дворе своего домика среди пышного, любовно возделанного цветника.

— Помещики, а? — хихикает, снова подмигивая, немец. — Целый ботанический сад на трех квадратных метрах земли.

Фотография цветная, на великолепной бумаге, хорошо исполненная.

— Сам снимал, — не забывает подчеркнуть старичок и показывает на пальцах. — Автоспуск, удобно.

Затем достает другую, довоенную, фотографию. Черно-белую, любительскую, величиной с почтовую марку.

— А теперь попробуйте узнать меня здесь!

Он обращается к нам троим, но и Гельмуту, наклонившемуся над карточкой лишь из вежливости, и Дитеру, который недавно ездил вместе с Фрицем в Ялту, эта фотография уже знакома. Но я беру ее в руки, едва сдерживая дрожь. «Сейчас все откроется», — говорю себе, вглядываясь в лица молодых матросов, стоящих веселой и дружной шеренгой на фоне корабля.

Вот он! Я узнал его лишь по росту, — остальные четверо на голову выше его, — и по бравой, воинственной позе.

— Значит, еще похож! — Обрадованный старик кладет передо мной еще одну, таких же крошечных размеров, фотографию.

— Там я был гражданским моряком, а здесь уже военным. На третий год войны нас призвали.

* Жизнеописание (*лат.*).

А вот у подиожия скалы живописио расположилась группа молодцеватых парией в белых формеиках и круглых шапочках с помпоиами.

— Это мы иа Капри. Неужели ие узиаете?

Старику ие терпится.

— Вот я, впереди всех.

Но я и сам его узиал. Прикидываю в уме: в сорок втором году ои служил иа флоте. А потом? Ведь могли же его перевести иа сушу — в те же коивойиые войска?

— И вам ие иадоела морская жизиь... вечиая качка?

Ои машет рукой, доедая сосиску.

— Нас тогда ие спрашивали. — Ои подмигивает Гельмуту. — Предпочитали допрашивать. Так?

Гельмут сдержаиио кивает.

— Зиачит, всю войиу вы прослужили иа флоте?

— До последиего часа.

Версия рушится. Попробую зайти с другой стороиы.

— А теперь, как я понимаю, вы соседи с Гельмутом, так же, как и с пастором Дистельмайером. Неплохая компаиия, а?

— Прекрасиая. Кстати, все трое — активисты Штукеиброка.

В голосе старика иеподдельиая гордость.

— А кто был его крестиым отцом? — подмигивает Гельмут.

— Лучше скажи, кто лишил меия спокойиой жизии!

— Это верио, — смеется коммуиист, — бороться за мир у иас трудиее и, пожалуй, опасиее, чем ходить на корабле в бурю. Но держимся ведь, а, старииа?

Гельмут с иежиостью кладет руку иа плечо Фрицу.

— И будем держаться!

Старик сиова кивает, согиувшись иад тарелкой.

Дитер шепчет украдкой:

— Вы его растрогали.

Мие стыдио. Стыдио за мою подозрительиость.

И все же я рад, что моя версия рухнула, как карточный домик. Я не нашел врага, ио приобрел друга — да еще в деиь приезда. А это — хочется верить — хорошее предзиамеиоваиие.





ЖАРКИЙ ДЕНЬ В БАД-ЗАЛЬЦУФЛЕНЕ

Гостиница в крошечном курортном городке — ее здесь называют «Деревенская гостиница» в отличие от богатых «городских отелей», с номерами по сто и больше марок, многоэтажных прямоугольников, выглядывающих из лесных зарослей. После недавнего дождя тучи разошлись, выглянуло солнце, и день восходит тихий и умиротворенный.

Прохлада и тишина, царящие в моем новом пристанище, невольно настраивают на философский лад. «Прекрасна земля и на ней Человек». Да, прекрасна! Прекрасен этот зеленый дворик, совсем поленовский, нет только бабы с ведром и лошадки, запряженной в телегу, вместо нее в пейзаж вписан небольшой автофургон с поднятым капотом. Есть и белоголовый мальчуган — сын хозяина отеля. Он играет с толстым лопоухим щенком, шлепает его по морде, хватает за уши, и щенок то убегает от своего мучителя, то возвращается, чтобы потрепать малыша за штанишки. А вот появляется и женщина, молодая, преждевременно расплывшаяся, но красивая — с белой налитой шеей и спокойным, добродушным лицом. Она что-то говорит мальчугану, зовет его в дом, но малышу хорошо здесь, в компании со своим четвероногим другом. И мать садится в холодке, блаженно зажмурив глаза, любуется голубым небом, зеленой травой и своим белоголовым, в нее, чадом.

Ну прямо святое семейство. Не хватает только яслей. Впрочем, есть и ясли... гусиные. Под окном с утра раздается тонкий писк. Высовываюсь из окна и вижу вольеру с крошечными серо-желтыми пушистыми шариками. Гусята, наверно, этой ночью появились на свет и сейчас, ковыляя, куда-то спешат, возвещая о своем существовании.

Из сарая, как бы для полной гармонии, выходит хозяин. Но гармонии не получается, наоборот. Хозяин, молодой и тоже дородный, с жесткими черными бакенбардами, не похож на прародителя-плотника. Я видел его пока всего два раза, вчера, когда определялся в его заведение, и сегодня, когда спустился в столовую на завтрак. Между нами с первого взгляда, как в вольтовой дуге, возникла искра — искра антипатии. Почему? Я сразу определил свой антитип — наглого, откормленного холуя, который считает себя пупом земли. Надо было посмотреть, как он шествовал впереди меня по лестнице, чтобы показать мне мою комнату. Из него так и сочилась пренебрежительная важность. Со мной шел Гельмут и нес мой чемодан. Хозяин, вдвое моложе Гельмута, не говоря уже обо мне, видел, как я стараюсь отобрать у моего подуставшего за день спутника поклажу, но даже пальцем не пошевелил, чтобы помочь нам...

В номере, куда он нас привел, мне поначалу понравилось, комната маленькая, удобств, кроме умывальника, нет, но все чисто, опрятно, из окна открывается симпатичный пейзаж. Однако когда поздно вечером я вернулся из гостей от пастора, то ощутил неприятный запах, идущий от моих вещей и постели. Он не давал мне спать всю ночь. Уж не подсыпали ли мне под видом порошка от моли или клопов какую-нибудь гадость? Утром, спустившись в столовую на завтрак, я хотел предупредить хозяина, чтобы никто не заходил в номер в мое отсутствие, но не решился. Меня снова обезоружил его важный, неприступный вид. И до завтрака, который он мне принес, я почти не дотронулся.

Все это, конечно, глупо. Я понял, поднявшись снова к себе и призвав на помощь здравый смысл, логику. А вскоре еще разведрилось, в мой тесный номер заглянуло солнце, в окно я увидел голубое небо, траву, величавые стройные сосны, окаймлявшие дорогу, и мои подозрения рассеялись, как последние облака на горизонте. Наверно, нет ничего хуже этого неоправданно враж-

дебного чувства. Ну почему хозяин, у которого я остановился, должен меня любить? Или, быть может, он чем-то болен, огорчен, терзается тайными муками? А я требую от него улыбки, предупредительности, дружелюбного света в глазах. Надо принимать людей такими, какие они есть, — важно ведь, что́ они делают, а не как смотрят на тебя. Старая истина, которую я, однако, часто забываю... Ну, бог с ним, с этим хозяином, еще день-два, и я уеду отсюда.

Вчера у пастора мы уточняли мой маршрут. Больше половины пунктов аккуратный пастор заранее отметил на карте. К сожалению, доктора Роя — того, о ком я рассказал ему еще пять лет назад, в первый приезд на штукенброкскую манифестацию, он пока не нашел. Обнаружились либо однофамильцы, либо очень дальние родственники, с которыми доктор никогда не поддерживал связи. Вообще, сказал пастор, фамилия Рой здесь редкая, не немецкая, предками доктора, по-видимому, были шотландцы, служившие в войсках вестфальских курфюрстов.

— Надо ли продолжать поиски? — спросил, глядя испытующе, пастор. — Что этот Рой такого сделал, чтобы вы жаждали встречи с ним почти сорок лет спустя?

Я повторил то, что сказал пастору при первом знакомстве: доктор Рой помог сохранить мне жизнь.

Тогда, пять лет назад, пастора, кажется, удовлетворила эта фраза. Надо, значит, надо: старый борец против фашизма, он научился понимать бывших концлагерников без лишних слов.

Однако сейчас он либо подутратил надежду найти таинственного доктора, либо его разбирало любопытство и он хотел узнать эту историю точнее, узнать, не может ли она послужить на пользу делу, которому он, Генрих Дистельмайер, один из руководителей рабочего кружка «Цветы для Штукенброка», теперь, лишившись церковной кафедры, посвятил всего себя.

— Интересно, — произносит пастор, внимательно глядя на меня, словно призывая к исповеди. — Интересно.

Что ж, я готов рассказать о докторе Рое, человеке, которого видел когда-то не больше часа, но запомнил на всю жизнь. И тем не менее колеблюсь. Мой рассказ занял бы изрядное время. Повествуя о моем спасителе, я не могу не рассказать и о других, тех, кто так или иначе был причастен к событиям. Выдержат ли мои

слушатели эту далекую и грустную повесть? Я посмотрел на тяжело опершегося на костыль хозяина, на его жену Луизу, худенькую женщину с нервным лицом, на дремавшего в кресле после долгого пути Гельмута...

Шутливый, но требовательный хлопок заставил меня вздрогнуть.

— Публика в сборе, — сказал пастор. — Можно начинать.

...Наш день в «рабочей команде» складывался так: рано утром, едва забрезжит рассвет, в барак врывался обер-пост Виллимайер, тощий, вечно чем-то раздраженный блондин со скрюченной рукой в черной перчатке, и орал: «Ауфштеен! Вставайть! Живо!» Мы вскакивали как угорелые с чахлых матрацев, набитых какой-то травой, которую даже нельзя было подмешивать в табак — она пахла формалином. Замешкавшихся Виллимайер колол штыком в зад, делал, как мы говорили, отметку на память. У меня их имелось не меньше десятка — ко мне обер-пост был особенно неравнодушен...

После подъема — десять минут на баланду и перекур, и вот все мы, тридцать восемь невольников, бежим, гремя деревянными колодками, через двор к мерно гудящему машинами цеху. Там нас встречает местный, заводской, полицай, он же пожарник, Антон, необыкновенно широкий в плечах, почти квадратный, старик с выпученными глазами, черными нафабренными — торчком — усиками и красными не по возрасту, сластолюбивыми губами и, размахивая для острастки висящей у него на руке резиновой палкой, тоже орет: «К станкам! Работать!»

Мы разбегаемся по цеху, проталкиваясь между рядами тесно стоящих станков, к рабочим местам. Каждый из нас хорошо знает свои обязанности. Меня, например, как рослого, но не имеющего сноровки, мастер поставил на самую грубую операцию: откатывать по рольгангам поступающие со склада чугунные болванки для их последующей обработки на фрезерном станке. Короче говоря, я просто грузчик, грубая сила. Беру с вагонетки тяжелую, покрытую ржавой о' алиной шестикилограммовую чушку, поднимаю ее на уровень груди, швыряю на рольганг, и чушка по инерции катится к стоящему поодаль фрезерному станку, за которым ра-

ботает француз Марсель, маленький чернявый мужчина неопределенного возраста, в черном промасленном комбинезоне и таком же, но кокетливо сдвинутом на бок берете. Марсель для меня личность загадочная: на словах он ненавидит немцев, но работает старательно, не отходя от станка. Мы смеемся над ним, говорим в лицо: «У тебя, Марсель, есть мочевой пузырь?» Француз утвердительно качает головой и дает нам сигаретку — одну на всех. Он рассуждает так: если русский у тебя что-то спрашивает, то либо покушать, либо покурить. Французы в отличие от нас получают посылки Красного Креста, к тому же их кормят по более высокой «расовой норме», и Марсель и его земляки, зная о нашем бедственном положении, стараются по возможности нам помочь: дают иногда сигаретку или галету из посылок...

Все эти подачки, конечно, капля в море. Пробавляемся мы, как правило, иным. Одни, те, кто работает на заводском дворе, таскают упаковочные ящики и продают их, перебрасывая через забор, местным жителям — за хлеб, за табак. Те, кто транспортирует готовую продукцию на склад, обязательно останавливают вагонетку возле кухни, всего на несколько секунд, чтобы не увидел вездесущий Антон, однако и этих мгновений хватает, чтобы утащить с кухонного двора картофелину или свеклу, а если особенно повезет, то и кусочек мяса. На кухне работают подсобницами две девушки-украинки, сестры Мария и Роза, они тоже стараются помочь «своим», чем могут: бросят исподтишка кусок хлеба или плеснут на бегу в котелок половник какого-нибудь варева.

Таким, как я, кого оберпост Антон числит в «подозрительных», выход из цеха запрещен. Нам приходится выискивать, что называется, внутренние резервы. Промысел этот опасный: если поймают на месте преступления, то могут убить тут же, без суда и следствия. Личная собственность для немецкого обывателя священна, пусть это ничтожная мелочь, какая-нибудь булавка от галстука. В другое время мы, наверно, восхищались бы подобными порядками, но сейчас нам хочется есть. И это ни с чем не сравнимо — муки голода. Терзаясь ими, понимаешь, что человек ради куска хлеба готов пойти на бунт, на казнь...

Работа изнуряет. Я, например, должен за рабочий день поднять с вагонетки и бросить на рольганг три ты-

сячи болванок. Это значит в общей сложности восемнадцать тысяч килограммов, восемнадцать тонн... К концу дня я сам не свой: поясница разламывается, каждая мышца дрожит. И есть уже не хочется. Хочется только пить. Выпить бы кружку воды, но не теплой и пахнущей машинным маслом, из бачка, а холодной, родниковой, и упасть — пусть на этот пол, усеянный колючими стружками. Только чтобы не стоять на противно дрожащих ногах, не поднимать эти проклятые болванки...

В барак возвращаемся тоже в сумерках: в небе, если нет туч, висит молодой месяц, единственный «незамаскированный осветительный прибор», как его здесь называют. Он — объект насмешек и проклятий. В спокойное время немцы над ним смеются, как над «безработным»: ведь сейчас на него уже никто не любуется, при виде его никто не вздыхает в любовной истоме — не до того. А когда прилетает «союзная» авиация, то все проклинают светило, демаскирующее землю.

Бомбили часто. Не успеешь после одуряющей работы повалиться на нары, как слышишь истошный вой сирены и крик вбежавшего к нам обер-поста: «Аллярм! Вставайт! Би́стро!» Он носится, как привидение, между нарами, орет «лос! вэг! бистро!», будто лает, и колет направо-налево штыком в задницу. Поднимается страшная суматоха: кто-то в темноте схватил чужую рубаху, кто-то обулся в чужие колодки... Грохоча, толпа выбегает из барака и бежит через двор, подгоняемая обером и его помощником, колченогим резервистом, имени которого мы даже не знаем, почти безгласным в обычное время, но вынужденным кричать, как и его начальник, все те же «лос» и «вэг», когда начинается воздушная тревога.

Бункер огромный: в него набивается сразу несколько сот человек. Здесь, как при сотворении мира, собираются все — и чистые, и нечистые, и старики, и младенцы. Немцы перемешаны с французами, русскими, поляками... Несмотря на трагичность обстановки, мне бывает смешно от мысли, что новый «всевышний» — авиация союзников — смешала все нации и расы, устранив различия между господами «чистокровными арийцами» и нашим братом, славянскими «недочеловеками». Перед смертью все равны: это хорошо понимаешь именно здесь, в бункере, слыша рядом сдавленное страхом дыхание какого-нибудь мастера или даже инженера, грозного и недосягаемого для нас в другое время. Там, в

цеху, это Зевс, важно сидящий на антресолях в своей стеклянной конторке и мечущий молнии: одного его замечания достаточно, чтобы такого, как я, пленягу, бросили в карцер или лишили пайка на несколько суток... А тут я вижу, как он, слыша свистящий рев пикирующих бомбардировщиков, начинает мелко, противно дрожать, как лоб его покрывается испариной, а побледневшие губы что-то шепчут, наверно, слова забытой с детства молитвы. Не знаю, может быть, я тоже дрожу, но чужой страх всегда заметнее, и мне невольно становится жаль этого лощеного господина. Я уверен: потребуй от него сейчас, как искупления от бомбы, торжественного обещания относиться к тебе нежнее, чем к родному брату, и он охотно даст его. Но понимаю, что окончится тревога, и все снова встанет на свои места, и снова этот человек, обретя привычную спесивость, будет обливать меня ненавистью и презрением. Таков их строй, разделивший всех на господ и рабов.

«Едэм дас зайне!» — «Каждому — свое!» — любят повторять немцы. Однако всем — и им и нам — уготована смерть. Они погибают на фронте и от бомбежек, а мы — в тюрьмах и концлагерях, на каторжных работах в шахтах и каменоломнях. Мне, по пленным понятиям, еще повезло: я попал на завод, где даже самый тяжелый труд, например, мои восемнадцать тонн за смену, не может сравниться с работой в той же шахте, с ее вечной чахоточной сыростью и звероподобными надсмотрщиками, специально набираемыми из уголовников. Говорят, что хозяин фабрики, «папаша Фоссен», запретил своим мастерам избивать пленных, следит, чтобы не воровали продуктов... Но я чувствую, что мой конец не за горами: обер-пост, которого я уличил в краже хлеба и маргарина, все чаще придирается ко мне; Антон в отсутствие хозяина с особым удовольствием потчует меня своей палкой, а тут еще почти ежедневные бомбежки, когда бессонница отнимает последние силы. Я худею с каждым днем, штаны еле держатся на мне, вид затравленный. В цеховом туалете висит мутное зеркало, из которого каждый день смотрит на меня тощий, длиннолицый, сутулый, как старик, человек.

Сначала мне было жутко от сознания своей участи, и как-то ночью я вспомнил свой дом, мать, девушку, которую любил когда-то и которая, кажется, не любила меня, и заплакал: ведь больше ничего не вернется, подумалось мне, ничего, если жизнь покинет меня. За-

крывшись одеялом, я даже пропел про себя душещипательную «отходную».

Но не умер. Что-то укололо меня в самое сердце — пожалуй, это была мысль, прорвавшаяся из недр души и протестующая против пассивности. «Ты человек — действуй!» — вспомнилось чье-то изречение. И я решил действовать.

На следующий день, улучив момент, когда немец, работавший неподалеку, на прессе, отошел по нужде, я зажал пуансон и, положив на прессовую плиту левую руку, рванул рычаг на себя. В первый момент даже не почувствовал боли, может быть, оттого, что ожидал чего-то сверхъестественного. А получилось все до смешного просто: когда я вынул из-под пуансона руку, она была цела, только два пальца, указательный и мизинец, неестественно выгнулись. По руке, до плеча, огнеметной струей катился жар. Надсадно ныла кость. Но это были мелочи по сравнению с тем, что я ожидал. Главное — рука осталась цела.

Вероятно, потому, что гримаса боли, которую я попытался изобразить на своем лице, показалась недостаточно убедительной, мастер, посмотревший на мою руку, словно сомневаясь, покачал головой и промычал что-то вроде: «Это мы еще проверим, что у тебя за перелом». Я же настойчиво твердил свое: «Никс арбайтен. Мус нах лагерь, ин лазарет», что означало, что я больше не могу работать и меня надо отправить обратно в Штукенброк, в ревир, где — это я уже добавлял про себя — мне поможет, обязательно поможет врач Иван Гаврилович, легенды о котором дошли до нашей рабочей команды.

Мастер вызвал обер-поста Виллимайера и доложил ему о случившемся. Виллимайер ничего не сказал, только угрожающе сжал губы. Он повел меня через двор обратно в барак, пиная, как шелудивого пса, — и все это молча, с глухой, едва сдерживаемой ненавистью. Тут мою душу снова объял страх: я понял, что просто так, отправкой в лагерь, здесь дело не кончится.

В бараке он показал на метлу: «Бери, будешь наводить чистоту так, чтобы все блестело!» Я взял метлу правой рукой и, прижав ее к плечу, провел несколько раз по полу. «Держи обеими руками!» — крикнул Виллимайер. Но едва я прикоснулся к метле другой рукой, как из глаз у меня полились слезы. Виллимайер вырвал у меня метлу, больно ударил черенком по спине и по-

звал своего помощника. «Отведешь его в городской госпиталь, пусть ему сделают, что положено». И добавил, уже обратившись ко мне: «Я знаю, что у тебя на уме. Но ничего не получится, лечиться будешь здесь. А потом... потом... я сделаю из тебя человека!»

Его помощник — старик, просто «пост», вывел меня за ворота. Тут он словно преобразился: повеселел, даже стал что-то напевать, гнусавя себе под нос: «Лос, лос!» — привычно покрикивал он, но это звучало у него уже добродушно, как у хозяйки, погоняющей гусей на водопой. Правда, если нам навстречу попадался какой-нибудь военный чин, то старик тут же выпячивал грудь и, неуклюже козырнув, орал на меня во весь голос. Однако стоило «чину» удалиться, как он снова принимал свою обычную позу и что-то бормотал, словно извиняясь передо мной за свое оранье.

Мы шли через город, по улицам, изувеченным бомбежкой. Повсюду высились огромные горы щебня, обгоревших бревен, скрюченных железных балок. Редкие уцелевшие дома тоже были исцарапаны и издырявлены осколками и казались обреченными на гибель, ожидающими своей участи. «Они как я!» — грустно мелькнула мысль и болью отозвалась в руке. Но тут же вспыхнула неясная надежда. Какой-то тайный голос шепнул мне, что надо держаться и еще не все потеряно. «Мы еще поборемся!» — сказал я, с гордостью посмотрев на скрюченные пальцы: их вид вдохновлял меня.

И вдруг я заметил, что мой пост поднял с земли окурок сигареты и сунул ее за отворот пилотки. Тут меня осенило: да ведь с ним можно подружиться! И заодно набрать себе курева! Я стал усердно шарить взглядом по мостовой. Вот еще один приличный окурок! Подняв его, протянул старику, тот быстро схватил, оглянувшись, снова спрятал в пилотку. Следующий окурок я уже положил себе в карман. Пост, глядя на меня, сделал то же самое: подняв сразу два окурка, он один отдал мне, другой оставил себе... Так, деля добычу строго поровну, мы прошли, наверно, половину города, и пилотка старика разбухла, как и мои карманы. Нам обоим сегодня чертовски везло!

Развалины как-то разом остались за спиной. Перед нами расстилался большой зеленый луг с белеющими на нем уютными домиками. В маленьком пруду посреди луга мирно плавали лебеди. Откуда-то, не то из домиков, не то из леса, а может быть, с неба лилась тихая музы-

ка. Мимо нас промчалась девушка в белом, с подносом в руках, распространяя какие-то волнующе-вкусные запахи. Следом за девушкой пробежала собака с длинными ушами и печальными, выразительными глазами, но не залаяла на нас, наоборот, приветливо вильнула хвостом...

Куда мы пришли? Я даже не представлял, что может быть такой чудесный островок среди моря развалин.

Мой старик тоже смотрел во все глаза, удивленно крякая. Он даже забыл об окурках. Мы оба невольно стыдились своего вида — наших помятых пиджаков и грязных пилоток, которые почти не отличались друг от друга. «Да, — наконец вымолвил старик, — вот это живут. Только примут ли нас здесь?» Сидевший неподалеку, под деревом, в кресле-коляске раненый, молодой красивый блондин, в наброшенном на плечи сером френче с погонами лейтенанта и Железным крестом, показал, где находится приемный покой, и мы, пройдя по дорожке мимо цветочных клумб, подошли к одному из домиков. Пост, помявшись, решился и, приказав мне, не сходя с места, подождать его, скрылся в дверях. Несколько минут я стоял, никем не охраняемый, и, наверно, мог бы спокойно уйти, убежать, скрыться... До меня никому не было дела: раненые сидели в своих колясках и шезлонгах с книгами в руках или, собравшись в кучку, резались в скат. На посыпанной красным гравием площадке между газонами две молоденькие сестрички — два белых эльфа в кокетливых шапочках — кружились под музыку. Снова пробежала мимо меня добрая собака, посмотрела сочувственно и вильнула хвостом. «Свобода!» Может быть, еще минута-другая, и я решился бы... Но вышел из домика пост, поманил меня пальцем. «Тебя примет сам главный хирург!» — сказал он с многозначительной миной.

Мы поднялись по узкой белой лестнице, прошли коридор и остановились перед дверью с табличкой: «Врач-майор, доктор Рой». Пост трусливо приоткрыл дверь. «Что же вы копаетесь? — послышался нетерпеливый голос. — Где этот пленный?» Мы вошли. За большим столом сидел пожилой мужчина в широком, туго накрахмаленном халате, похожий на большую белую, нахохлившуюся птицу. Из-за очков с толстыми выпуклыми стеклами сердито смотрели круглые, без ресниц, с красными ободками усталости глаза. Мы оба, пост и я, нерешительно топтались у порога. Мне казалось, что

этот сердитый доктор сейчас вылетит из-за стола и набросится на нас...

«Выйди и погуляй где-нибудь... там!» — приказал он солдату, кивнув за окно. Пост, козырнув, вышел. «Ты понимаешь по-немецки?» — спросил доктор. Я пожал плечами. «Покажи руку! Закрытый перелом обеих фаланг. — Он усмехнулся. — Тебе еще повезло». Я растерянно улыбнулся, пробормотав что-то вроде «может быть». Врач покачал головой. «Ты, вижу, еще молод и глуп. Но ничего, сейчас мы тебя полечим».

Он вызвал сестру и приказал положить мне шину. Сестра увела меня в перевязочную и, быстро и ловко манипулируя пальчиками, словно играя на рояле, загипсовала мне руку. Затем снова привела в кабинет к врачу, доложила и вышла, плотно притворив за собой дверь.

Доктор вышел из-за стола. Подошел ко мне вплотную. Еще раз внимательно и строго посмотрел на меня.

— Так какой же ты области, земляк?

Я даже вздрогнул: он сказал по-русски, почти без акцента. В мозгу заметалась мысль: «Что ответить ему? Сказать правду? Но зачем?» Совсем же соврать я почему-то тоже не смог.

Ответил неопределенно.

— С Поволжья. Со Среднего Поволжья.

— Из Самары?

Я кивнул. Это было вранье: я родился и жил до армии в Пензе, но в Куйбышеве, который этот странный немец назвал по-старому Самарой, у меня жила тетка, и, следовательно, моя ложь выглядела как бы полуправдой.

Но доктор, по-видимому, понял меня.

— Мне все равно, откуда ты, — сказал он, усмехнувшись. — Главное, ты русский, и что еще для меня немаловажно — русский интеллигент. Вот здесь, — он ткнул в мою лагерную карточку, — написано, что ты рабочий. Но твои руки выдают тебя...

«Он все знает!» Я посмотрел на него. Теперь мне нечего было скрывать.

— Мои родители — врачи.

— Где они учились?

— Мать в Киеве, отец в Саратове.

— Вот видишь! А я учился в Петербурге. — Он неожиданно подмигнул мне. — В Санкт-Петербурге! В Военно-медицинской академии. Хотел стать русским хи-

рургом, но началась первая мировая война, и меня, как немца, выдворили обратно в Германию. Кстати, против моего желания. — Он печально покачал головой. — Но что есть в наш век желание человека, когда за него все решает политическая машина? Моя жизнь повернулась, и вот теперь, — он ткнул толстым белым пальцем мне в грудь, — мы с тобой враги. А могли бы быть друзьями, верно?

Я не знал, что ответить. Мне по-прежнему казалось, что он испытывает меня.

— И ты боишься говорить «да»! Но русский интеллигент не может сказать иначе. Это вы, ваши прекрасные писатели Лев Толстой и Достоевский, учили людей быть братьями, а не врагами. Никто не производил на мою душу такого впечатления, как они. Читая их, я понимал, что человек может быть счастлив, только живя в согласии с совестью, — он нахмурился, — слово, которое теперь у нас даже страшно произносить... Да, да, — его палец пророчески пошел вверх, — мы все сейчас парализованы страхом, но это не вечно, люди не могут так жить, если они... люди!

Он взял меня за плечи, подвел к столу, усадил в кресло и сел сам.

— Слушай хорошо, мне надо говорить с тобой по душам, чтобы ты знал, что думают сознательные немцы, — нет, я не скажу пока — миллионы, нет, пока нас меньше, может быть, тысячи или даже сотни, — но разглядеть будущее способны поначалу всегда немногие, однако правда — за ними. Так вот, — он понизил голос, — Германия проиграла эту войну, и вопрос формального краха — дело месяцев, в крайнем случае года, не в том суть. Она проиграла все войны, еще не начав их вести. Сразу, как только этот бесноватый неуч со своими подручными захватил власть. Нет ничего страшнее обывателя с ножом в кулаке — такие не знают голоса рассудка, голоса совести. Гитлер, сам обыватель, дал темной массе в руки ножи, сказал: грабьте, убивайте, вы всё будете иметь этим способом... Да, конечно, не каждый сразу встал на такой путь, только низменные элементы, взрастившие свои желания в «подвалах» Фрейда или в натуральных подвалах. Многие честные простаки еще колебались: за кем идти — за коммунистами, которых упрятали в тюрьмы, или за нацп, процветавшими при новом режиме? Можно осуждать слабых, но нельзя отбросить то, что сам Маркс на-

зывал бытием. Представь себе, как все это происходило. У меня в соседях жили двое рабочих — Ганс и Михель. До зимы тридцать третьего оба ходили в какие-то кружки, читали книжки на социальные темы, голосовали за уменьшение военных кредитов, кричали «долой войну»... И вот к власти пришел Гитлер, разогнал кружки, а их членам предложил вступить в свою национал-социалистскую партию: только в ней, мол, вас научат правильному социализму. Между прочим, почти все партии так кричали, попробуй разберись, чем «национал-социалистская» хуже, чем «социалистическая»? И тут решило «бытие»: жены, дети, желудок... Михель первым поддался на удочку и примкнул к наци. Тогда ему дали выгодную работу, к рождеству и пасхе стали присылать гуся и бутылку мозельвейна, жена Михеля ходила по дому и показывала всем свои новые платья. А жена упрямого Ганса носила в ломбард последние тряпки. Ночами она вела «постельную дипломатию» с мужем: «Ты меня не любишь», «Ты не думаешь о детях», «Посмотри на Михеля — он не променял свою семью на глупые идеи. Да и какая разница: социализм для всех народов или же социализм только для немцев? Зачем тебе заботиться о всяких неграх или китайцах, пусть они сами добиваются для себя счастья!» Ганс упирался год, другой, потом его припугнули концлагерем, и наконец он сдался: тоже надел на себя повязку со свастикой и стал кричать: «Зиг хайль!»... А тот, кто продолжал упираться, сидел без работы или, хуже того, погибал в застенках гестапо. Вот и все. Просто, как в школьном учебнике. Есть такая сказка — о всемогущем раке. Однажды рыбак поймал этого рака, который вдруг заговорил человеческим голосом: «Отпусти меня, и я исполню любое твое желание». Посоветовался рыбак с женой, захотели они иметь сына. И сын родился. Но показалось мало: рыбак попросил у рака новый, красивый дом. Появился дом. Опять мало: просит рыбак у рака графское звание и сотню батраков. И это он получил. Тогда совсем обнаглела чета, захотела иметь в подчинении самого рака. Рак рассердился и лишил их всего, что дал, вернул к убогой жизни... Так и Германия: час расплаты близок. Есть вечный закон: посягнувший на свободу других лишится свободы сам. Вот посмотришь: Германию всю превратят в развалины. Возмездие будет ужасным. Что ж, поделом! «Каждый получает то, что заслуживает», — говорилось в римском

праве. Да, то же говорят и у вас. Но у нас, в рейхе, это звучит как насмешка, ибо гений в загоне, а мразь процветает...

Он вдруг умолк и уставился на меня, словно протрезвев.

— Кому я говорю? Ты первый выстрелишь в меня при удобном случае. Я же немец, враг! — Он засмеялся с горечью. — Но есть одно преимущество: ты хотя бы не донесешь, а донесешь — тебе никто не поверит... Так что ты желаешь, товарищ русский коммунист?

Я молча смотрел на него. Кто он: сумасшедший или, наоборот, единственный нормальный человек из всех немцев, с кем я встречался до сих пор? Чудно: его исповедь наполнила меня гордостью. Я чувствовал себя победителем. Этот мираж сейчас исчезнет...

— Мне нельзя оставаться в рабочей команде.

— Ты хочешь, чтобы я отправил тебя в лагерь?

— Да, в лагерный ревир.

— Хорошо, будет по-твоему!

Он что-то написал на моей карточке и вызвал поста. «Отправьте его немедленно!» — приказал он. «Но обер-пост Виллимайер сказал...» — попытался возразить солдат. «Кто ваш Виллимайер по званию?» — «Обер-ефрейтор». — «А я — майор, личный врач генерала! Понятно?» — «Понятно!» — гаркнул старик и, козырнув, вышел. Я вышел за ним, попрощавшись взглядом с доктором Роем. Он снова ободряюще подмигнул мне...

Прочитав надпись на карточке, обер-пост еще больше побледнел и побежал к телефону. Что он говорил доктору Рою, можно было догадываться. Но ясно было, что тот остался при своем, да еще, видимо, вложил как следует самолюбивому оберу. Когда Виллимайер вернулся, все лицо его было в красных пятнах. «Ты у меня еще попрыгаешь!» — злобно процедил он, зашел на минуту к себе и снова вышел, натягивая на здоровую руку черную перчатку. «А ну, подойди» — приказал мне и стал бить меня по щекам. Я только успевал поворачиваться от его хлестких ударов. Передо мной маячило злобно налившееся кровью лицо. О, как мне хотелось ответить ему, хотя бы раз...

Когда мы — я и старик пост — ехали в вагоне в Штукенброк, солдат признался, что обер заполнил на меня красный «шайн», по которому меня должны выписать из ревира в штрафной блок, а затем вернуть в команду или отправить на каторжные работы. «Жаль,

что у меня там, в комендатуре, нет знакомых, я бы помог тебе», — сказал со вздохом старик. Он тоже хотел мне добра.

Но я обошелся и без его помощи...

— Да, — задумчиво произносит пастор, положив свою седую голову на ручку костыля.

Пока я рассказывал, он сидел в такой позе, полузакрыв глаза, как бы борясь с дремотой, однако не только не спал, но не пропустил ни одного слова.

— Да, — повторяет он. — Бедные люди. Времена были страшные, мы помним. Взбесившийся холуй или обыватель у власти — казалось бы, парадокс. Тем не менее нет ничего страшнее подобной ситуации, тот доктор, как его... Рой?.. был прав. Все человеческое в таких случаях попирается — гордость, сострадание, честность... Да, и честность тоже! Этот ваш обер-калека Виллимайер рассудил так: жизнь меня обманула, и я имею моральное право на обман. Но маленький человечек, нижний чин, он и обманывал по мелочам — то украдет у вас буханку хлеба, то пачку маргарина. Впрочем, может быть, он кому-то и сострадал: старикам родителям или жене, отдавая им присвоенные продукты...

Гельмут усмехается.

— Подлец этот обер-пост! — решительно заявляет он. — Подлец и вор!

— Несчастный, — упрямо отзывается пастор. И обращается ко мне: — А кем он был до войны? И откуда он родом — не знаете?

— Знаю, — отвечаю я. — Вернее, узнал... после освобождения...

Гельмут сдвигает брови.

— И не поехал, не пустил ему пулю в лоб?

— Поехал, нашел. Но пулю не пустил.

— Почему?

Рассказываю, что в первый же день свободы я с двумя товарищами поехал в Гютерсло на фабрику Фоссена, и там мне сообщили адрес Виллимайера, он оказался из местных. В окрестностях города у него была маленькая ферма.

Помню, как он вышел к нам в непривычно мирном ночном туалете — в халате, шлепанцах на босу ногу и вязаном колпаке, похожем на лыжную шапочку. Этакий тихий, добропорядочный обыватель, которого подняли

с постели. Ои долго протирал глаза, словно ие мог понять, кому он понадобился в такую рань. «Хватит ваньку валять! — сказал один нз нашнх, рослый парень, которому тоже доставалось от обера. — Суднть тебя будем!» Бывшнй обер пожал плечами и что-то заговорнл о законе, о том, что у нас нет ннкаких прав... Мой товарнщ схватнл его за шиворот н поставнл к стенке. «Тогда мы тебя без суда шлепнем!» Внллнмайер задрожал, но покорнлся. Мы уже поднялн пнстолеты. Но в этот момент из дома выбежала молодая женщина в длннной ночной сорочке, распатланная, и, увидев стоящего у стены мужа, закричала и бросилась к нам, умоляя пощаднть его. Она ползла по земле, хватала нас за ногн... Мы опустнлн пнстолеты. «Неужелн так и ие рассчитаемся с этнм гадом?» — спроснл меня товарищ. Он был тоже смущен, хотел быстрее закончить дело. Я подошел к Внллимайеру, сорвал с него колпак н иесколько раз ударнл по лнцу. Мы сели в машнну и уехалн ие оглядываясь.

— Ну и куракн! — восклнцает Гельмут. — Ты думаешь, он оценнл твое благородство?

— Не знаю, — отвечаю я. — Для этого иам надо бы сиова встретиться с ним.

— Именно! — подхватывает пастор. — Война еще клокотала в сердцах, ее кровавое облако улетучнлось не сразу — для этого потребовалнсь годы. Сейчас вы встретилнсь бы уже почтн старнкамн, под занавес жнзнн, на пороге вечности, так сказать. Возможио, взанмной иенавистн в ваших сердцах давно нет?

Я уже готов согласнться — не как бывшнй «подопечный» обер-ефрейтора, а из любопытства, как представнтель профессин, исследующей метаморфозы человеческого духа. Но дух, душа — не кощунственно ли это звучнт прнменнтельно к такнм типам, как Внллимайер? Медлю с ответом, незаметно ощупывая поясннцу, на которой до снх пор сохраннлнсь отметнны от обер-ефрейторского штыка. Нет, душа все же есть у меия, а не у иего — ведь я ие отплатнл ему его же монетой...

Пастор и согласен н не согласен с моимн доводами. Есть цепная реакцня зла, ее кто-то должен прервать — самый мудрый, самый иезлобивый. Даже еслн он погибнет, отключая смертоносный провод, человечество не забудет его, как ие забыло Хрнста. Почтн две тысячи лет людн идут по его стопам, несут в себе его свет.

У подлецов же, палачей и прочих низменных созданий нет будущего. Их заветы обращены не к душе, единственному признаку человеческого в человеке, а лишь к тому, что роднит человека со зверем. Все существа в этом мире едят, пьют, утоляют свою похоть, но любовь и совесть даны только человеку. «Да не убий их в себе самом!» — гласит высшая мудрость.

Я мог бы поспорить с пастором и его философскими выкладками. Мир помнит не только великих гуманистов и праведников, но и великих узурпаторов, проливавших человеческую кровь во имя своих честолюбивых замыслов. За кем идут люди? К сожалению, век от века землю все чаще и чаще сотрясали смертоносные взрывы, жертв становилось все больше и больше. Горы трупов... Тот же Штукенброк, где под землей лежит население целого города... Замученные, потерявшие при жизни даже внешний облик человека... Где были тогда эти ангелы — «гуманисты» и «праведники»? Большинство спало, сложив крылышки, в закутке. А меньшинство, видя бесчинства палачей и узурпаторов, вынуждено было взяться за оружие.

Пастор кивает: да, так было, было и с ним тоже — он не сидел тогда сложа руки и сомкнув уста.

— Душа никогда не спит!

Он рассказывает мне историю, похожую на притчу, как один юноша, студент из Мюнстера, узнав о том, что его любимый дедушка был во время войны карателем где-то в Белоруссии или на Украине, ушел из дома и стал активным участником манифестаций в Штукенброке.

— Что ж, — отвечаю, — в это я могу поверить. Ведь дед и внук — представители разных поколений, а значит, и психологии.

— Бывает, изменения происходят и в одном человеке, — мягко настаивает пастор.

Я пожимаю плечами. Нам, прошедшим и ад и чистилище, чего только не пришлось повидать на своем веку, какие человеческие метаморфозы. Мы и сами, наверно, в чем-то изменились. Но главное — наши, мои в частности, — взгляды на подлость и предательство остались неизменными. Я не могу мирно сидеть за одним столом с тем, кто когда-то хотел содрать с меня шкуру. Но мой опыт есть мой опыт, я не распространяю его на весь мир.

— Ага! — весело подмигивает пастор. — Тут я вас

поймал, мой друг. Как же мы тогда говорим о всеобщности чувств? Допустим — о ненависти к войне?

Тут входит Луиза с подносом, приглашая всех на чай.

— Кофе на ночь вредно, — говорит она и ласково стучит пальцем по седому виску мужа. — Как и серьезные разговоры — тоже.

— Ты нас слышала?

— Разумеется.

— И безусловно, разделяешь мои мысли?

— Как положено жене.

— А без шуток?

— Милый, разве в наш век можно ко всему относиться серьезно?

Она пытается улыбаться, но глаза у нее грустные.

Пастор любовно касается ее руки.

— Ты права. Будем пить чай. И слушать хорошую музыку.

Он обращается ко мне:

— Но прежде решим, Александр, к кому мы отправимся завтра? Роя нет, его мы будем еще искать. От встречи с Виллимайером вы отказываетесь. А ваш бывший хозяин... о нем вы у меня раньше не спрашивали? Может быть, поискать его?

— Фоссена? — повторяю в неведении. Ну, зачем он мне, этот маленький фабрикант, которого я видел, наверно, не больше трех-четырех раз, да и то мельком. Но вдруг, вспомнив какой-то эпизод, прихотливо вынырнувший из тайных глубин мозга, говорю, что, пожалуй, эта встреча могла бы получиться любопытной. Только жив ли «папаша Фоссен», — ведь ему тогда было уже далеко за сорок?

— Посмотрим, посмотрим... — бормочет себе под нос пастор, надевая очки и беря с полки телефонный справочник округа. — Вестфальцы — народ живучий. Записывайте... — Нейенкирхенерштрассе, 97, телефон 5011. Да, разговор может получиться интересный. Встреча Ядмона и Эзопа. Старый патриций и его бывший раб.





ВОСКРЕСНАЯ МЕССА

Будильник поднимает меня раньше обычного. Семь часов. Однако немцы уже все на ногах, несмотря на воскресенье. В окно мне видна как бы микросхема жизни городка: кто-то, нагрузив пожитки на крышу машины, направляется с семьей за город, в лес или на берег одного из многочисленных озер; кто-то везет на тачке кирпичи — хочет, наверно, повозиться по дому, подремонтировать камин или теплицу; кто-то по соседству уже ползает по крыше с молотком в руке, прибивает отставшие листы шифера.

Еще раз заглядываю в расписание. Сегодня состоится поминовение усопших. И вообще день насыщенный, надо спешить.

Принимаю душ и спускаюсь вниз, в пустую столовую, наспех проглатываю кофе. До традиционных сосисок и яйца не дотронулся — некогда. Хозяйка чуть ли не в ужасе: «Вам не нравится завтрак?» Разуверяю ее как могу, говоря, что мне в этом заведении все нравится. О хозяине, разумеется, умалчиваю.

В номере уже сидит Фриц, посматривает на часы. «Быстро в машину. Пастор не любит, когда опаздывают». Сегодня его очередь сопровождать меня. Про Гельмута говорит, что тот будет ждать нас на ратушной площади в Лемго. «А на мессу он не пойдет?» — спрашиваю простодушно, забыв впопыхах о ха-

рактере моего друга. «О, Гельмут и месса — это все равно что вода и масло», — посмеивается Фриц.

«А вы такой же ригорист?» — «Я? — немец подергивает плечом, усмехается. — Для меня безразлично, где дремать — в машине или в церкви. Лучше всего, конечно, дома в постели, но там мешает жена со своими заботами. А в церкви над тобой витают ангелы, никто не требует денег на расходы...»

Он шутит с серьезной миной. Теперь, когда я уже присмотрелся к нему, мне кажутся бредом мои недавние подозрения. Маленький Фриц не только чужд каких-либо злобных эмоций, но, по-моему, за всю свою жизнь никого грубо не обругал, никого не ударил.

Сам Фриц, когда я говорю ему о своих предположениях, спешит их опровергнуть. «Я же бывший моряк. А какой же моряк может называться моряком, если не расквасил кому-то носа или не свернул скулу? У меня был сокрушительный удар!» Но я опять не верю. Немец начинает сердиться, кажется, не на шутку. «Одного парня после моего апперкота не могли привести в сознание целые сутки! Чтобы вы знали: я отучил его от вредных привычек на всю жизнь. Потом он сам был мне благодарен».

Ему хочется рассказать очередную историю, которыми он буквально нафарширован. И он рассказывает, что в далекие тридцатые годы, когда над Германией нависла страшная ночь гитлеризма, кое-кто из молодых моряков, еще недавно тянувшихся к коммунистам, заколебался. Фашисты ловили таких в свои сети, как куропаток. Однако предупреждали: все простим, если назовете зачинщиков. И вот — было это на стоянке в Киле — один из парней, которого Фриц опекал, натаскивал, водил на собрания, — сказал, что пойдет на берег к знакомой девушке, дочери смотрителя маяка. В последнее время он вел себя как-то странно, и Фриц решил за ним проследить. Сойдя с корабля, парень сначала покрутился в гавани, неподалеку от маяка, затем, оглядываясь по сторонам, зашагал в другую сторону. Фриц шел за ним. Выйдя в город, парень обратился к полицейскому с просьбой показать ему, где находится «Крипо» *. Фриц, стоявший за углом дома, все слышал. Он опередил парня, и когда тот уже подходил к зда-

---

* Криминальная полиция. Выполняла в начале тридцатых годов функции гестапо. *(Прим. авт.)*

нню, где помещалось зловещее учреждеиие, схватил его за шнворот н втащил в подъезд.

«Ты перепутал, дружнще, — сказал Фриц, — здесь ждет тебя девушка с усами н десятнзарядным кольтом. Предлагаю нзменнть курс». Но парень начал рыпаться. Тогда Фрнц отступил иа шаг и нанес ему свой зиаменитый удар. Как ни странно, это пошло на пользу парню. Когда он очухался, то больше не помышлял ни о каких свнданнях с нщейками.

Пастор Днстельмайер уже ждет нас в палисадннке перед домом. «Неужелн мы опоздалн?» — «Нет, но доброе правило гласнт: не давай гостю утруждать себя. Вышел вам навстречу». Я уднвлен: в такой день пастор одет, как обычио, в светлый костюм и саидалеты, верхняя пуговица рубашкн расстегнута... А где же сутана или хотя бы строгнй темный костюм с белым воротиичком? Где четки, молитвенник н прочие аксессуары, которые в моем сознанин неотделимы от образа священника?

Днстельмайер, опираясь на палку, ндет к машине. Вероятно, мои вопросы напнсаны у меня на лице. Перетерпев боль, пастор как бы между прочнм замечает, что все на этом свете нмеет иачало и конец, в том числе и духовная карьера. Вот уже пять илн шесть лет, как он, почувствовав, что снлы уходят, а болезни прибывают, стал подумывать об отставке. Сразу покннуть кафедру пастор не хотел: мало лн кому моглн ее доверить. Для него это было небезразлнчно. Долгне годы он старался превратить кафедру в трибуну добра, любви к ближнему, к справедливости. Что-то ему удалось сделать — об этом говорят людн, его прнхожане, паства, как сказано в бнблни... И он не смог, счел бы для себя преступным передать свое дело в чужне, холодные рукн. На кафедру все чаще и чаще подннмались молодые священникн — подготовленная нм смена. «Вот и сегодня, — с гордостью заключнл он, — мы услышим проповедь одного из монх воспнтанннков».

Машииа остановнлась на почтнтельном расстоянии — эдак шагах в ста от церквн. Высокая четырехгранная башня, сложеииая нз серо-желтого камня, была увеичана пикообразным шпнлем, иа конце которого восседал позолоченный петушок. На вершине башни помещалась звоиинца, тут же, как более позднее допол-

нение, имелись часы. Вполне современные по форме, они, вероятно, были установлены совсем недавно и выглядели как модный транзистор в руках средневекового рыцаря. «Так ли уж необходимо дублировать звонаря?» — спросил я, кивнув на часы. Пастор улыбнулся. «Звонарь — человек, а человеку присущи слабости. Он может проспать или загулять...» Но тут же, как бы в опровержение, на колокольне раздался громкий раскатистый удар. Зазвонил большой колокол. «Бух, бух, бух» — неслось над городком и прилегающими холмами, как поступь гиганта. «Динь, динь, динь» — гнались за ним, как шавки, маленькие колокола.

Пастор остановился на минуту, вслушиваясь в привычную его слуху музыку, что-то прошептал про себя и тронул меня за плечо. «Вам этот звон ничего не говорит?» Я пробормотал нечто невразумительное. Пастор слегка покачал седой непокрытой головой. «Да, сейчас он уже многим надоел, и потому его кое-где начали заменять легкой музыкой, всякими битлами. А ведь когда-то он поднимал народ на борьбу за свободу, на великие дела. Ты знаешь, что видела эта церковь? — Пастор, волнуясь, перешел на «ты». — Крестьянскую войну!» Я с интересом смотрел на него. Он словно не верил, что то время прошло и больше уже никогда не вернется...

Мы вошли в церковь. Меня поразило ее скромное убранство. Здесь почти не было золота. В продолговатых нишах стояло несколько каменных статуй. На стенах висели поминальные венки. Скамьи для прихожан, амвон и настенные панели были сделаны из темного, покрытого красноватым лаком дерева. Слева, за ступенчатыми хорами, спрятался орган, с потолка свисала небогатая люстра.

Здесь все дышало простотой, приверженностью традициям. Минувшая война, судя по всему, пощадила эту церковь: я не увидел на ее стенах ни одной выбоины или дымного следа. Было просто, светло и чисто, как в добром крестьянском доме.

Пастор Дистельмайер шел по проходу, приветствуемый прихожанами, и сам слегка наклонял в ответ седую голову. В отношениях между ним и паствой царила та же сдержанная простота. Никаких преувеличенных знаков внимания. Но уважение к моему спутнику я ощущал незримо, как дыхание или запах горящей свечи, которые были растворены в воздухе. Кто-то почтительно уступал ему дорогу, кто-то бесшумно подви-

нулся, освободив место. Не было никаких расспросов о здоровье. Каждый, видимо, знал и так: если их духовный отец не вышел на кафедру, а сидит в ряду, вместе с ними, значит, у него еще нет сил. Но то, что он присутствует здесь, как бы придавало особую торжественность предстоящей службе. Имя Дистельмайера давно стало в этих местах символом честной, бескомпромиссной борьбы против зла и насилия.

Прихожане степенно проходили на свои места, садились, положив перед собой, на откидные пюпитры, заранее отпечатанные тексты молитв и песен. Большинство из прихожан пережили войну, может быть, участвовали в ней и знали ее ужасы. Но сейчас, глядя на этих спокойных, серьезных, немного чопорных людей, нельзя было даже отдаленно представить их в военной форме, бегущими по изрытому воронками полю с перекошенными от злобы лицами.

Думал ли об этом мой достопочтенный сосед? Он сидел так же, как и все, с текстом в руке, и наблюдал за происходящим. Богослужение, которое началось буднично, без каких-либо церемоний, представляло собой своеобразный дивертисмент, составленный из хоровых песнопений и проповедей. Служили поочередно два священника, оба молодые — один довольно высокий, худощавый, с прямыми подстриженными волосами, торчащими как солома, и плотный, небольшого роста, круглолицый, с темными выразительными глазами.

О чем они говорили — что исповедовали, к чему призывали? Об этом я мог судить только из отдельных понятных мне слов. Большинство их так или иначе варьировало тему: божественное предназначение человека на земле. Перечислялось, чем мы, люди, должны заниматься в этой — мирской — жизни. Обязанностей было много, я понял лишь некоторые — работать на пашне, дабы кормить себя и близких, пасти скот, строить и содержать в порядке свое жилище, приумножать, не оскверняя землю, ее дары... «Почему же мы не исполняем усердно то, чему учил нас Господь, а предпочитаем время от времени вкушать от ядовитых плодов, выращенных Сатаной?» Дойдя до этого места, черноглазый священник воодушевился и, постепенно повышая голос, стал обличать пагубные страсти человека — зависть, корысть, коварство, неумеренную жажду богатства или славы... Особенно досталось тем, кто добивается власти над людьми. «Один бог, который всегда живет в лучших

помыслах и делах наших, способен наставить человека на путь истины. Обратившийся за помощью к богу получает ее. Только Всевышний в награду за смирение и кротость исцеляет больного, дает кров и пищу бедняку, посылает спутника жизни одинокому, мирит враждующих... Кротость и смирение украшают человека. Злоба же и ненависть, наоборот, уродуют. Вглядитесь в соблазненных Сатаной, и вы узнаете в искаженных алчностью и властолюбием чертах диких зверей, поселившихся в них по воле дьявола, — рыкающего льва или кровожадную гиену, леденящего кровь удава или бесстыдного павиана... Уродство внутреннее неизбежно ведет к уродству внешнему. Духовное же благородство, доброта способны украсить лицо человека — посмотрите хотя бы на стариков, проживших праведно свой век. Сколько красоты, света в их лицах. И как пугающе ужасен вид творившего зло!»

Признаться, я слушал с вниманием, чувствуя в подтексте руку или мысль Дистельмайера. Сам он продолжал сидеть в безучастной позе, лишь иногда кивая, как бы в согласии с проповедью, а из-под полуопущенных век лучился живой заинтересованный взгляд. «Ты понимаешь?» — раза два или три обратился он ко мне, может быть, для того, чтобы отвлечь мое внимание от своей персоны. «Понимаю», — с улыбкой отвечал я. Мое понимание дýховных текстов было, мягко выражаясь, несколько иным, чем у пастора.

Алчность, властолюбие и прочие пороки, на которые страстно обрушился молодой проповедник, разумеется, не украшали человечество, но и не существовали в нем, что называется, в чистом виде. Разве не случалось мне встречать людей талантливых и даже добрых, широкой души, но наделенных чрезмерным самомнением и по-своему властолюбивых? Жизнь не раз ставила меня перед величайшей из тайн, именуемой человеком, и, решая ее для себя, я пришел к выводу, что люди не бывают злыми или добрыми лишь сами по себе или по воле потусторонних сил, в чем пытался убедить свою паству молодой проповедник. В человеке брали верх те или иные качества прежде всего в зависимости от обстоятельств, в какие попадал он сам или в какие его ставили высшие, но не небесные, а земные, силы.

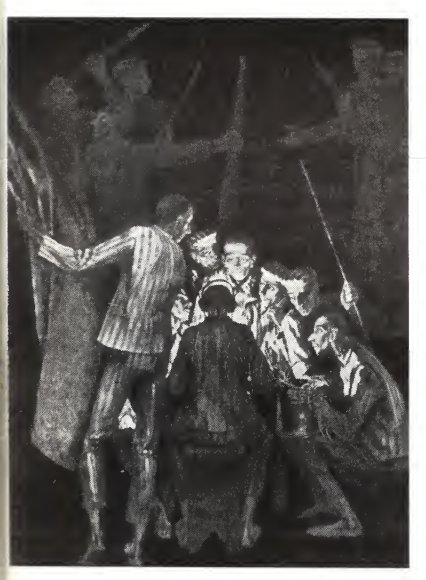
Я знал знаменитого писателя Кнута Гамсуна, который в угаре гитлеровских идей, маниакального бреда о «сверхчеловеке» потерял трезвость мысли и в полном

смысле слова предался дьяволу, одетому в коричневую рубаху со свастикой на рукаве. Знал и смелого воздухоплавателя Линдберга, на честолюбии которого смог сыграть все тот же коричневый дьявол. Знал видных артистов, музыкантов, художников, людей, возможно, по своей природе незлых, но поставивших свой талант на службу злу — из-за политической или нравственной незрелости, а то и просто из-за страха за свою шкуру. Работала злая, преступная политическая система — порождение пресловутого «Сатаны», а вернее, определенных классовых и социальных сил, и властно подминала под себя все мало-мальски слабое, душевно или идейно неустойчивое.

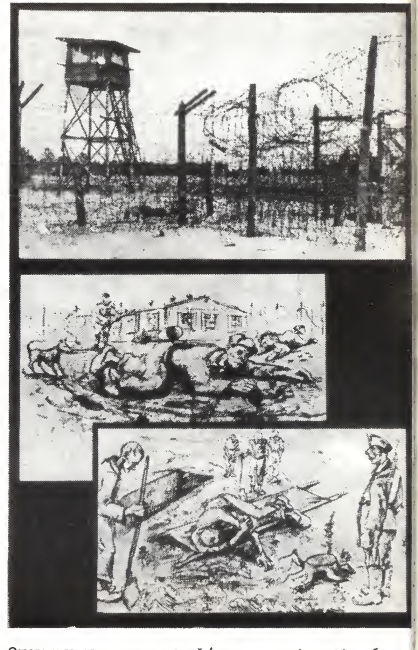
Но знал я и настоящих людей, — правда, таких, к сожалению, было меньше, — кто выходил, сжав кулаки, зачастую безоружный на борьбу с фашистским чудовищем, этим Голиафом двадцатого века. Однако действительность оказалась печальнее мифа — погибли «давиды», погибли, потому что их было мало, и праща не смогла сработать вовремя. Людьми доброй воли был упущен момент. В итоге мир потерял более пятидесяти миллионов человек, из них почти половина — мои соотечественники.

«Это по ним идет служба», — думаю я, слушая, как поет и вздыхает орган. Впереди пожилая женщина в темной шляпке вытирает платочком повлажневшие глаза. Она вспоминает своих безвременно усопших: сына или брата, погибших где-нибудь в России. Всех черным крылом коснулось горе — и нас, и простых немцев, — и отметины его еще живы. «Мир вашему праху!» — поет невидимый хор. Что ж, пусть будет так, если говорить только о прахе. Но нет мира, и никогда не будет тем, кто первым поднял меч, первым сжег чужое поле, первым осквернил мирный дом...

Месса подходит к концу. Заключительную часть проповеди маленький брюнет посвящает тому прекрасному будущему, какое ожидает человечество, освободившееся от сатанинских соблазнов и твердо вступившее на тропу господнюю. «В любви к ближнему обретем мы покой и радость — мы, и наши дети, и дети детей». Молодой проповедник говорит с чувством, его речь волнует не столько словами, половину из которых я не понимаю, сколько высоким, торжественным звуком, проникающим в душу. Он талантлив, этот ученик старого пастора, и будет, возможно, достойным наследником. Но смысл



Но даже перед лицом смерти они боролись! (С картины бывшего узника гитлеровского концлагеря, ныне всемирно известного художника, лауреата Ленинской премии Михаила Савицкого.)



Ограда и то, что творилось за ней (зарисовки и фотографии бывших узников).

А это — творчество художника Александра Морданя. Эскиз памятника, сделанный в ночь освобождения. Одна из живописных работ.



Скольких людей он спас — доктор Алексеев!

В этих бараках закончилась жизнь многих тысяч людей.





Памятник построен! Его авторы (слева направо): Александр Мордань, Виктор Хоперский, Николай Смирнов. Май 1945 года.



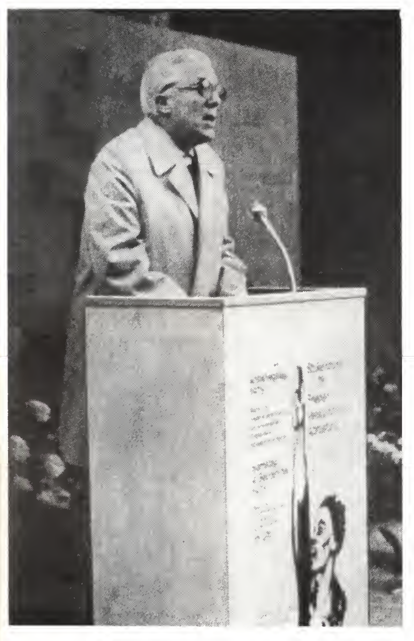
Газета и те, кто ее делал. В центре — В. А. Родинков («Бадиков»). Справа от него — А. С. Васильев («Александр»). Стоят крайний справа — А. К. Пищалов («Андрей»), четвертый справа — В. Ф. Кротков («Василий»).

Друзья встретились вновь (1960). Слева направо: Л. С. Манаенков («Леонид Волошенков»), С. М. Кущ, А. К. Пищалов, И. Г. Алексеев, А. С. Васильев, В. Г. Крюков.

Встреча бывших узников концлагерей с руководством Советского комитета ветеранов войны.

На митинге в Штукенброке гости из разных стран.

Эти люди не хотят повторения прошлого.



Пастор Дистельмайер.

Торжественно-траурная церемония в Штукенброке. Справа — генерал А. К. Горлинский.

Венки, венки...

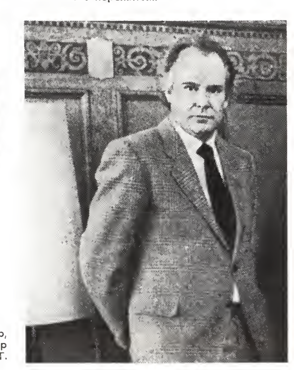
Неутомимый Гельмут Гейнце.

А это захоронение в Бохольте обнаружено совсем недавно...



«Никто не забыт, ничто не забыто».

В. Н. Кондрашов — педагог, литератор, краевед... и его книга о пережитом.



Вернер Хёнер, борец за мир из ФРГ.

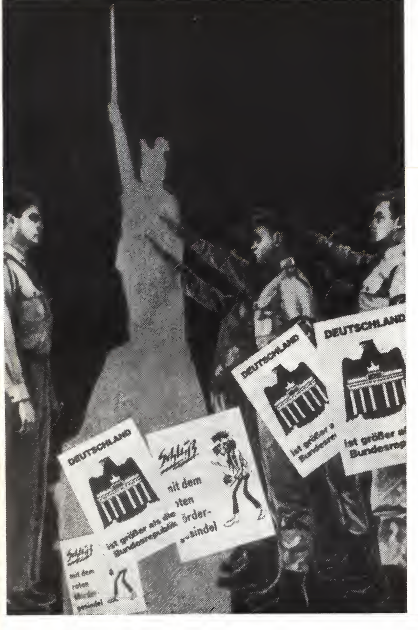


«Отцы и дети». Мюнстерская рабочая «шальмайен - капелла». В центре — Эрих Керн (в очках) и его жена Гертруд.

FESTSCHRIFT
INTERNATIONALES
SCHALMEIEN-FESTIVAL
Münster, 28./29.8.76

SCHALMEIEN KAPELLE
MÜNSTERLAND

Знак народного музыкального праздника в старинном Мюнстере.



Неонацисты и милитаристы. Их пропагандистская стряпня.

Восстановление намогильной плиты, разрушенной неофашистами.



Памятный знак рабочего кружка «Цветы для Штукенброка».

его речи для меня по-прежнему темен. Я, земной человек, воспитанный на законах материализма, думаю, что легче, наверное, не ждать этого идеального будущего, ибо люди не ангелы и никогда не уподобятся им, а выработать четкие и ясные правила нашего общежития на этой земле, выставить, так сказать, профилактический щит, преграждающий дорогу войне.

«Мир в душе! Мир между людьми! Мир во всем мире!» — провозглашает священник. Раздаются аплодисменты. Теперь и я готов присоединиться: этот призыв устраивает всех.

Богослужение окончено. Сдержанно хлопают пюпитры, люди поднимаются, не спеша продвигаются к выходу.

Пастор подходит к ученикам, пожимает каждому руку и что-то говорит — дружески, ободряюще. Один из проповедников, с соломенными волосами, уже снял с себя церковные одеяния и выглядит в своих поношенных джинсах и рубашке с расстегнутым воротом совсем по-домашнему: ну парень и парень, шофер такси, продавец из радиомагазина... Второй, брюнет, еще не успел переодеться и вытирает платочком вспотевшее лицо. «Жарко!» — говорит он будничным тоном. Из-под длинного темного одеяния выглядывают тоже будничные, домашние, брюки — серые, в легкую клеточку.

На дороге, напротив церкви, одиноко голубеет старенький «форд» Фрица. Бывший моряк, привалившись на левый бок, сладко спит. Румяное лицо прикрыто кепочкой, рядом, на сиденье, брошена книга с закладкой на второй странице.

— Несчастный, — улыбаясь, говорит Дистельмайер, кивая на бывшего моряка. — Даже читать ленится. Его волнуют только собственные речи.

— По-моему, это наш общий грех!

— А прослушанная вами проповедь? Неужели, по-вашему, брошенные семена пропали даром?

— Здесь — другое: инстинкт самосохранения. Или — колокол памяти. Человек не хочет умирать, в этом главная сила, а не в речах и проповедях.

— Да, да, — кивает седой головой пастор. — Может быть, вы правы. Древние говорили: смерти неподвластны только боги.

— Так было когда-то. Сейчас, пожалуй, и богам не поздоровится.

— Вы так думаете?

Дистельмайер поддерживает шутливый тон. Но что-то в моих словах его насторожило.

— Вы как-то странно рассуждаете о вещах, которые от вас далеки. Вас посещали когда-нибудь божественные видения, хотя бы во сне?

— В страшном сне?

— Пусть так. Но было ведь, признайтесь?

— Признаюсь. И во сне и наяву. Точнее, в обратном порядке, сначала — наяву.

— Ага, попались. Находка для господина Шпрингера: советский коммунист общается с дýхами. Вы не боитесь?

— Боюсь. Но не Шпрингера, разумеется. Боюсь, что видение может повториться.

Пастор берет меня под руку, отводит в тень.

— Это из времен войны? Да?

Киваю.

Взгляд его серых глаз уже серьезен и пытлив.

— А какой год?

— Осень сорок четвертого.

— И где?

— Здесь, в Вестфалии...

— Понимаю. Я тогда был в Нормандии, точнее, уже в плену, только в английском.

Пастор садится на скамеечку, вытянув больную ногу, задумчиво опирается подбородком о палку.

— Я сейчас работаю над одной статьей... на антивоенную тему. Хочу поделиться с молодежью моими воспоминаниями о том, чтó мне пришлось пережить тогда, в молодости. Было бы неплохо, если бы и вы поделились своими. Два солдата, два военнопленных — немец и русский... Возможно, у нас нашлось бы нечто общее.

Я показываю на спящего Фрица.

— А наш друг... проголодался?

— Кто спит, тот есть не просит, это я знаю еще по плену. — Он смотрит на часы. — Тем более что до обеда целых полчаса.

...Эта встреча с прошлым произошла совсем недавно, в старинном вестфальском городе.

— В продолжение десяти веков, — сказал гид, подводя нас к порталу древнего собора, — этот собор был душой города. Поколения горожан здесь молились, уповая на милость божию, каялись в грехах и получали

законное или незаконное прощение. Здесь начинался с купели путь человека и здесь же, в гробу, заканчивался. Люди приходили и уходили, а собор оставался. Истинную славу этому сооружению принесли строившие и украшавшие его мастера, гении из народа, воплощавшие в камне и стекле, в резьбе и росписях извечную мечту простых людей о равенстве и братстве.

В приоткрытую дверь входим в высокий светлый зал из белого тесаного камня. По бокам на тумбах стоят статуи покровителей собора — могучих бородачей в коротких одеяниях, с младенцем в одной руке и с деревом-саженцем в другой. За этими символами добра и вечной любви виден ряд широких стрельчатых арок и обрамляющих их узких и длинных горельефов, как стебли диковинных растений, уходящих к сводчатому потолку.

Как гулко отдаются шаги в этом зале! Слышен каждый, даже самый легкий, звук. Даже писк летающих под сводами ласточек. Даже тонкое позвякивание колокольчиков над старинными часами в стенной нише. Даже вечный шелест сквозняка, витающий в нефах.

Богослужение еще не началось, ряды сидений, похожих на школьные парты, пусты. Горят свечи в высоких шандалах, пахнет топленым воском. Торжественно-багровые блики вечернего солнца лежат на стенах. Мы осторожно ступаем по каменным плитам, боясь нарушить эту благоговейную тишину.

Со стен на нас смотрят лики святых. Большинство скульптур вытесано средневековыми мастерами из цельного камня. Останавливаюсь, чтобы их лучше разглядеть. Вот святой с раскрытой книгой. Поддерживающая ее рука полна скрытой нервной жизни. И лицо живое: несогласно опущенные глаза, складка на лбу, в губах спрятана усмешка. Улавливаю в нем сходство с одним из моих знакомых, соседом по квартире, и улыбаюсь: святой, изваянный сотни лет назад, и молодой советский инженер, казалось бы, что общего?

А эта скульптура, вероятно, старше, но скромнее. Нимб над головой святого вдвое меньше, отделка деталей грубее. Но лицо так и дышит страстями: тут и плохо скрываемая горечь, и обладание какой-то тайной. Кажется, вот-вот этот святой оживет, разомкнет уста и произнесет речь, от которой задрожит весь честной мир.

Любуюсь этим лицом: молитвенно поднятыми глазами, изощренными завитками усов и бороды, тонким,

длинным носом с раздутыми ноздрями... Только почему нижняя часть носа как будто чужая? Подхожу ближе. Да это же реставрированная скульптура! Кто-то, видимо, не так давно сделал святому пластическую операцию, надставив нос.

«Где его изуродовало? И когда?» — хочу спросить я.

Но память вдруг сама подсказывает ответ.

...Такой бомбежки мы еще не слыхали. Надсадный гул моторов шел волнами из-за сырой пелены, покрывшей небо. Проходила волна, и вскоре землю начинали сотрясать тяжелые взрывы. Вдали что-то ухало, вздыхало, исходило черно-красным дымом. Затем наступала зловеще-тревожная тишина. Но вот над головой снова начинали гудеть моторы, и снова все повторялось.

На другой день нас подняли раньше обычного. Немцы и полицаи врывались в бараки, с отчаянными криками расталкивали спящих и выгоняли наружу. «Баланда! Баланда! Быстро!» — орал присланный из комендатуры унтер. В сумерках мы могли различить лишь его темный расплывчатый контур и серебряные лычки на погонах. Но большего не требовалось. Мы уже знали: раз он пришел, этот унтер, значит, сейчас куда-то погонят...

«Мюнстер», — прочитал я на валявшейся на путях станционной вывеске, когда нас высадили из вагонов. Но города мы не увидели. Под бурым, низко нависшим небом громоздились серые и красные развалины. Они напоминали не дома, а декорации какого-то фантастического спектакля, рассказывающего о конце света. Мертвые стены с выбитыми стеклами возвышались над грудами кирпичного лома, щербатых бетонных плит с обнаженной, как сухожилия, арматурой, сгоревшей или еще догоравшей мебели. Самый заядлый художник-модернист не придумал бы для них более причудливых положений: одни стены стояли на удивление прямо; другие почти легли набок, но еще держались последним отчаянным усилием; третьи причудливо изогнулись, будто в каком-то непостижимом танце. На земле лежали, как соломинки, сдунутые ветром, железобетонные телеграфные столбы со спутанными проводами. Огромная черная воронка зияла между двумя высоковольтными мачтами, каждая из которых была высотой с десятиэтажный дом. Они не упали, лишь накренились в разные стороны, словно два гиганта, собравшихся бежать,

по настигнутых смертоносным взрывом. Другая бомба попала в эстакаду, и та переломилась пополам, а ехавшие по ней автомашины ссыпались вниз, как спичечные коробки.

Крупный осколок попал в водонапорную башню, сложенную из красного кирпича, и раненая толстуха, вся в черных следах ожогов, стояла, безжизненно свесив «голову», а из большой рваной раны на землю с шумом хлестала вода.

Нас вели от вокзала к месту назначения узкими проходами через завалы, словно по горным тропам. Кто-то уже успел здесь поработать. Иногда нам попадались какие-то странные, наголо остриженные люди с лопатами в руках. Они были одеты в одинаковые, короткие, похожие на банные халаты, подпоясанные бумажными бинтами. Один из них, видя, что мы смотрим иа него с любопытством, показал нам язык. «Думкопф!» — буркнул шагавший рядом с иами старик конвоир. «Дурачок» — так мы перевели и догадались: сюда пригнали даже психбольных.

Накалившееся за ночь небо возвращало на землю пепел. Черные хлопья плавали в сыром и холодном воздухе, оседая на лица, и они из бледных вскоре превратились в землистые, как у мертвецов. «Актеры соответствуют декорации», — думал я с горькой усмешкой.

На площади, где собралось много грузовых и санитарных машин, всех прибывших на расчистку города распределяли по районам. «Пятый квадрат!» — выкрикнул в рупор полицейский офицер, ткнув кулаком в сторону. Здесь нами распоряжались уже не лагерные конвоиры, а молодые парни в защитной форме, с повязками на рукаве, на которых было написано: «Команда особого назначения». Когда они подвели нас к свежеврытому столбику с большой цифрой 5, то прежде всего приказали нам снять шинели. Затем объявили, что каждый из нас, кто замерзнет, пусть пеняет на себя, на свою лень. Мы должны были работать до темноты без перерыва, затем спать, затем, с рассветом, снова приниматься за работу. Питание, как сказал начальник команды — высокий узкоплечий парень в коричневой фуражке с большим золотым орлом, — будет выдаваться два раза в сутки — перед сном и после подъема. Особо отличившимся при спасении жителей назначались дополнительные блага: за каждого спасенного — лишняя порция баланды и — иа выбор — кусок хле-

ба или пачка махорки. За воровство и мародерство — расстрел на месте.

Мы принялись за работу. В первом же подвале, расчищенном от обломков, мы обнаружили три трупа. По-видимому, это была одна семья: бабушка, мать и внучка. Немец-санитар не нашел на них ни единой царапины или синяка, вероятно, они задохнулись в бомбоубежище.

К вечеру мы расчистили три или четыре разбомбленных дома. Люди, которых вытаскивали из-под развалин, либо уже умерли, либо получили сильную контузию или ожоги и находились в бессознательном состоянии. Их было так много, что санитары порой не успевали таскать носилки с трупами и оказывать помощь увечным. Со всех сторон им кричали: «Сюда! Сюда!» Так же, как и нам, санитарам пришлось снять с себя шинели, а затем и мундиры, и лица у них были потные, грязные и изможденные.

Я трудился вместе со всеми, извлекая из-под развалин трупы людей, но не чувствовал ни жалости, ни сострадания. Вероятно — это я думаю уже много лет спустя, — человек привыкает к любой работе, даже к самой, казалось бы, грязной и ненавистной. Мы понимали, что та же участь, что у этих немцев, могла бы постигнуть и нас, только нас никто бы не искал и не выхаживал. Однако горе есть горе, и злорадства к жертвам мы не испытывали. В тот момент мы видели перед собой людей — убитых, раненых, контуженых, а не врагов, которые еще вчера могли нас унижать, даже лишить жизни. И наверное, это, а не чувство возмездия, было для нас главным.

Иногда, проникая в засыпанную комнату или подвал, мы обнаруживали там признаки налаженного и еще теплившегося быта. Одна из квартир, куда, очистив от завалов дверь, мы первыми вошли с моим напарником, удивила своим неожиданно мирным уютом. На широкой, покрытой ковром тахте сидел плюшевый медвежонок, в простенке, над столиком с корзиной свежих цветов, висели часы с кукушкой. Они еще шли! Стрелки показывали без трех минут шесть. Я подождал немного, и маленькая птичка, выглянув в окошко, прокуковала шесть раз.

На кухне, тоже какой-то обжитой, обставленной простой, удобной мебелью, на полках расположились затейливые плетеные корзины с овощами и фруктами,

разные ларцы с мукой и крупами, разноцветные флаконы с пряностями. Стол был застлан пестрой клеенкой с рисунками из детских сказок. На газовой плите стоял красный чайник и такая же эмалированная кастрюлька с манной кашей.

На какой-то миг мне вспомнилось мое детство, и я протянул было руку к кастрюльке, даже ощутив ее воображаемую теплоту. Но тут же опомнился.

Мы уже подумали, что квартира пуста, как вдруг в темной прихожей под диванчиком увидели торчащие оттуда голые ноги в домашних туфельках. Это была хозяйка квартиры, молодая светловолосая женщина. К груди она прижимала двухлетнюю девочку. Обе давно не дышали, но причина смерти осталась неизвестной. Осмотревший их санитар высказал предположение, что они умерли от страха. Но ни я, ни напарник не поверили в это: сколько раз тогда должны бы умереть мы?

Было еще одно событие, которое запомнилось. Уже начало темнеть, работа подходила к концу, как вдруг неподалеку от нас прогремел выстрел. Все повернулись и увидели стоящего на груде битого кирпича узкоплечего «главного» в большой фуражке с золотым орлом. В руках у него дымилась винтовка.

Вскоре нам показали того, в кого он стрелял. Это был пожилой, с лысым черепом мужчина в больничном халате. По приказу узкоплечего его труп выволокли из развалин и положили на дорогу с дощечкой на шее: «Мародер!» В скрюченной грязной руке он сжимал засохший пирожок, стоивший ему жизни.

Отупевшие от работы и от всего, что пришлось увидеть, мы длинной вереницей поплелись на отдых. Не думали даже о том, где придется ночевать. При подходе к площади нас, русских, отделили от остальных. «Туда!» — крикнул главный, показав в сторону двух гигантских темнеющих башен. Вначале мне показалось, что это портал какого-то старинного замка. Но когда нас ввели в полуразрушенный пристрой и я стал выбирать себе место для ночлега, то обнаружил в углу, под обломками, расшитое крестами бархатное покрывало и почуял сладкий дурманящий запах ладана. Тогда я понял, что здесь, наверно, была церковь.

Но храм разрушенный — все храм.
Но бог поверженный — все бог!

Не этот ли древний немецкий собор вставал в воображении старинного русского поэта, когда он писал эти строки? Но как он мог предвидеть его судьбу? Впрочем, для великих мира сего невозможного не бывает.

...Невидимый органист пробует орган. Скоро начнется служба. Под мягкие, тягучие звуки хорала мы покидаем этот храм, с которым меня только что, и уже навсегда, породнила память.

После моего рассказа пастор некоторое время задумчиво молчит.

— И это видение посещает вас иногда? — наконец спрашивает он.

— Вот именно.

— А вот я, священник, никогда не вижу во сне разрушенных храмов, может быть, потому, что я их *тогда* не видел. Мне снится другое: толпы голодных, оборванных солдат, бредущих вдоль моря, по берегу, усеянному брошенным оружием. — Он поднимает голову. — Кстати, это видение, тоже по-своему страшное, и ваше... имеют под собой нечто общее — мысль о возмездии, а для меня еще и о необходимости искупления греха. Германия дважды в этом веке совершила великий грех, начиная войны. Я еще тогда, в Нормандии, дал себе клятву сделать все возможное, чтобы прошлое не повторилось... — И вдруг спохватился: — Довольно об этом. Серьезные материи не для обеда. Да здравствует Мамона! — Он будит Фрица. — Подъем, Луиза нас заждалась. И вперед за стол — к воскресному гусю!





ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

— Вы его узнаете?

Смотрю на фотографию над столом. Да, это он, «папаша Фоссен», личность для меня тоже по-своему загадочная. И воспоминания бегут как река...

Мы с детства привыкли лишь к картинным фабрикантам. Их безыскусно исполненные муляжи, олицетворяющие враждебный мир, смотрели на нас из агитпроповских витрин или, насаженные на шест, проплывали над праздничными колоннами. Ненавистный образ прочно отложился в памяти: тучная фигура, облаченная в черный смокинг, черный блестящий цилиндр на голове, толстая сигара в толстых пальцах с перстнями и хищно оскаленный рот...

И вдруг мы увидели живого фабриканта. Вот этого. В таком же, как у всех, или, может быть, еще более скромном пиджаке, в уже не новой шляпе со слегка помятыми полями. Молчаливый, сдержанный, он чем-то напомнил мне моего школьного учителя физики...

Летом сорок четвертого года, когда по Германии прокатилась волна новой «тотальной» мобилизации, в Штукенброке перечистили лагерный ревир. Из признанных «годными к труду» доходяг сформировали несколько «рабочих команд», в одну из которых попал и я.

Куда нас повезут? В душе мы молили: только бы

не на шахту и не в «дору» *. В лагерном арбайтсамте, этой рабской бирже, кто-то из приехавших за нами немцев обмолвился: «Ткацкая фабрика Фоссена». От души немного отлегло.

Без малого сорок лет назад! Но и теперь я помню этот путь в подробностях. День был удушающе жаркий, когда нас, тридцать восемь невольников, погрузили на машины. На дорогу дали только черпак морковного кофе — черной жижи, наш «законный» завтрак. «Там накормят!» — многозначительно напутствовал нас, своих бывших подопечных, Сашка Рыжий, он же Барбаросса, — старший полицай, человекоподобный зверь, не лишенный, однако, своеобразного чувства юмора. От его шуток у нашего брата часто леденела кровь. Но в тот день мы все воспринимали в каком-то радужном свете.

Мне подумалось, что фортуна и впрямь поворачивается к нам лицом. Несколько дней тому назад в лагерь сквозь заслоны гестапо и абвера проникла весть о покушении на Гитлера, событии, казавшемся невероятным. Фюрер остался жив, но сама попытка его убить была воспринята как начало чего-то нового, обнадеживающего. Мы повеселели. Повеселели и некоторые немцы. Надзиравший за нашим блоком солдат-санитар по кличке Чибис — в начале войны он был ранен в горло и отчислен из армии, но после Сталинграда, в связи с потерями, его снова призвали, — ходил с веселым, довольным видом и, подмигивая, сипел: «Все должно быть в порядке, понятно?» Мы понимали его как надо. Во Франции высадились наконец американцы и англичане. Факт этот, тоже не подлежащий огласке, стал известен у нас, за проволокой, от самих немцев. Еще раньше «лагерное радио» разнесло весть о переходе советскими войсками германской границы. Первыми сведения могли принести в лагерь только немцы — тот же Чибис или его друзья из комендатуры, и каждый из наших добровольных информаторов рисковал жизнью.

Надежда... С ней в обнимку мы ехали по дороге, обсаженной цветущими липами. Сквозь узкую прорезь в толстом брезенте кузова мы жадно ловили взглядом полоски пейзажа. Впервые мы видели природу Германии в ее разнообразии. Прежде, сквозь витки колючей проволоки, она представлялась мрачно-однообразной: рыжая трава на исполосованной могильными рвами

* Так мы называли подземные военные заводы.

кладбищенской поляне и за ней — темные, нахмуренные сосны.

Унылый, холодный край. «Откуда, — спрашивал я себя, — старые немецкие поэты, стихи которых нас заставляли зубрить в школе, черпали свои прекрасные и возвышенные образы?»

Wie herrlich Leuchtet
Mir dit Natur!
Wie glanzt die Sonne!
Wie lacht die Flur! *

«Что это — утопия или мираж?» — думал я.

И вдруг сегодня перед нами приоткрылся неведомый мир — светлый, красивый, согретый солнцем, умытый дождями... Глаз улавливал в этих пейзажах что-то родное. Вот вдалеке между двумя зелеными холмами в небе повисла высокая радуга. Пахнуло влажным ветерком. Жадно прильнув к щели, я увидел чистенькие деревенские домики, утонувшие в зарослях цветущего шиповника, — они словно купались в пахучей бело-розовой пене. И эта картина напомнила мне мое детство: такой же густой шиповник рос перед домом моих родственников в пензенском селе Чаадаевка, куда школьником я любил ездить из города на каникулы...

В сердце что-то дрогнуло. Мирные картины словно приблизили ко мне мою Родину. И у нас те же посевы, и так же зеленеет трава в поймах, пасутся стада. Почти все то же — деревья, поля, сверкнувшая вдали, точно лезвие, водная гладь.

Правда, глаз улавливал и различие. Почва, судя по отвалам, по цвету земли, была беднее нашей. Но села выглядели богаче. По холмам были рассыпаны добротные, сложенные из отборного кирпича крестьянские постройки под высокими черепичными крышами, по нешироким полоскам полей ползали, как жуки, маленькие трактора или машины с прицепами, обрабатывали поля...

И мысль невольно переходила на людей: «Ну что им не жилось, этим немцам? Зачем понадобилось нападать на другие страны — грабить, жечь, убивать?» Обычно, когда я думал об этом, в моей груди поднималось жгу-

* Как сияет для меня природа! Как блестит солнце! Как улыбается поле (Гёте И. В. «Mailied» — «Майская песня».)

чее мстительное чувство. Хотелось, чтобы проклятая страна сгинула в преисподней, сгорела дотла. Меня не пугал даже гул воздушных армад, летевших бомбить немецкие города. Я готов был погибнуть от американской или английской бомбы, лишь бы погибла Германия...

Но сейчас, при виде этого мирного пейзажа, в душе отлегло. Думалось о доме, о родных и близких. Где они, что с ними? Снова в памяти встала мама, но не плачущая, не грустная, какой я видел ее в последний раз, когда она провожала меня на вокзале, а спокойная, улыбающаяся. И это тоже показалось мне хорошим признаком.

Надежда все больше и больше расправляла крылья. Я уже не думал о немцах, как о диких зверях, вырвавшихся из клетки. Нет, они такие же люди, так же, наверно, страдают от боли, от голода, так же умирают от ран. В душе мелькнула жалость, когда я посмотрел на сопровождавшего нас солдата. Он сидел поникший, опершись лбом о винтовку. Может быть, его одолевают те же мысли, что и меня? Его обветренное, скуластое лицо даже показалось мне похожим на наши лица. «Чем он виноват?» — спрашивал я себя. Мне уже хотелось, чтобы погибли только те, кто сделал нас всех — и немцев и русских — несчастными.

Мы ехали не больше часа. Машины свернули вправо, замелькали городские дома — тесно прижатые друг к другу, в пятнах маскировки, мелькнула площадь со следами бомбежки, потянулся длинный кирпичный забор или стена какого-то фабричного здания... Машина остановилась. «Лос! Лос!» — сразу как заведенный, вскочив, заорал солдат. Мы попрыгали на землю, привычно выстроились вдоль выложенной тесаным камнем дорожки. Какие-то люди в куртках, в комбинезонах, вышедшие из мастерской или цеха — сквозь распахнутые двери виднелись длинные ряды станков, — окружили нас, разглядывая, словно дикарей, привезенных с неведомых островов. «Лос! Лос!» — орал солдат, подгоняя отставших.

Надежда опустила крылышки. На что могут надеяться рабы? В лагере мы терпели от блоковых или полицаев, ну, иногда от солдат из комендатуры, когда они отваживались заходить к нам в бараки. А здесь придется терпеть от всех вместе — и от этого длинноличего обер-ефрейтора со скрюченной рукой в черной пер-

чатке, и от кривоногого, нагло улыбающегося пожарного в синей куртке с топориками в петлицах, и от других немцев — мастеров, техников, надзирателей, — всех, кто сейчас глазел на нас.

Их было непривычно много, я еще никогда не видел вблизи столько немцев, особенно гражданских. Чутьем, как опытная собака, пытался определить: кто же здесь самый главный, тот, от кого теперь зависит наша жизнь. Быстро, подобно счетной машине, я перебрал окружающих. Сухощавый обер-ефрейтор со скрюченной рукой, судя по тому, как он надменно и строго держался с привезшими нас солдатами, был старшим охранником, «обер-постом». За ним по пятам следовал пожилой, в спадающих штанах солдат-резервист, его помощник. Начальственно, хотя и смешно, как какой-нибудь опереточный злодей, вел себя кривоногий пожарник — то и дело поправлял на себе форменную фуражку, одергивал китель и, с грозным видом опираясь на трость, делал шаг-другой к нашему строю, как бы собираясь пощупать своей палкой наши ребра, но тут же отступал назад, словно натолкнувшись на невидимую стенку.

Здесь был кто-то, кому подчинялись все. Я перехватил взгляд пожарника, брошенный на невысокого немолодого мужчину в сером костюме, стоявшего поодаль и что-то тихо говорившего подошедшему к нему с докладом толстому чиновнику из лагерного арбайтсамта.

Этот невысокий мужчина и был здесь главным. Шеф фабрики, герр Бургхард Фоссен — так нам его представили. Окинув наш строй пристальным, спокойным и невеселым взглядом, он с минуту как бы поколебался, потом подошел поближе и сказал несколько слов.

Она ничего не значила, его коротенькая речь, я ее не запомнил, кроме одного слова, поразившего меня своей необычностью. Герр Фоссен сказал, что будет делать все, что в его силах, чтобы к нам относились *справедливо*. Мы не поняли, что он вкладывал в это слово, какой тайный или явный смысл, но речь явно не понравилась длиннолицему обер-ефрейтору, который, отвернувшись, криво ухмыльнулся.

Нам не надо было долго разбираться в людях — война и особенно плен научили нас, пусть в самых грубых чертах, угадывать человеческую сущность с первого взгляда. Тощего ефрейтора мы тут же зачислили в разряд наших будущих врагов. Но маленький фабрикант — как он станет относиться к нам, его рабам, от него,

наверно, тоже много зависело? «Темная лошадка», — думалось мне. Я хранил в своей душе прежний, довоенный, образ классового врага. В то же время он сказал о «справедливости» — понятии, давно нами забытом. Впрочем, это мы тоже понимали, дело не в словах. И Гитлер в своих речах прославлял «труд», но какой, во имя чего? Лишь потому, что ненавистный обер был явно недоволен речью владельца фабрики, мы решили, что господин Фоссен сказал в нашу пользу. Надежда снова пошевелила крылышками.

«Справедливость»! За этим словом нам мерещилась пайка хлеба, раза в полтора больше лагерной, густая баланда с прожилками мяса, летом, вот в такую духоту, как сейчас, баня или душ, чтобы уставшее тело могло вздохнуть, а зимой — натопленный барак... Дальше наша фантазия не простиралась.

Однако действительность даже превзошла мечту. В помещении, куда нас привели, стояли двухэтажные кровати, застланные одеялами, — такой роскоши мы, привыкшие к мокрой соломе на полу или грубым, зловонным нарам, еще не видели. Обер-пост процедил сквозь зубы, что на сегодня нас освобождают от работы. Мы догадались, что это маленький фабрикант сделал для начала нам поблажку. Но и на том благодеяния не кончились. Старичок резервист, помощник обера, отобрав четверых из нас, посильнее на вид, в том числе меня, повел на кухню, где уже толпились, нетерпеливо погромыхивая, парни и девчата в синих робах с нашивками «Ост» на груди. Это были «цивильные» рабочие, или «ост-арбайтеры», которых пригнали на чужбину из оккупированных областей. Они также с любопытством смотрели на нас, на наши еще более, чем у них, изможденные лица, на наши истлевшие гимнастерки с черными лагерными знаками на спине. Мы читали в их взглядах и страх, и жалость, и желание поговорить. Но нам нельзя было перемолвиться хоть словом. «Цивильных» охранял кривоногий пожарник.

Он, как мы потом узнали, имел особые счеты с нашим братом, поскольку в молодости ему довелось побывать в русском плену, из которого его освободила революция. Но по неведомым законам психики, а может быть, просто по законам подлости, отвечающей на добро злом, брандмейстер Антон — он великодушно разрешил называть себя на русский манер, с ударением на последнем слоге, — дышал ненавистью ко всему советско-

му и считал нас всех грязным скотом, понимающим только палочный язык. Поэтому он, сколько мы его ни видели, не расставался с резиновой полицейской дубинкой, то подвешивая ее к широкому кожаному поясу, то угрожающе сжимая в руке.

Вот и сейчас, разгуливая вдоль строя «ост-арбайтеров», он пресекал любую попытку завязать с нами разговор, выкрикивая, как заклинание, какое-то слово — «му́нсу» или «ма́нсу» — и поднимая над головой нарушителя дубинку. Ослушаться его никто не смел. И все же первое знакомство с нашими несчастными соотечественниками состоялось. Когда, наполнив свои бачки баландой, «цивильные» пошли к себе, к баракам, видневшимся вдалеке по другую сторону фабричного двора, одна из девушек, рослая, круглолицая, с широко расставленными глазами, подмигнула мне и моему напарнику, бывшему московскому артисту Виктору Кручинину, и, выждав, пока грозный брандмейстер отошел, шепнула, приблизив к нам лицо: «Я Валентина... из Мариуполя. А вы?» Мы едва успели назвать себя. Раздалось визгливое «мунсу», девушка отпрянула. Но и то, что мы знали теперь хотя бы одно ее имя, душевно породнило нас с ней.

Первая женщина, встреченная на чужбине! Это было для меня еще неожиданнее и, пожалуй, приятнее, чем вкус настоящей гречневой каши, которую мы получили на обед. После обеда я лег на кровать и закурил папиросу, тоненькую, как гвоздик, но настоящую, из пачки, доставшейся опять же от щедрот хозяина... Из табачного дымка на меня смотрели зеленоватые, широко расставленные девичьи глаза и словно спрашивали: «Я тебе понравилась, правда? И ты мне тоже. Александр — такое красивое имя. Можно, я буду звать тебя просто Сашей?» — «Ну, конечно! — радостно отвечало мое сердце. — А я тебя — Валя...» Вдруг опомнился и ущипнул себя. Сухая, шершавая кожа натянулась на мослах. «Я жив, жив, — внушал я себе, — и то, что происходит со мной, — не бред, а нормальное состояние человека. Я забыл о нем, но теперь, едва жизнь хоть немного улыбнулась, оно снова вернулось ко мне».

За решетчатым окном барака темнело. Боже, как быстро пронесся, пролетел этот день. В моей душе звучали невидимые струны. Закрыв глаза, я пытался угадать, что за музыка — блюз, танго, вальс?.. Она была очень знакомой — под нее я танцевал когда-то на

школьных вечерах. С той, моей первой, девушкой, которую я любил...

Что-то бормочу, какие-то слова. Сидящий рядом на своей койке Виктор Кручинин наклоняется надо мной. «Чьи это стихи? Уж не твои ли?» Он знает, что когда-то, до войны, я сочинял и теперь, в неволе, иногда сочиняю. Но сейчас у меня в руках нет ни бумаги, ни карандаша! «Ты же видишь?» — говорю я. Но это его не смущает. Он — артист, музыкант, иногда сам сочиняет несложные песенки и уже уцепился за строку.

В синем небе звездное мерцанье...

Тут же придумываю вторую...

Тихо входят сумерки в окно...

Виктор повторяет их вслух и требует: «Давай дальше... дальше. Может получиться неплохой блюз».

Но в лагере я никогда не сочинял блюзов, а сочинял только гневные, протестующие стихи. «Чудак, — резонно замечает товарищ, — любая песня хороша, если трогает душу».

«А ведь он прав», — проносится в мозгу.

Вскоре рождаются еще две строки:

И несут с собой воспоминанья
Жизни той, что была давно.

Чуть коряво получилось, на мой взгляд, но Виктор одобрительно кивает. «Так-так, теперь нужен припев». Он уже весь во власти музыки и барабанит по каменному полу ногой, обутой в колодку, отсчитывая такты. Я тоже вовлекаюсь в игру, пытаясь удержать в памяти неясный, стертый временем образ любимой, леплю его заново, из черт, которые особенно запомнились, и добавляю к ним новые — от милой Вали из Мариуполя. Получается какой-то гибрид, наделенный некими идеальными свойствами. «Она» и красива, и умна, и помнит обо мне...

Жди, не забывай,
Выходи встречай,
Рано или поздно я
В край родной вернусь,
И забудем грусть,
Любовь моя.

Композитор доволен. «Хорошо, что ты сменил ритм». Это он сменил, я слышал, как выстукивала его нога, но

не возражаю. Пусть мы будем равноправными авторами этой песенки. «Блюз»! Еще вчера я облил бы презрением сочинителя подобной «дешевки». Но это было вчера. А сегодня в моей душе что-то произошло, и она как бы снова приоткрылась для светлых и добрых чувств.

Наш «блюз» готов, Виктор, сосредоточенный и вдохновенный, поет его. Ребята подошли, слушают. У меня слегка холодеет под ложечкой — это страх, страх перед товарищами: вдруг им не понравятся слова и они высмеют их? Но лица у всех серьезные, задумчивые. Когда Виктор умолкает, слушатели еще с минуту молчат. Затем первым, как всегда, высказывается Федя Чуб — человек могучего телосложения, бывший кубанский комбайнер, которого все уважают за силу и немного побаиваются. Федя любит резать правду-матку в глаза и в выражениях обычно не стесняется.

— Клёво... — произносит он, тряхнув головой, и повторяет: — Клёвая песня.

Когда-то, до войны, Федя, по его словам, был у себя в станице первым гармонистом, завсегдатаем свадеб и клубных вечеров. К столичному «лабуху» он относится со смешанным чувством — с одной стороны, признает в нем настоящего музыканта, с другой — осуждает за всякие новомодные штучки-дрючки, которыми тот любит щегольнуть. «Хреновина все эти румбы, чарльстоны, — говорит он. — Была бы у меня сейчас моя тальянка, показал бы, какую наши казаки музыку уважают».

И уж если сейчас Федя похвалил песню, значит, она и вправду тронула его суровую душу.

Следом за Федей высказываются остальные. Да, песня понравилась всем, и Виктор охотно, уже немного красуясь, исполняет ее еще раз. Голосок у него, как говорится, с куриный носок, но владеет он им умело...

Когда уже совсем стемнело, обер-пост, приоткрыв квадратное окошечко в окованной железом двери, за которой находится жилая комната охраны, выбросил нам несколько буханок хлеба и пачку пиленого сахара. «Завтра в пять подъем и завтрак, в шесть — начало работы, — сказал он через переводчика. — Обед — в двенадцать, в перерыв, на фабричном дворе. Ужин — снова здесь, после возвращения с работы». Обер был немногословен, но мы все поняли: работать нам положено по двенадцать часов в сутки, кормить нас будут

три раза в день — из них один раз, как сейчас, выдавать пищу сухим пайком.

Затаив дыхание мы наблюдали за действиями хлебореза. Им был у нас все тот же Федя, которому «посты» выдали обломок ножа. С силой вонзая его в центр буханки, он неторопливо разреза́л ее от края до края, затем, прикинув на глазок, делил половинки еще на две равные части...

Я чуть ли не с испугом глядел на него. Что он делает? Почему не делит четвертинки на па́йки? Но Федя, видимо уже все подсчитал. Приказав своему помощнику, державшему в руках деревянные весы, отвернуться, он взвешивал четвертинки, солидно вопрошая: «Эта — кому?» Помощник называл одного из нас, и тот получал свою долю.

Четверть буханки на человека! Снова действительность превзошла мечту. В лагере мы получали хлеба едва ли не вдвое-втрое меньше. Да и хлеб был хуже — с травой, с опилками. И вдобавок — кусочек сахара...

Неужели и в этом мы были обязаны нашему хозяину?

Мы долго шептались перед сном, решая, съесть ли сразу всю пайку или же часть оставить до утра. Удержались от соблазна немногие. Решили не экономить — в тайном предвкушении новых грядущих благ.

«Утро вечера мудренее» — так любила говорить моя мама, и так я сказал себе, засыпая...

Память прихотлива — она сохраняет в зависимости от склада ума либо светлое, либо черное. Мне почему-то всегда больше помнились моменты, тронувшие душу проявлениями любви и благородства. Я не согласен с людьми, утверждающими, что в наш жестокий, мятущийся век эти высокие качества утрачены. Нет, тысячи раз в трудную минуту, уже готовый принять мрачный скепсис за истину, я вдруг встречался с самой простой, бесхитростной помощью, которая приходила иногда от человека, почти незнакомого, и гора, придавившая сердце, начинала рушиться, наступало облегчение.

Я всегда тяжко переносил подлость и измену. Мне не раз в таких случаях хотелось уподобиться графу Монте-Кристо, каравшему своих обидчиков судом праведным и беспощадным. Но все же, когда такая возможность мне выпадала, я ею не пользовался. Не каждый способен отвечать ударом на удар, к этому выводу я пришел, наблюдая за разными типами людей. Иногда

для самого человека полезнее отойти в сторону, но оставить душу незапятнанной, чем дать волю злобному, мстительному чувству. Здесь, конечно, не имеются в виду те исключительные моменты, когда на кону стоят жизнь и смерть. Но я глубоко уверен, что тот, кто наносит удар первым, — преступник...

Философия несложная, ее, вероятно, придерживались миролюбы всех поколений. Смягчила ли она время и нравы, воздействовала ли решительно на власть имущих? Здесь тоже не ответишь односложно. Слова тех, кто стоял у руля и пытался завоевать доверие народа, почти всегда выглядели правильными. Но суть... суть оставалась неизменной — антигуманной, античеловеческой. И все же можно вспомнить немало случаев, когда добрая воля брала верх и останавливала роковой удар.

Об этом мы говорим все четверо — русские и немцы, — сидящие в кабинете. Его хозяин — Норберт Фоссен, сын того маленького фабриканта, который сейчас смотрит на нас с фотографии, висящей над столом в глубине кабинета. Да, я узнаю его — и того, что изображен на снимке — уже старого, с седыми поредевшими волосами, и, разумеется, того, облик которого запечатлен на другом, любительском, снимке военных лет.

Человек один и тот же, но выражение лица разное — на прежней фотографии «папаша Фоссен» моложе и ближе моей памяти, но дальше от меня, сегодняшнего, по настроению, по духу, что ли... Или здесь сказались общие возрастные изменения, происшедшие с нами на жизненном пути, который, как некая геометрическая фигура, начинался в двух противоположных плоскостях и постепенно сближался, имея в проекции одну точку. Старый Фоссен — этот снимок сделан два года назад, за несколько месяцев до его смерти, — уже мог позволить себе размягчиться, предаться целиком радости домашнего очага, созерцанию природы, мыслям о пережитом. Дела он передал сыну, вот этому, который сидит сейчас рядом с нами, — тоже невысокому, хрупкому, с темной бородкой, похожему в своей синей бархатной куртке скорее на художника или поэта, чем на фабриканта.

Фоссен-младший говорит о том, что ему приятно слышать добрые слова об отце, особенно из уст человека, который по воле злой судьбы испытал когда-то

здесь горькую участь подиевольного рабочего. «О, это ужасно — коицлагерь, гестапо, расовые осмотры — особенно, наверио, для русскнх, советских людей, попавших в гитлеровскнй плен?» Ои говорнт «наверно», поскольку был тогда, в войну, слншком мал н даже не помннт, работали ли здесь военнопленные... О том, что работали гражданские «ост-арбайтеры», он мог лишь догадываться. Когда ему было три или четыре года, его водила гулять красивая светловолосая девушка-«блоид» с голубыми глазами, похожая иа иемку, но плохо говорившая по-иемецки. Как ее звалн? Кажется, Марня. Но за точиость поручиться ие может. Ои повторяет, что был тогда мал, слишком мал...

Нажав клавишу селектора, Фоссен-младший просит кого-то из служащих срочио отыскать «ветераиов фабрики», работавших здесь в войиу. Не проходит и пяти минут, как на пороге появляются трое пожилых мужчии — двое в рабочнх халатах н один в выходном костюме, — и Фоссеи-сын представляет их иам: этот и этот — работалн до сорок четвертого года, еще до «тотальиой мобилизацин», затем их взялн в армию, а потому они вряд лн иас помнят, а вот этот — герр Норберт, кивает иа высокого мужчииу в костюме, держащегося с осторожностью, прикрытой легкой, чуть деланной улыбкой, — этот, мастер Верман, проработал здесь почти до коица войиы и, наверио, должеи был зиать о иашем существовании.

— Вы, Вермаи, его ие помиите? — Фабрикаит обращается к старому мастеру дружески, но не без легкого виутреииего беспокойства. Что ж, я поиимаю: наше прошлое подобно складу с боеприпасамн, копаться в котором небезопасно. И как знать этим иемцам, что у меня за душой?

Вермаи медлит с ответом. По его лицу, подобно далекому облаку, пробегает легкая теиь, а прикрытый усмешкой взгляд буравит меия, словио счищая времеиные слои. Догадываюсь, что не моя персона, некогда жалкая и незаметная, волиует его, а счет былых обид, который я мог бы ему предъявить.

— Думаю, господнн Фоссеи, — произносит он и дружелюбно подмигивает мне, — что за сорок лет, которые прошли с той поры, иаш дорогой гость иемиого изменился?

Фоссеи с философским видом слегка покачивает головой.

— Если разрешите, я хотел бы задать несколько наводящих вопросов. — Старик делает шаг ко мне. — У вас были черные волосы?

— Да. Скорее темно-русые.

— А усики вы не носили?

— Не носил.

Мастер Верман снова подмигивает.

— Не дружили ли вы с какой-нибудь девушкой, которая работала у меня на участке, они возили вагонетки со шпулями. Такие ловкие, проворные. Как уж их звали? — Старик отчаянно морщит свой и без того морщинистый лоб. — Вера, Роза... Людмила...

— Нет, я не знал тогда никаких девушек, — отвечаю ему, тоже улыбаясь.

Старик недоверчиво смотрит на меня.

— Тогда, вероятно, мы не встречались. — Он извиняюще поясняет молодому хозяину: — Я ведь отвечал, как вы знаете, за основное производство. А там к началу войны почти не осталось мужчин, всех заменили женщины. Эти же... хефтлинги... использовались на работах во вспомогательных цехах...

Верман, довольный, что наша встреча прошла без осложнений, смеется, показывая вставные зубы.

— Вот если бы к нам приехала особа женского пола, я сразу бы ее узнал, да и она меня тоже. Мы жили очень дружно. Они все называли меня: наш дядюшка Верман...

Старый мастер приосанивается, поднимает вверх палец, украшенный перстнем.

— Я никогда не давал их в обиду.

Бедный Верман, он все же, наверно, не узнал меня или просто не захотел узнать? Но я-то его вспомнил, хотя бы по той же руке с перстнем. Я сразу понял, едва он вошел, что он держит в памяти любой свой поступок, казавшийся т о г д а закономерным или безобидным, а потом обернувшийся своей другой, вечной, стороной, соотнесенной с совестью — понятием, в те годы забытым. И имена девчат он перечислял недаром, он осторожно, как минер, прощупывал мою память. Но я твердо решил быть с ним великодушным. Пусть старик думает, что на его совести нет никакой вины, по крайней мере передо мной.

...Тот первый день — самый радостный день — на новом месте был, в сущности, днем мыльных пузырей, которые вскоре лопнули. «Папаша Фоссен» больше пе-

ред нами ие появлялся, перепоручив заботы о нашем существовании начальнику хоздвора и мастеру участка, где мы работали, — людям, и без того вечно озабоченным, напоминавшим своим видом загианных лошадей. Они не обращали или старались не обращать на нас внимания и лишь иногда, когда мы попадали к ним, что называется, под горячую руку, орали на нас или давали легкого пинка под зад.

Равнодушие? А может быть, это была маска? Я знаю случаи, когда те же мастера могли бы поступить с нами весьма круто, передав нас в лапы гестапо. Несколько раз в цехе неожиданно нарушалась работа токариых или фрезерных линий — то выходил из строя какой-нибудь уникальный станок, где заклинивалась ходовая часть, то перегорал мотор. Приходили «аварийщики» и с мрачным видом обнаруживали причину — отвинченную гайку, перерезанную трансмиссию или вложенный в систему шестерней болт... Но немцы-рабочие предпочитали не догадываться о том, что это дело рук «русских». Да и только ли мы желали аварий? Войну и Гитлера неиавидели уже все — и французы, и бельгийцы, и голландцы, и поляки, и, вероятно, даже немцы — все, кроме подонков, питавшихся от кровавого режима и страшившихся возмездия.

Уже на второй день мы поняли истинную цену всем этим свалившимся на иас благодеяниям в виде удвоенной пайки хлеба, гречневой кашицы и кроватей с матрацами. Нас пригнали сюда, как рабочих лошадей на пашню. А лошадей надо кормить и содержать в тепле, чтобы они могли тащить свое ярмо...

Оказывается, ларчик просто открывался. Нас использовали как последнюю запчасть в хозяйственной машине. Но мы были советскими людьми, четко различавшими два цвета — красный и белый. Все, что работало на войну, на Гитлера, было для нас «белым». И маленький фабрикант, который поиачалу нас удивил своим неплакатным видом, тоже принадлежал к этому враждебному лагерю. А раз так, мы должны вредить. Не ему, ио его фабрике, одевающей воюющую армию и поставляющей заготовки для снарядов. Вредить, даже не сговариваясь, по зову совести. Вредить, едва появится хотя бы малейшая возможность. Вредить умно, но бесстрашно, помня о том, что там, на востоке, наши братья ежесекундно рискуют жизнью во имя победы — во имя нашего спасения.

Мы дали себе клятву. Наше счастье, что враг не мог читать в душах, иначе нас всех тут же отправили бы на виселицу. Но кое-кто из немцев, конечно, и без того догадывался, что мы что-то задумали. Наш желчный обер-пост все время искал, чем бы нам досадить. Чиновник из арбайтсамта запретил ему калечить «рабочую силу», тогда хитроумный обер изобрел систему штрафов. Он штрафовал нас за все, за любую оплошность — прожженный матрац, плохо вымытую миску... Им была даже разработана своеобразная штрафная система, согласно которой провинившийся лишался либо маргарина, либо сахара, либо табака. «Рука берущего не отсохнет» — это он твердо усвоил. Мы видели, что этот горе-вояка наглеет с каждым днем, все увеличивая и увеличивая поборы. Его напарник-старичок как-то сообщил нам по секрету, что неподалеку, в окрестностях Гютерсло, живет семья обера, которую тот снабжает продуктами за наш счет. Это вызвало у нас бурю возмущения. Мы долго исступленно колотили в окованную железом дверь, вызывая обера, наконец тот появился с пистолетом в руке. «В чем дело?» — спросил он, кусая побелевшие губы. Я и Виктор Кручинин — самые «грамотные» — вышли вперед и объяснили причину нашего гнева. «Хорошо, — сказал обер, — я найду другие средства наказания». Мы торжествовали, но опять же преждевременно. Нас продолжали штрафовать, но теперь мы расплачивались уже по новой системе — лишались сна или прогулок, перетрясая без нужды матрацы, выскребая на полу и столах каждое пятнышко.

По закону подлости обер нашел себе дружка в кривоногом пожарнике Антоне. Тот тоже ненавидел нас, но, так сказать, бескорыстно. Заходя в гости к нашим сторожам, он любил рассказывать всякие страшные истории, якобы происшедшие с ним в России. Особенно он ненавидел большевиков и комиссаров. Причину этой ненависти нам приоткрыл тот же помощник обера: при выезде бравого брандмейстера из нашей страны пограничники отобрали у него кожаный пояс, набитый награбленными бриллиантами. «Я мог бы сейчас иметь свою фабрику, почище, чем Фоссен, если бы не эти...» — кричал он в подпитии, потрясая кулаком. Понятно, что в нас он видел то же, ненавистное ему, «большевистское отродье»...

Пожарнику Антону наряду с его прямыми обязанностями вменили наблюдение за «ост-арбайтерами». Эту

работу он выполнял особенно ревностно. Выуживать и выслеживать, наушничать, доносить было прямо-таки стихией этого негодяя. Водился за ним еще и такой грешок, как сластолюбие. Все, вместе взятое, составляло предельно омерзительный букет. Назначив этого типа надзирать за подневольными женщинами, ему, можно сказать, сделали подарок. Бедные девчата, надо было видеть, как они, понурив головы и поминутно озираясь, шли со смены в свои бараки, сопровождаемые пожарником, поигрывающим дубинкой. «Лос, лос!..» — ворчливо-добродушно покрикивал он на них, как пастух на гусей, но вдруг, заметив, что кто-либо из девушек в сумерках сбился с дороги или от усталости на минуту прислонился к стене, тут же преображался и, бесшумно подкравшись к «нарушительнице порядка», больно ударял ее дубинкой. Бил он по самым чувствительным местам — по животу, по груди, между лопаток. Несчастная девушка корчилась от боли, а ее мучитель, глядя на нее, удовлетворенно хихикал.

Это у него называлось «охота на мух». Однако он занимался ею, как правило, в сумерках или за пределами фабричного двора, опасаясь попасться на глаза хозяину. Перед ним брандмейстер юлил, демонстрируя любовь к порядку и «отеческую заботу» о подопечных. При нем он подходил то к одной, то к другой девушке, чтобы поправить сползшую с плеча постромку комбинезона или подарить грошовую заколку для волос. Иная девушка, еще вчера отведавшая дубинки, терялась от неожиданности, получая подарок, а пожарник, умильно кивая, делал знак фабриканту, как бы говоря: «Посмотрите на них! Они все для меня как дети!»

И вот сейчас, тридцать девять лет спустя, я вспоминаю об этих «стра́жах порядка» — вспоминаю осторожно, чтобы меня, не дай бог, не заподозрили в желании свести с ними старые счеты. Нет, я прекрасно понимаю, что и тот же обер-пост, и тот же Антон не подходят под статью Нюрнбергского трибунала — они не военные преступники, не видные нацисты, возможно, даже вообще «беспартийные», чем они наверняка козыряли в первые послевоенные годы, когда здесь работали комиссии по денацификации. Они были — я подчеркиваю — б ы л и — просто рядовыми извергами, каких тогда тысячами, сотнями тысяч породил бесчеловечный гитлеровский строй.

Никто из присутствующих их не помнит — Норберт

Фоссен потому, что был слишком мал, а три старых мастера, вероятно, потому, что, как выражается Верман, подобная человеческая «пыль» не задерживается в памяти. «Пожарник, ничтожное лицо», — говорит мастер об Антоне. Он даже не слыхал такого имени. Другие подхватывают: вот если бы этот Антон был хорошим специалистом ткацкого дела — наладчиком машин, химиком, художником по тканям, — его имя было бы записано в почетную книгу предприятия, заведенную еще прежним хозяином. «Да, да, — кивает Норберт Фоссен, — мы так же, как и в вашей стране, ценим наши лучшие кадры и стремимся на их примерах воспитывать молодежь».

На его тонком интеллигентном лице появляется легкая нетерпеливая гримаса. Уж не слишком ли мы задержались на этих двух никому не известных типах, к которым фирма Фоссен не имеет никакого отношения? Может быть, лучше пройтись по территории фабрики и посмотреть, как выглядит сегодня производство, для сравнения его с тем, что было когда-то? «Тридцать девять лет, — замечает он, — это в наш быстротекущий век целая эпоха».

Мы выходим из кабинета и идем по длинному коридору, освещенному лампами дневного света. «Здесь все новое, — поясняет хозяин, приоткрывая двери, за которыми в благоговейной, почти церковной тишине трудятся те, кого господин Норберт называет «мозгом предприятия». В этих комнатах выдумывают, пробуют, ищут. Сосредоточенные мужчины и женщины в белых халатах — технологи, дизайнеры, конструкторы одежды — колдуют над какими-то стеклянными посудинами, смешивая красители; согнувшись над столами, покрывают листы бумаги или куски ткани яркими узорами; вооружившись мелом и ножницами, одевают изящных пластмассовых красоток в купальные халаты и спальные пижамы...

Не доходя до ткацкого цеха, Норберт Фоссен останавливается и протягивает нам руку. Он говорит, что через полчаса должен быть на приеме у бургомистра. «Я перепоручаю вас моим верным мастерам», — говорит он. И снова благодарит за добрую память о его отце. «Как хорошо, что я могу не краснеть за него!» — чуть слышно произносит молодой Фоссен. Этими словами он как бы прощается со мной...

Проходим по цехам, где все и похоже и не похоже на

прежнее производство. Сверкающие ряды машин, таинственное шуршанне интей. Бегут, переливаются ткани. Но людей почти не видно. Процессами управляют приборы — роботы, ЭВМ. Зрелище, конечио, впечатляющее. Но только для ума, ие для души. Я ие технократ, н вся эта «машинерия» воспринимается мной как нечто быстропроходящее. Ведь и тогда, тридцать девять лет назад, мы открывали рты от любопытства, попадая в эти, только, конечио, беднее оснащенные н менее красивые цехи. По тому времени они тоже считались чуть ли не последним словом технники.

Обращаю внимание на другое — на безлюдье в цехах. Где инженер, сидевшей когда-то наверху в застекленной кабине, где мастера? В огромном, как самолетный ангар, ткацком цехе я с трудом насчитал десять человек — девять женщин-работниц и одного слесаря-наладчика, молодого мужчину с копной черных кудрей. Когда-то здесь было иаоборот: машин меньше, людей больше. Я любнл заглядывать в этот цех. В его тамбуре было тепло, убаюкивающе шуршали н похлопывали станки, то и дело открывалась дверь, пропуская тележки, иагружеиные шпулями с пряжей. На этих тележках работали только наши девчата, «ост-арбайтеры», с которымн удавалось нет-нет да н перекинуться словом, если рядом не было Антона.

Я смотрю иа мастера Вермана, этого еще молодцеватого старика, показывающего мне н монм спутникам автоматическую подачу шпулей на ткацкую лниню. Он бодрится, рекламируя иовшества, ио во взгляде его сквозит печальная ироння человека, которого современный технический прогресс еще при жизнн превратил в реликвию. Сегодня он пока иужен как гид. А завтра? Что останется от него, некогда незаменимого специалнста, любнмца хозяина, кроме фотографии в памятной кннге?

Верман рассказывает об истории этого цеха. У него хорошая память. Но, кажется, только иа то, что работает в его пользу или в пользу его хозяев. Вот здесь, возле двери, которая раиьше вела на склад готовой продукцин, осенью сорок четвертого года эсэсовский офицер в черной форме едва ие расстрелял бывшего хозяииа, достопочтениого Беригарда Фоссена, обвиниив его в саботаже. Гнтлеровцы требовалн от фабрнкаита расширения военного цеха, но Фоссен всяческн тяиул с этнм делом, поскольку, по словам мастера, иеиавндел

войну и бесноватого фюрера. «Но мы узнали о готовящейся расправе над хозяином, сбежались в цех, и эсэсовец струсил, — с гордостью говорит мастер. — Ему пришлось ретироваться, а хозяин отделался денежным штрафом».

Рассказывая, мастер поглядывает на меня, как бы призывает в свидетели. Да, я тоже припоминаю что-то в этом роде. Правда, насчет того, что эсэсовец испугался кучки инвалидов и женщин, прибежавших спасать хозяина, я сильно сомневаюсь. Их всех тогда объявили бы бунтовщиками и уничтожили. И тянул с расширением военного производства господин Фоссен не только потому, что ненавидел Гитлера, — нет, эта ненависть, даже если она и была где-то, в глубине души, не мешала ни Фоссену, ни другим немецким предпринимателям прекрасно обделывать дела, наживаясь на заказах от военных ведомств. И не она, не эта ничем тогда не обнаружившая себя ненависть, толкала фабриканта на «саботаж». Нет, то был трезвый расчет капиталиста: зачем вкладывать деньги в заведомо проигрышное дело? Ведь тогда каждый здравомыслящий немец понимал, что война идет к концу, Германии грозит иностранная оккупация, военное производство, во всяком случае, в ближайшие годы будет в застое, оборудование пойдет с молотка... И Фоссена тревожила прежде всего мысль об убытках, а не забота о мире.

«Посмотрите сюда! — продолжает объяснять Верман. — Здесь, где сейчас сверкает стеклом эта галерея и стоят кадки с экзотическими растениями, был когда-то так называемый «черный склад», там хранился всякий шурум-бурум — запасной инвентарь, грузовые тележки, тачки, ржавое железо... Здесь бегали вот такие крысы! — Мастер Верман округляет глаза. — Мы даже боялись сюда заходить!»

Старик понимающе переглядывается со мной. Теперь он уже окончательно успокоился и даже видит во мне сотоварища, чуть ли не друга.

Что ж, ведь мы с ним оба старые «фоссеновцы», последние из могикан. Ведь недаром мне, как и ему, был вручен недавно значок почетного члена профсоюза вестфальских ткачей, и Верман знает об этом.

Об одном он не знает и, может быть, не узнает никогда, до конца своих дней, — о том, что этот шрам у меня на губе и два вставных зуба — след от встречи с ним. И произошла она тогда вот здесь, на этом месте.

...Зеленоглазая Валя из Мариуполя, бывшая невольной виновницей моего сочинительства, вскоре дала понять, что ей понравился вовсе не я, а Виктор Кручинин. Я с горечью отошел в сторону. Куда уж было мне, неуклюжему пензяку, тягаться с московским артистом. Даже в грязной робе и грубых деревяшках он сохранял, как мне казалось, некую импозантность. На его длинном лице, украшенном носом с горбинкой, всегда играла загадочная улыбка, а в углу рта была зажата сделанная из верескового корня трубка.

Сейчас, много лет спустя, я часто думаю: с чем можно было нас сравнить — советских людей, попавших в самую страшную неволю из всех известных миру неволь? Недавно в горах я увидел цветок, выросший на голом камне, и захотел посмотреть корень. С трудом мне удалось отвалить две или три каменные глыбы, под которыми тянулся тоненький, бледный стебелек. Следовать за ним дальше, в глубь горы, у меня не хватило сил. Потом знакомый ботаник мне сказал, что есть растения, которые пробиваются к солнцу чуть ли не через километровую каменную толщу, находя для себя невидимую глазом трещину или микроскопическую пору...

Кто породил в нас ту же удивительную силу жизни — только ли одна природа? Нет, человек не растение, его должна согревать и поддерживать изнутри еще и мысль, идея, все, что дали нам Родина, школа, книги, которые мы когда-то читали. Всего не перечислишь, да и не угадаешь. Долго еще будут «советологи» всех времен разгрызать этот русский феномен — величайшую из загадок века.

...Она тоже была загадкой — маленькая Люська, девушка лет восемнадцати, похожая на ребенка, с кукольным личиком. Ее познакомила со мной Валя. Помню, когда вечером, в сумерках, она подвела ее к проволоке, которой был огорожен вымощенный каменными плитами дворик нашей казармы, и сказала: «Познакомься, это Людмила», я, мрачно усмехнувшись, представился Русланом. «Как интересно!» — закатила голубые глаза и захлопала в ладоши Людмила. Я подумал, что она, вероятно, еще не читала пушкинской поэмы. Но девушка вдруг шепотом сказала: «А здесь у нас есть Черномор! Не знаете?.. Его зовут Антон!»

Мы с ней сразу подружились. Подвижная, вечно захваченная какой-нибудь идеей, она удивляла меня сво-

ей веселой энергией. Работала она на тяжелом участке — перевозила вагонетки со шпулями из прядильного в ткацкий цех. Я знал, что́ это такое. Как-то заболела одна из грузчиц, и мастер послал меня на замену. Досталось же мне без привычки! Проклятые шпули выскальзывали из рук, я не успевал нагибаться за ними. Несколько катушек упали мне на ноги, к концу смены я едва ходил... Маленькая Люська работала проворно и сноровисто, но тоже уставала и, придя в барак, валилась без сил. Часто ее мучили рези в животе — в этом она признавалась сама, без стеснения. «Я уже никогда не смогу родить ребеночка, — печально сказала она однажды. — Ведь нам, женщинам, нельзя таскать такие тяжести». «Женщина!» Кажется, я тогда впервые разглядел ее по-настоящему. В красноватом закатном свете, среди двора, сдавленного мрачными фабричными корпусами, стояла маленькая Ева, одетая в грязный комбинезон с меткой «Ост». Глаза ее были прозрачными, как лесной ручей, и я вдруг испугался этой бездонной голубизны.

«Ты что на меня так смотришь?» — поймав мой взгляд, прошептала она. Показав на стоящие рядом парочки, она глазами велела отойти мне подальше. «Хочешь со мною встретиться... не через проволоку?» — «Хочу. Но как?» — выпалил я. Люся приложила палец к губам. «Придумай что-нибудь», — сказала она, опустив ресницы. Помучив меня еще немного и видя, что время нашей прогулки кончается, Люся шепнула на прощание: «В час ночи приходи в «кишку», понял?»

...«Кишкой» мы называли длинный тамбур, пристроенный к ткацкому цеху, где хранился запасной инвентарь. Перед началом смены девчата, работавшие на транспортировке, приходили сюда за тележками. Вдоль стены выстроились железные шкафы с пустыми шпулями. В уголке, за занавеской, стоял, как святыня, обшитый клеенкой топчан, на котором иногда, в перерыв, отдыхал мастер.

Маленькая Люська недаром назначила мне свидание в «кишке» — это было единственное помещение, куда можно было пройти незамеченным, прямо с хоздвора. Здесь имелась маленькая дверь, через которую по сигналу воздушной тревоги все бежали из цеха в бункер. Поскольку сирена звучала в последнее время все чаще и чаще, дверь перестали запирать.

Виктор, когда я поведал ему под секретом о пред-

стоящей встрече с моей дамой, сказал, что уже несколько раз встречался здесь с Валентиной. «А как же немцы?» — спросил я. «Волков бояться — в лес не ходить», — ответил мой опытный товарищ. Но я думал не о себе, а о Люське. Что будет, если она попадется в лапы пожарнику?

Сердце мое замирало от страха, но еще больше от предчувствия еще неведомых ощущений. Мы работали на «черном складе» — укладывали в штабеля ржавые отливки, предназначенные для вспомогательного цеха. И каждый звон металла я был готов принять за бой часов на ратуше. Виктор, работавший в паре со мной, только посмеивался. Наконец послышался долгожданный удар. Пора! Мы вышли в темноту, прорезанную беспокойными лучами прожекторов, и Виктор подвел меня к калитке.

Я отворил тяжелую дверцу и переступил за порог. В полутемном тамбуре никого не было. Тускло светил матовый плафон, на противоположной двери, ведущей в цех, горела красная лампочка, показывающая, что за дверью идет работа и посторонним вход воспрещен.

Где же Люська? Я беспокойно озирался. Мерный шум машин, доносившийся из цеха, скрадывал все другие звуки. «Что за черт, она не разыграла ли меня?» Но только подумал, как кто-то рядом хлопнул в ладоши, и из-за пустой тележки выглянула веселая физиономия.

Люська смеялась надо мной. «Глупый, как ты меня сразу не увидел?» Она закатила тележку в проход между шкафом и выгородкой. «Садись сюда, здесь не увидят!» Мы удобно устроились в закутке и, уже не таясь, обнялись. «Ты молодец! Не боишься, что тебя хватятся?» — «Я хитрая, сказала, что моя тележка поломалась, ее надо заменить». — «Сколько у нас времени?» — «Сколько есть — все наше. Не думай об этом». — «А я и не думаю... Уже не думаю». — «Вот и хорошо. Поцелуй меня покрепче...»

Это была минута счастья. Всего минута...

Вдруг вспыхнул верхний свет, и какой-то мужчина, выросший на пороге, гаркнул по-немецки: «Кто здесь?» Мы на мгновение ослепли. «Беги!» — крикнул я и рванулся, чтобы заслонить собой девушку. Но не рассчитал и ударился лицом о шкаф. Его тряхнуло, шпули посыпались с грохотом.

Немец громко выругался и поднес к моему залито-

му кровью лицу кулак. Кажется, он не ударил меня или не успел. Я увидел, как Люська, опомнившись, бросилась на немца и, барабаня в его грудь кулачками, вытолкала за дверь...

Прошлое! Все давно поросло быльем. И если бы не небольшой, уже почти незаметный шрам на губе, я мог бы даже усомниться в подлинности этой истории.

Обход фабрики закончен. Мы выходим из склада готовой продукции и идем к проходной по старому фабричному двору. По тому самому двору, который сейчас кажется маленьким и тесным, а когда-то казался бесконечно большим. Эти камни еще помнят нестройный грохот наших колодок, когда мы, едва живые от усталости, возвращались со смены. Помнят и другое — осколки английских и американских бомб, сыпавшиеся с неба, и дрожащие, распластанные тела людей, бросавшихся на землю, едва раздавался смертоносный свист...

Время либо смещает понятия, либо ставит их на свои законные места. Сейчас мы, старики, — и я, и Верман, и другие ветераны, — говорим в один голос: самое ужасное, что может быть на свете, — это война. А ведь когда-то кое-кому из моих собеседников, наверно, ласкали ухо победные марши и хриплые крики «Зиг хайль!». Бог войны выступал, как всегда, в разукрашенных одеждах. Чтобы сорвать их и разглядеть истинный лик чудовища, потребовались годы. Годы горя, равного которому еще не знал мир.

— Вы хотели бы вернуть свою молодость? — спрашиваю я Вермана.

— И да и нет, — отвечает с усмешкой старый мастер. — Нет, когда я думаю об ошибках молодости. И конечно, да, если иметь в виду здоровье, силу...

Я вспоминаю его кулак. Да, силенка у него, наверно, была.

Подходит молодой любезный администратор, просит сфотографировать на память.

Мы становимся в ряд. Верман дружески берет меня под руку.

— Все-таки как-никак старые вестфальские ткачи! — шутит он.

— А фотографии вы мне пришлете?

Я кладу на стол визитную карточку с моим московским адресом.

— Конечно, пришлем.

— Должен получиться отменный снимок! — Верман подмигивает фотографу. — Его мы поместим в нашу книгу на самое видное место.

— А какую дадите подпись?

— «Дорогой гость из Москвы в гостях на фабрике».

Я думаю.

— Может быть, лучше так: «Пусть этот снимок напоминает нам всем, какими мы должны быть всегда. Мы и наши дети».

— Хорошо, — уже серьезно говорит Верман. — Я согласен.

— И я.

— И я, — присоединяется молодой администратор, пожимая мне руку.





РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ

Ох уж этот пастор! Потом он все же признался, что не мог устоять перед просьбой племянника своего покойного приятеля и пообещал ему устроить встречу со мной. «Ведь это же была практически единственная возможность и для него, и для вас», — говорил он.

...Вечером, когда мы уезжали из Гютерсло, у въезда на автобан нас остановил молодой человек в желтой куртке. Водитель, не желая перегружать машину, намеревался было проехать мимо, но пастор заставил его взять парня. Тот не медля проскользнул в салон и уселся рядом со мной.

Вначале он молчал, с любопытством поглядывая на меня. Я тоже смотрел на него с интересом. У парня была довольно оригинальная внешность — круглое загорелое лицо с оливковым оттенком, темные вьющиеся волосы, черные, закрученные кверху усики. Я принял его за одного из иностранцев — турка или грека, приехавшего сюда в поисках работы. Но прошло некоторое время, и парень заговорил на чистейшем немецком языке, без малейшего акцента. «Простите, мне хотелось бы с вами познакомиться, — сказал он. — Я Томас Пипенталь, кондитер из Оснабрюка. Впрочем, вам это ничего не говорит...» — «Почему же не говорит? — Мне понравилась его откровенность, однако себя я пока решил не называть. — По-моему, это ваш город был описан в од-

ной из моих любимых книг, по крайней мере, так говорилось в предисловии?» Глаза у парня забегали. Чтобы не мучить его, я назвал роман Ремарка «Три товарища», книгу, которую когда-то знал чуть ли не наизусть. Парень сделал вид, что пытается припомнить творение своего земляка. «Да, да... — забормотал он, — там был еще такой герой... запамятовал, как его звали?» — «Робби», — подсказал я, почти уверенный в том, что кондитер не читал романа. Но парень просиял. «Конечно, Робби! — воскликнул он. — Ведь это был мой дядя!» — «Ваш дядя?» Теперь уже я посмотрел на парня с недоумением. «И вы забыли его имя?» Парень смутился, но тут же выправился. «Не его, а этого... из книги. Дядя рассказывал, что у него был какой-то приятель, который что-то про него написал, даже давал мне читать. Но я тогда был мал. И потом... потом... от книг меня клонит в сон», — признался он с веселой откровенностью.

Нет, этот кондитер мне нравился все больше и больше. Если в его рассказе и присутствовал вымысел, то лишь ради красного словца. Дядя у него был. И звали его Робертом. В подтверждение парень показал подаренные ему карманные часы с надписью на внутренней стороне крышки: «Дорогому Томи от любящего дяди Роберта. Сохрани эти часы в память о тех, кому они принадлежали».

Я с удовлетворением прочитал надпись — судя по всему, она была сделана человеком, который дорожил этой семейной реликвией. Бережное отношение к прошлому, к добрым традициям, одинаково уважаемо любым народом. Тронул меня и сам подарок — простенькая, старомодная вещица, каких теперь уже не носят.

Чтобы дать возможность лучше рассмотреть дядин презент, мой сосед снял его с цепочки и положил мне на ладонь. Да, такие часы, тяжелые, рассчитанные на долгую жизнь, давно вышли из моды. Только люди моего поколения еще помнят то далекое время, когда ценность вещей измерялась их добротностью, если можно так сказать, основательностью. Тогда, в те наивные предвоенные годы в цене были костюмы из плотных и носких материалов, обувь — обязательно из натуральной кожи, часы — на самых настоящих драгоценных камнях. И эти — я поднес часы к свету, чтобы прочесть на циферблате полустертые цифры, — тоже на камнях...

Мне с трудом удалось разобрать написанное. «Пятнадцать рубинов... Часовой завод имени Кирова». Меня

словно что-то обожгло. Еще не сознавая, как попала к нему эта вещь, сделанная у нас, на нашем заводе, я зажал ее в ладони и машинально отстранился от черноусого кондитера. «Любящий дядя!» Да это же какой-нибудь каратель, чьи руки были обагрены кровью несчастных жертв!

...В памяти вспыхнул свет, грянула музыка. Мы, недавние курсанты, поднимаемся на залитую огнями сцену, и полковник из округа прикалывает нам на петлицы по два красных кубика — кубаря, как их называли, а командир пониже званием, ассистирующий полковнику, вручает нам наше личное оружие — пистолет ТТ в блестящей кожаной кобуре и часы, тоже новые, только что, наверно, с конвейера. «Счастливцы! — с легкой завистью шепчет, пожимая нам руки, пожилой капитан, командир учебной роты, — в наше время часов не давали!»...

Разжимаю ладонь: уж не мои ли это часы? Нет, не мои, на моих должна бы быть отметина — след осколка, попавшего в них в бою под Переяславом. Они дважды спасли меня от смерти — тогда, на фронте, и позже, в плену, когда я выменял за них у полицая вещмешок картошки.

Я смотрю на парня с ненавистью. «А кто был ваш дядя... в войну?» Парень чуть смущенно машет рукой. «О, он был маленький человек, «фельдмаршал с другого конца» — так называл себя. Мой дядя был большой шутник...» — «Ну а если без шуток?» — продолжаю я тоном допроса, снова сжимая в кулаке часы. Парень уже испуганно кивает на мои побелевшие пальцы. «Прошу вас... чуть-чуть полегче...» — «Так кем же все-таки он был, ваш дядя? — настаиваю я. — Эсэс, вермахт, люфтваффе? Или, может быть, комиком-жандармом с удавкой в руке?» Парень, кажется, понял, что я принимаю его дядю за грабителя. Обиженно сдвинув свои черные брови, он отчаянно трясет головой. «Мой дядя был санитаром в Штукенброке. Вы должны его знать, он дружил с русскими». Мой гнев немного приутих. Кажется, я поспешил с выводами. Но инерция еще сильна. «Скажи, кто твой друг! — думаю по привычке. — И Сашка Рыжий был русский».

Не помню, что я ответил парню, но тот полез в карман и достал какую-то бумагу, аккуратно уложенную в целлофановые корочки. «Вот... прочтите, пожалуйста». Его обида за дядю невольно тронула меня.

Бумага была письмом, озаглавленным довольно странно: «Всем комендантам оккупационных войск в Вестфалии и прилегающих районах». «Что значит — всем?» Письмо уже поначалу попахивало «липой». Текст был отпечатан неровно, на старой, разболтанной машинке, красная мастичная печать показалась самодельной. «Настоящим свидетельствуем, что бывший ефрейтор санитарной службы Роберт Пáричка, работавший при комендатуре Шталага 326-VIK и ведавший группой бараков в лагерном ревире, относился к военнопленным гуманно, помогал им и был внутренним противником гитлеризма».

«Санитар Роберт Паричка»? Это сочетание мне что-то говорило. Но что? В лагерной комендатуре было немало прихлебателей, скрывавшихся от фронта под личиной санитаров. Большинство из них усердно выслуживалось перед начальством, поддерживая в ревире бесчеловечный, убийственный режим. Но были и порядочные люди, из тех, кто попал в тыл по ранению или по болезни. «Паричка»? Я усиленно напрягал память. Да, если он был гадом, то, боясь последствий, сам состряпал себе оправдательный документ. Только так, не иначе...

Я посмотрел на подписи. И вдруг опешил. Под напечатанным на старой, плохой, видимо, трофейной машинке текстом стояли подписи — самые натуральные, в этом я не мог ошибиться! — людей, чья порядочность была проверена, и не раз, перед лицом смерти. Дмитрий Стариков, Александр Нетудыхатка, мой друг Андрей Пищалов...

Вспомнив о том, что одних уже давно нет в живых, другие где-то затерялись, хотя, наверно, были достойны и славы и почестей, но не добивались их, я вспомнил и Паричку — немца-ефрейтора, человека небольшого росточка, со смуглым подвижным лицом, чем-то неуловимо схожим со своим племянником, который, конечно, тогда еще и не родился. Вспомнил и его друга, тоже санитара, — они почти всегда ходили вместе, два ефрейтора, громогласных, подвижных. Один из них, помоложе и пощуплее, был Роберт Паричка, другой — поплотнее и уже с сединой — Антон Лúбель. Мои друзья, прежде всего Андрей, говорили о них как о «своих» немцах.

Теперь все мои чувства, как на позитиве, сразу окрасились другим цветом, и я проникся к кондитеру из Оснабрюка чуть ли не нежностью. Но часы — как они

попали к его дяде? И почему тот ими так дорожил? Я невольно угадал, говоря о бывшем ефрейторе в прошедшем времени. Парень сказал, что дядя Роберт два года назад умер, пережив своего друга Антона Либеля всего на несколько месяцев. Оба до последнего дня выступали против войны и размещения ракет, участвовали в антифашистских манифестациях. Жили они не так уж близко друг от друга, но часто виделись, особенно в первые послевоенные годы, пока их не стали надолго разлучать старость и болезни.

«Теперь, наверно, уже никто не сможет подтвердить то, что я вам расскажу. — Лицо у симпатичного кондитера погрустнело. — Но многим русским он помогал хлебом и медикаментами, а нескольких даже спас от казни. Один из них, по имени Георгий, перед отъездом на родину, — это было уже в конце войны, — подарил ему на память эти часы. — Парень невесело усмехнулся. — Понимаю, что вы можете мне опять не поверить. Но у меня есть фотография, где этот пленный изображен вместе с дядей. Может быть, она вам что-нибудь скажет?»

Он вложил бумагу обратно в корочки, спрятал ее в карман и достал пачечку любительских фотографий, тоже в целлофане. «Вот она», — сказал он, протягивая бледный, потрескавшийся снимок. Я снова напряг зрение, но теперь уже ничего не увидел, кроме четырех или пяти фигур желтого цвета.

«Нет, не вижу!» — признался вслух и уже хотел вернуть фотографии, как вдруг на помощь пришел пастор. «Разрешите предложить! — Он услужливо протянул карманную лупу. — Десятикратный цейс!»

Миг, и будто произошло чудо: карлики превратились в гигантов, лица обрели выражение, даже обстановка — нары, стол, сплющенная снарядная гильза на окне — все стало знакомым почти до боли, до слез. Хваленый «цейс» разбудил мою память. В стоящей на переднем плане плотной, коренастой фигуре, облаченной в белый халат, я сразу узнал одного из моих спасителей, врача Николая Михайловича Гущина, ведавшего в ревире туберкулезным бараком, где я когда-то скрывался от моих палачей. Мы виделись с доктором и после освобождения, но потом он, как и его друг, Иван Гаврилович Алексеев, которому я тоже был обязан жизнью — да разве только я один! — вдруг исчез куда-то с горизонта, затерялся в русской глубинке. Скромнейший чело-

век, он не захотел о себе напоминать лишний раз, не объявлял себя «героем» задним числом, как некоторые...

Веду лупой дальше. Рядом с Гущиным, чуть в стороне, какой-то немец в мундире с ефрейторской лычкой на рукаве. Вероятно, это и есть Роберт Паричка. «Он?» — спрашиваю я парня. Черноусый племянник кивает. Ефрейтор напустил на себя немного солидности: нужно же показать, что он здесь главный и при исполнении служебных обязанностей. «В жизни он выглядел по-другому: простым, веселым», — спешит заметить племянник. В какой жизни? Смотрю на молодое, без единой морщинки, пышущее здоровьем лицо парня и думаю: «Счастливец, прожил почти до тридцати лет и не слышал, как свистит пуля, рвется снаряд, как кричит обезумевшая мать при виде убитого ребенка...» В той жизни, какая была тогда, при жутком, кровавом режиме, порядочному человеку продержаться можно было только в маске. Скорее всего эта поза дяди-ефрейтора, за которую теперь немного неловко его симпатичному племяннику, и есть та самая маска, такая же, как и его напускное громогласие, уверенные жесты представителя «высшей расы». К тому же эта фотография могла попасть в лапы гестапо или абвера.

В правом углу, под окном, виден край стола — немого свидетеля наших мук и радостей. Об этом тоже стоит вспомнить... Вот открывается дверь, и тут же раздается истошный крик: «Хлеб, хлеб принесли!» Все, кто еще жив и может передвигаться, идут и ползут к столу, на который санитар, именуемый старшиной, выкладывает из мешка большие плоские, лунообразные буханки просяного хлеба. Люди сгрудились вокруг стола, жадно следят за действиями старшины. А тот, будто совершая некий тайный обряд, не спеша обводит глазами барак и что-то шепчет, затем молча производит подсчет количества людей. «Каждую — на двенадцать!» — наконец изрекает он.

Начинается дележ хлеба. Здесь свой ритуал. Каждая группа из двенадцати человек выбирает хлебореза. Должность эта почетная, ее доверяют самым достойным, самым честным и справедливым. На стол, под буханки, стелют какую-нибудь материю. Затем хлеборезу вручают «нож» — толстую просмоленную нитку с палочками на концах. Сначала буханка делится на четыре части, потом каждая из четвертушек — еще на три. Следующий этап — взвешивание. На одну чашечку само-

дельных весов кладут порцню, принятую за эталон, на другую, поочередно, все остальные. Пайкн уравнивают, но и этого мало: вдруг кому-то достанется на крупинку больше илн меньше. Один из присутствующих встает лицом к стене, а хлеборез, беря со стола пайку за пайкой, спрашнвает: «Кому?» Пожалуй, это самый волнующий момент, завершающий процедуру. А дальше... Дальше каждый распоряжается своим кусочком как хочет. Однн не в силах справиться с муками голода и тут же жадно съедает пайку, другой, разделив ее на части, будет растягивать удовольствие чуть лн не на сутки, глотая крошку за крошкой — так, по его мненню, можно лучше насытнться. Кто-то, видя, как день за днем умнрают и те и другие, хочет приблнзнть неизбежный конец н, получив хлеб, тут же меняет его на табак. Цена известная — за пайку хлеба дают на две цнгаркн, но не настоящего табака, нет, а крошева из будыльев, соломы и табачного лнста. «Пленная махорка» — кто ее попробовал, тот никогда не забудет едкого дыма, дерущего горло. И все же были люди, рассуждавшие: покурншь — умрешь, и не покуришь — тоже умрешь, уж лучше умереть раньше, но хоть затянуться — пусть этим горьким дымом! — перед смертью.

Сплющенная гильза на подоконнике — карбндная лампада, единственный источннк света, впрочем, настолько тусклого, что его хватало лишь на то, чтобы дежурный фельдшер, дремавший ночью тут же, за столом, не перепутал бутылки с лекарствами и не дал больному какой-ннбудь яд вместо нехитрого снадобья вроде липового отвара или настоя хвои. В дальних углах барака царнла темнота. Но все равно даже эта бедная лампадка была для нас чем-то вроде магической звездочки: глядя на нее, мы коротали долгие томнтельные ночи в мечтах о доме, о теплом и прекрасном мире, который, может быть, нам все же суждено увидеть когда-нибудь.

...А вот на фотографнях и они, доходягн-мечтатели, лежащие на нарах. Один, тот, что прнкрыл половнну лнца ладонью, мне, вероятно, незнаком. Да и трудно что-лнбо сказать о человеке по такому снимку. Хитрюга, вндать, был парень, хотел и память оставить, и от беды в случае чего уберечься.

Другой же не сдрейфнл — не заслонился, не ушел в тень. Как лежал, так и остался лежать, мало того, еще н подбоченнлся, словно бросая вызов своим врагам:

нате, мол, выкусите! Даже на старой, поблекшей фотографии читается резкая, мужествеииая красота его лица. Черт побери, ие лежал ли я тогда в этом бараке? Нет, судя по тому, что иа плеииых, кроме рубашек, иичего нет, дело происходило в жаркую пору, в июне или в июле. А я попал к Николаю Михайловичу в коице октября.

И все-таки где же мы встречались? «Георгий... Георгий...»—бормотал я, перебирая в памяти всех моих зиакомых, всех, с кем меня сталкивала жизнь. И ие имя маячило в моем мозгу, нет, имя ведь можио было взять себе какое угодно, — я вспоминал лица людей — нос, брови, глаза. И эту повадку — дерзкую, немного вызывающую.

«Георгий?..» — повторил я в сотый, наверио, раз и вдруг чуть ие закричал: да это же он, Жорка Беглец, или Жорка Счастливчик. Человек, о котором до сих пор ходят легенды!

...Впервые он бежал из плена еще в Белоруссии, в сорок первом, ие пробыв в лагере и месяца. Едва оправившись от коитузии, ои постарался понравиться пришедшему в лагерь ремонтнику, который набирал из плеииых рабочую комаиду. Тот его взял, но, приведя на место, раскаялся: этот плеииый с длиниым костистым лицом, с прядью волос, упрямо спадавшей иа лоб, и большими светлыми, смотревшими ие то преданно, не то иасмешливо глазами, — «нордический тип», как определил немец, — оказался слишком слаб, чтобы иосить тяжелые носилки с камнями: его буквальио шатало на ходу. Ему дали другую работу — отбирать булыжники от щебеики. На это ои еще был способеи: сидел себе на обочиие и отбрасывал мелочь, всякий там лом, в сторону... Так он работал день, два, три, и охраииики привыкли к иему — к его иемощно согбеиной фигуре, маячившей у обочины. «Т а к о й иикуда не денется», — решили они и перестали наблюдать за иим. Ему того и иадо было...

Тогда ои далеко не ушел. На востоке грохотал бой — это иаши иачали коитриаступлеиие под Ельней, и охранники сообразили, что беглец должен иаправить свои стопы имеино туда. Погоия настигла его где-то километрах в десяти от линии фронта. Как ои прошел меньше чем за сутки, да еще по лесу, расстояиие, равиое чуть ли ие дневной походной иорме солдата, иемцы так

и не поняли. Подумали, что кто-то его подвез: какой-нибудь крестьянин. Им невдомек было, что в этом человеке таился свой, особый, резерв сил. Его бросили в общий лагерь, оставив на пять суток без еды. Рассчитывали, что больше он не проживет.

Однако он не только выжил, но с первого же дня стал готовиться к новому побегу... Теперь он уже твердо знал, что может убежать и снова вдохнуть пьянящие запахи свободы. И убежал бы — не через фронт, так к партизанам. Он уже начал нащупывать связи, как вдруг его с первым же транспортом отправили в Германию.

В вагоне он быстро освоился: среди сорока изможденных «хефтлингов» угадал еще пятерых, жаждущих побега. Сбившись в кучку, шестерка отважных решила: надо прорезать доски единственным имевшимся у одного из них обломком ножа. Но как осуществить задуманное? Начальник охраны, сопровождающий эшелон, предупредил: за каждого беглеца ответят жизнями все оставшиеся в вагоне. Значит, надо бежать всем! Но все бежать не могли: у одних не хватало сил, у других мужества... Что делать? Снова посовещавшись, шестерка решила действовать. Смельчаки почувствовали: нужен пример! Ни один человек не останется в вагоне, если кто-то покажет дорогу на волю. Одних подтолкнет совесть, других — страх перед расправой...

Они прощупали ножом стенки вагона: одна из них, передняя торцевая, оказалась тонкой — не заводской, а самодельной, из досок, не пропитанных специальным составом, нож ее взял. Три ночных часа работы, и в стенке была прорезана щель, вполне достаточная для того, чтобы человек мог протиснуться через нее и вылезти на буфер. А там... там уж как бог пошлет!

Однако побег не удался. На одном из перегонов поезд внезапно остановили, устроили дотошный осмотр и обнаружили дыру. (Хорошо, что нож успели выбросить в щель!) Охрана пересчитала пленных. Все сорок были на месте. «Кто прорезал дыру в стене?» — грозно спросил начальник охраны, плотный белозубый фельдфебель. Все молчали. «Сделать обыск!» — приказал фельдфебель солдатам. Но солдаты не нашли у пленных ничего, чем можно было резать дерево. «Я спрашиваю: кто прорезал дыру?» — повторил фельдфебель, взял у солдата автомат и направил его на сгрудившуюся у стены темную массу. Масса угрюмо и ненавидяще молчала. Фельдфебель выругался, швырнул автомат солдату и

вышел из вагона. Щель надежно заколотили досками, эшелон тронулся...

Их сгрузили в Штукенброке и повели в распределительный лагерь. Еще когда они были в бане, наш герой приметил одного из писарей, по-видимому старшего из них — высокого, смуглого, с крупными выразительными чертами лица — типичного южанина, вернее всего, одессита. В регистратуре — «карта́е» — рассмотрел еще лучше. Было в нем что-то располагающее, несмотря на грозно выпяченные губы и зловеще приподнятую бровь. «Бывший биндюжник или душка-циркач из балагана», — решил новичок. И, незаметно подойдя к писарю, дернул его за рукав. «Послушай, чувачок, ты не из наших?» Писарь удивленно посмотрел сверху вниз. «Допустим, — усмехаясь, ответил он, в его глазах мелькнул интерес. — Есть ла́жа?» — «Есть, — простодушно сознался смельчак. — В карточке — верзо́: два прокола». Тут писарь стал серьезным. «Трудное дело, землячок. Но попробуем. Как звать?» — «Георгий — он назвал себя по фамилии, — в просторечии Жора». — «А меня звать Дмитрий».

Писарь подтолкнул его к столу, грубовато, так, чтобы все слышали, крикнул: «Никаких поблажек, шакал. Вздумал, когда на живот жаловаться. Иди сюда, на лечение!» Стоящий неподалеку немец-шеф привычно удовлетворенно закивал. «Зо, зо! Мус орднунг зейн!» * Дмитрий порылся в стопке карточек, достал одну, положил перед собой. Сердце у нашего героя екнуло: на карточке красным карандашом было написано «ЗБ». Георгий догадался, что́ это значило: «Зондерблок», верная смерть. Оттуда не убежишь. «Вот ведь какой компот!» Надежда пошатнулась. Вряд ли писарь сможет чем-нибудь помочь, если на карточке стоит пометка самого коменданта: ведь это он, предварительно проверив, что за «товар» привезли к нему в лагерь, начертал свою дьявольскую закорючку...

Холодная игла буравила сердце, но глаз ловил каждое движение писаря. Вот Дмитрий спокойно, не спеша прочитал карточку, прикрыв пометку ладонью... вот так же спокойно сложил кусочек тонкого картона пополам и разорвал его на мелкие клочки... вот попросил у сидящего рядом товарища, бледного рябого парня в черной морской шинели, дать ему чистый бланк с новым

---

* «Так, так! Должен быть порядок!» *(нем.)*.

номером и крупно вывел на нем фамилию и имя: «Вольный Георгий»... Фамилия была похожа, лишь начиналась с другой буквы... Георгий еще не сообразил, что делает писарь: хорошее для него или плохое, но из глаз уже текли слезы — слезы благодарности. И тут сердце подсказало ему, что надо молчать и надеяться, писарь знает свое дело, он друг...

После, уже в общем лагере, когда Дмитрий и тот его товарищ, рябой писарь, нашли его и вызвали вроде по делу из барака во двор, Георгий спросил, почему, уж если менять фамилию, Дмитрий не сменил ее на менее похожую и имя оставил то же, — не догадались бы немцы? Дмитрий улыбнулся: «Они же механики, буквоеды, для них главное — номер и начальная литера. Думаю, не догадаются, теперь им слишком долго надо копать». И дружески сжал руку. «Дело не в фамилии, как говорил когда-то наш главбух, а в зарплате. Здесь все живут под «липой»: ты — Вольный, он, — Дмитрий толкнул товарища в бок, — Нетудыхатка, хотя и сибиряк, родом из кержаков... Только я сам по себе: Дмитрий Стариков. Уж если отвечать, то буду один за всех».

Одна опасность миновала — в общем лагере еще можно было замешаться, а потом нащупать какие-нибудь пути на волю. Но вскоре, едва он успел немного освоиться с обстановкой, возникла новая угроза — быть отправленным на подземные работы. Это было еще страшнее, чем штрафной блок. В лагере работала медицинская комиссия, говорили, что, кому врачи установят «первую группу», тот уже обречен.

Но и здесь помогли друзья — Дмитрий Стариков с Сашей Нетудыхаткой. Заменили украдкой в карточке «первая» на «третью», и он остался в лагере. Теперь можно было подумать о побеге.

С кем бежать? Опыт подсказывал: одному по чужой земле не пройти, нужен напарник, еще лучше — двое. Георгий прикидывал: идти придется ночами, по глухим лесным тропинкам, по заросшим кустарником обочинам, днем прятаться в стогах, в сараях... А есть ли здесь, в этой проклятой стране, стога? Он расспрашивал тех, кто работал на хуторах у бауэров и помещиков. Говорили: немцы стога не мечут, сушат сено в мелких копешках («туда не спрячешься!»), затем прессуют и складывают в сарай. Но подступишься ли к сараю? Вряд ли, в каждом хозяйстве сейчас много собак. Время тревожное, мужчин в сельской местности осталось мало, полицей-

ских тоже забирают в армию, поэтому усиливают собачью охрану. А немецкие овчарки известны своей свирепостью и хорошим нюхом. Значит, надежда только на лес. В лесах, рассказывали те же «бауэристы», часто встречаются заброшенные сторожки, охотничьи домики... Но одному туда забираться на ночлег опасно: может обнаружить случайно зашедший егерь или какой-нибудь солдат-отпускник, задумавший прогуляться с ружьишком. Расчет: один спит, один караулит — не годится, слишком мало времени придется на сон, не отдохнешь. Лучше — трое.

Напарника Георгий нашел не раздумывая — Мишку, веселого и храброго парня, одного из той вагонной шестерки, случайно попавшего вместе с ним в барак. А кто третий? Мишка порекомендовал Николая -- рослого благообразного мужчину, бывшего полкового интенданта. «Мы — однополчане, с границы до Минска вместе топали». — «Кто топал, а кто, наверно, ехал в салон-вагоне», — уточнил Георгий. Бывший интендант обиженно вытер нос рукавом. «Довольно примитивное понятие о нашей службе». — «Ладно, не лезь в бутылку. Сам — откуда?» — «Москвич». — «Земляк! А жил где?» — «На Зубовской». — «Едрена вошь, а я — на Арбате!» Это решило: Николай был утвержден.

Стали готовиться к побегу. Им помогали друзья из рабочих команд — хлебом, табаком. А это были те же деньги, за них на лагерной «барахолке» они приобретали необходимое. У каждого были свои обязанности. Николай, знавший ремесла, чинил рваную одежду, обувь. Из плащ-палаток шил куртки с капюшонами — короткие, чтобы не мешали на ходу, но надежно защищали от дождя. Прошивал подошву ботинок просмоленной дратвой, схватывал намертво: никакая лужа не страшна.

Мишка специализировался по части инвентаря. Он достал где-то фонари с запасными батарейками, смастерил каждому по ножу, одел, во избежание шума при ходьбе, в чехлы с лямками котелки и фляги...

Подготовку продовольствия взял на себя Георгий. Он знал: из своей скудной пайки в запас и крошки не выкроишь, надо пробиваться к кухням. Но дружбы с поварами не получилось: старший полицай Сашка Рыжий приметил крутившегося у ограды, оцепившей кухонный двор, верткого парня с приметным хрящеватым носом и дерзкими, настырными глазами и приказал сво-

ему помощнику, надзиравшему за пищеблоком, не подпускать этого «шакала» к кухням на пушечный выстрел.

Оставалось одно: получить доступ за проволоку. Но как это сделать? Георгий решил пойти напрямик. Както, увидев проходящего по дороге к аппельплацу Дмитрия, он окликнул своего спасителя. Тот подошел, привычно напустив на себя строгость. «Чего надо?» — так, чтобы все слышали, спросил Стариков. «Хотел бы попросить, — так же громко ответил пленный, — чтобы вы меня устроили на работу. — Он слегка подмигнул и тихо добавил: — Писарем». — «А что ты можешь?» — «Читать, немного писать по-немецки». Дмитрий оглянулся. Вокруг никого не было. «Я тебе и так помогу, если хочешь есть», — сказал он, как бы досадуя на себя, что не догадался об этом раньше. Георгий усмехнулся. «Не об том речь. Бежать хочу! — Он поймал удивленный взгляд Дмитрия и быстро добавил: — Но тебя не подведу». Дмитрий подумал. «Хорошо, я прощупаю почву. Подожди дня два-три».

На третий день Георгия на поверке вызвал полицай блока. «Следуй за мной, шакал». Вид у полицая был зловещий: привести «шакала» в картай приказал сам штабс-фельдфебель, помощник коменданта по учету и распределению рабочей силы. Не иначе в карточке у пленного нашли что-то подозрительное. Впрочем, вызов мог означать и другое: просто кому-то из окрестных помещиков или состоятельных бауэров, дружков штабс-фельдфебеля, понадобился еще один батрак...

У контрольных ворот полицай передал пленного старшему писарю. Дмитрий привел Георгия в картай. В жарко натопленной комнате тесно стояли шкафы с ящичками, за длинным столом сидели писаря. В печурке уютно потрескивали дрова, в комнате пахло смолой и канцелярским клеем.

Тучный краснолицый штабс-фельдфебель, сидевший здесь же, за стеклянной перегородкой, пристально оглядел новичка. После обеда немец был настроен благодушно. «Кто такой?» — спросил он на ломаном русском языке. «Человек», — смущенно, но не без достоинства ответил Георгий. Толстяк вдруг захохотал. «Человек! — смеясь, повторил он. — Кого ты мне рекомендоваль, Дмитрий? — Штабс-фельдфебель, обращаясь к Старикову, кивнул на новичка. — То же не простой сольдат, то же потомок старый русский граф!» Он вы-

тер слезы, махнул рукой. «Пойдет. Давай ему работу!»

С этого дня Георгий получил право выходить за лагерь, в «зону». И жил он уже не в общем бараке, а в форлагере, за аппельплацем, в комнате, где стояли не грязные нары, а двухъярусные койки. «Так можно и до конца войны дотянуть!» — говорил он про себя с усмешкой. Но в его привычной иронии не было осуждения по адресу товарищей — того же Дмитрия Старикова или его напарника, бывшего морского офицера Барышева, ныне Нетудыхатки. Георгий крепко подружился с обоими, знал, что оба делают большое и важное дело, помогая простым и честным людям выжить в этом аду. Скольких они спасли от шахт или застенков абвера и гестапо! Георгий мог лишь представить себе, видя, как ежедневно эти славные мужественные люди рисковали жизнью, обманывали своего «шефа», тайно заменяя лагерные номера и списывая в умершие приговоренных к каторжным работам или тюрьме. Какие только манипуляции они не проделывали с карточками! Прекрасно зная, на кого может нацелить свой ястребиный глаз лагерный абвер, они старались иногда заранее запутать следы — в графе «военное звание» аккуратно счищали надпись, допустим, «полковник», и писали «рядовой» или «сержант». Так они временно «разжаловали» старших офицеров, маскировали в общей массе людей, которым угрожало уничтожение в первую очередь.

Он видел: с этими ребятами можно быть откровенным во всем, в любой задумке. «Как мне провести за проволоку двух моих друзей?» — спросил как-то Георгий. «А ты их вызови сюда как бы для перерегистрации: надо, мол, что-то уточнить в карточке». — «Но нужен бланк вызова, подписанный шефом?» — «Так дай ему этот бланк на подпись. Только выбери удобный момент». Однако прошло месяца два, пока такой момент представился: шеф был приглашен на именины своего приятеля-помещика, которому он поставлял из лагеря даровых батраков, и спешил уйти. Тут Георгий и подсунул ему бланк. Штабс-фельдфебель быстро подписал пропуск и удалился.

Итак, час побега настал. Георгий достал из шкафа мешок с продуктами, которые он и его друзья наворовали с немецкой кухни. Там был недельный запас сухарей, несколько банок мясных консервов, большая пачка маргарина, банки с солью и сахаром. Отдельно,

в другом мешочке, Георгий хранил коробку с «киппе» — окурками немецких сигарет, и специальные, в парафинированной упаковке, так называемые «морские», немокнущие, спички.

«Ну, прощайте, друзья, — сказал он Дмитрию и Саше, отозвав их в тамбур. — Рублю концы. Пошел за моими корешками, а там сквозняком в лес». Дмитрий поинтересовался, подготовлена ли одежда. «Будут брезентовые куртки». — «А штаны и головые уборы?» Георгий растерянно пожал плечами: об этом он почему-то не подумал. «Все надо предусматривать», — сказал Стариков. Попросив подождать, он пошел куда-то и вскоре принес три пары суконных брюк защитного цвета и три такие же шапки с козырьком. «Вот, — прикинул он на глазок, — думаю, подойдут». Георгий примерил шапку и хотел остаться в ней, но Дмитрий посоветовал пока не переодеваться. «Пусть на контрольном посту запомнят вас в другой, пленной, одежде. Эту пока спрячь где-нибудь в кустах, потом переоденетесь».

Георгий так и сделал: отнес мешки на огород, спрятал их в куче сухой ботвы.

Уже смеркалось, когда Георгий с друзьями подошел к контрольным воротам. Дежурный вахман посветил фонариком на пропуск, на лица людей, что-то проворчал насчет того, что картай вызывает пленных, когда рабочий день кончается. Но, сделав отметку на пропуске, приоткрыл оплетенные колючей проволокой двери.

В темноте, прореженной тусклым светом лампочек форлагеря, беглецы прошли прямо к огороду, где надели на себя мешки с припасами, и быстрым шагом направились к черневшему неподалеку лесу. Перешли дощатый мостик и уже почти поравнялись с первыми деревьями, как из чащи на опушку вдруг вышел солдат с вязанкой хвороста, по-видимому денщик какого-нибудь офицера, ходивший за растопкой для камина. Георгий небрежно откозырял и прошел мимо. «Остановит или нет?» — стучало в сердце. Он беспокоился не за себя — за тех двоих, что шли за ним... Но немцу было не до них. Или, сам приученный к порядку, он не увидел в этих людях, деловито шагавших к лесу, ничего подозрительного.

В лесу они переоделись, напялили на себя колючие, из грубого сукна, штаны и шапки, а свое, пленное, обмундирование засунули под корягу и забросали землей и ветками. «Лишняя работа, — подумал Георгий, — все

равно найдут с собаками». Николай словно угадал его мысли. Он достал из кармана куртки большой сверток. «Здесь порошок от вшей, со всего барака собрал. Говорят, если им след посыпать, его ни одна собака не возьмет. Запах отбивает». — «А ты молодец!» — похвалил бывшего интенданта Георгий. Ему была по нраву эта деловитая предусмотрительность. Мишка казался более беспечным: закурил без разрешения, воровски пряча цигарку в рукав, что-то напевая себе под нос... «Ты что, ошалел от радости?» — спросил его Георгий. «Малость есть», — признался тот, шмыгая носом. Было в этом круглолицем, курносом двадцатилетнем парне что-то от бедокура-второгодника. В лагерной жизни его беспечность невольно бодрила душу, но здесь она начала раздражать Георгия. «Не забывай, браток, что мы идем как по минному полю. Один неверный шаг — и все с потрохами в небеса!» — строго предупредил его Георгий, приказав без команды не курить и вести себя тихо. Николая — того не надо было учить осмотрительности; большой и тяжелый, он шел по лесу мягко, как балерина на пуантах, так, чтобы не треснула ни одна веточка, и настороженно смотрел по сторонам. «За этого можно быть спокойным!» — решил про себя Георгий.

Часа через два ходьбы лес кончился. Беглецы вышли на просторный, залитый лунным светом луг, перерезанный узкой, тускло поблескивающей асфальтовой дорогой. Это было первое препятствие: Дмитрий перед их уходом предупредил: «Бойтесь дорог, особенно на открытых местах». И точно: не успел Георгий сказать товарищам об опасности, как послышался рев мотора и справа, из леса, вынырнул большой, крытый брезентом грузовик. Беглецы едва успели нырнуть снова в чащу. Грузовик проехал, и воцарилась тишина, нарушаемая лишь далекими гудками паровозов. Это где-то, километрах в трех отсюда, жила своей обычной рабочей жизнью станция Эзельхайде, та самая, куда их привезли полгода назад. Георгий запомнил длинное приземистое здание вокзала из красного камня с полинявшей вывеской, три или четыре ряда подъездных путей и примыкавшую к лесу пузатую, похожую на гигантскую противотанковую гранату, водонапорную башню. «Только бы добраться до нее...» — мелькнула мысль. Георгий чутко вслушивался в тишину. Он уже хотел подать команду броском пересечь дорогу, но увидел

справа, в стороне от станции, какие-то дрожащие, беспокойные всполохи. «Что это, не загорелся ли лес?» За деревьями замелькало пламя, и на дорогу выехала колонна велосипедистов на двухместных походных велосипедах. Позади каждого велосипедиста сидел ведомый с горящим факелом в руке. «Гитлерюгенды!» — догадался Георгий. Длинная колонна подростков в теплых прорезиненных куртках, в пилотках, с зачехленными ножами на боку, проехала, предводительствуемая взрослым наставником в офицерской фуражке с белым шнуром и повязкой со свастикой на рукаве...

«Придется рассредоточиться», — сказал Георгий. Хотя время было дорого — каждый миг из лагеря за ними могла отправиться погоня, — но идти скопом, втроем, они уже боялись. Решили так: Николай пойдет в обход к станции слева, лесом, а Георгий с Михаилом — туда же и тоже в обход, но справа, кустарником. «Пункт сбора — сосны за башней, позывные — крик совы». Георгий показал, как кричит сова. Николай старательно повторил.

До станции добрались без приключений. Была полночь, маленький маневровый паровозик не спеша, словно в полусне, вытягивал из тупика и ставил на запасной путь платформы с высокими бортами, груженные какими-то машинами. Из-под брезента выглядывали, как бивни мамонтов, гнутые рукоятки, хребтами выгибались огромные зубчатые колеса...

Формировался эшелон. Какой и куда он пойдет — это заботило беглецов. Если на платформах военная техника, то лучше с этим эшелоном не связываться: будут проверять на каждой станции. «Посмотрю!» — шепнул Мишка. Георгий не успел остановить товарища, как тот, пригнувшись, рванулся к эшелону, перебежал через пути и скрылся из вида.

Он вернулся быстро: ему удалось прочитать сделанную мелом надпись на одной из платформ: «Гебит Донбасс, штадт Артем». Эшелон пойдет на восток, туда... У беглецов радостно забились сердца. Подождав, пока паровоз пригнал еще один вагон и ушел, все трое выбежали из укрытия и, вскочив на подножку, стали карабкаться наверх. Георгий забрался первым. Малорослого Мишку пришлось подсаживать — он взобрался на плечи Николаю и уже тогда перелез в вагон. Тяжелого Николая подтянули вдвоем на руках — плюхнувшись на платформу, он больно ушиб ногу.

Только тут, заглянув под брезент, они увидели сложенные пирамидой вентиляционные трубы и поняли, что эшелон везет шахтное оборудование. Им явно фартило! Груз мирный, значит, на промежуточных станциях до самого пункта назначения вагоны проверять не будут. Да и охрана, они знали, с такими поездами едет обычно хилая: несколько стариков-резервистов, предпочитающих сидеть у себя в теплушке.

Сначала они хотели забраться в трубу — там можно было даже сидеть согнувшись. Но вскоре снова вылезли. Разве просидишь всю дорогу на холодном металле, да еще скрючившись в три погибели? Решили сидеть на дощатом полу вагона, прикрывшись от ветра брезентом, и лишь в случае опасности залезать в трубу. Сейчас важно было одно: чтобы их не обнаружили до отправки эшелона.

Паровоз подцепил к составу последний вагон, и эшелон тронулся. Было еще темно, охранники, которые погрузились только на соседней станции, торопливо осмотрели вагоны. На минуту беглецы затаили дыхание: кто-то проковылял мимо их вагона, пошмыгал носом... Вскоре донесся хриплый голос охранника, прокричавший старшему команды, что «все в порядке», лязгнули прицепы, колеса, набирая скорость, запели: на восток, на восток... Мишка от радости забарабанил кулаками по спинам друзей. Николай уткнулся Георгию в плечо и всхлипнул. «Рано победу празднуем!» — пробормотал Георгий, не замечая, что у него из глаз тоже текут слезы...

Как-то невольно получилось так, что он чувствовал себя ответственным за жизнь товарищей, хотя не был старшим ни по возрасту, ни по званию. Но в таких делах, как побег, авторитет определялся двумя качествами — мужеством и предприимчивостью, а он ими обладал в полной мере. Наиболее верное решение приходило, как правило, к нему первому, кроме того, от товарищей его отличали серьезность и сдержанность: он не любил пустых разговоров, не мелочился, не жадничал в еде, однако был экономным. «Запасы надо беречь!» — повторял он, сам показывая пример бережливости. И товарищи, глядя на него, невольно подтягивались.

Внезапно остановились и долго стояли в поле. Впереди, на востоке, грохотало, в небе, высоко за облаками, слышался тупой надсадный рев, частые пулеметные очереди. Это летели армады американских бомбарди-

ровщиков, шел воздушный бой. Союзная авиация бомбила лежащий неподалеку город. Горизонт заволокло оранжево-черное марево, ветром несло тяжелый, удушливый дым. «Вот дают!» — восторженно шептал Николай. «Да... Только малых детишек жалко», — отзывался Мишка. А Георгий соображал: хорошо бы разжиться в паники какой-нибудь хламидой, чтобы спастись от все более пронизывающего холода. Когда стемнело, он обшарил вагон, нашел кучу тряпок и приволок ее, сделал удобное, теплое и мягкое ложе в трубе. «Спальное купе», — окрестили его беглецы. Теперь каждый из них мог спать в нем по очереди, по нескольку часов в сутки.

Поздно вечером тронулись, долго ехали, не останавливаясь, потом снова стояли, пережидая бомбежку. И тут им везло: разбомбленные города объезжали стороной, по запасным путям, поэтому контроль был ослабленный. Чем ближе к Берлину, тем реже ехали днем, чаще стояли где-нибудь в поле или на тихом полустанке, пережидали бомбежку. Хотя поезд продвигался медленно, все же каждый день приближал беглецов к родной земле. Постепенно изменялся пейзаж: земля была уже вся белая от снега, вестфальские лесистые холмы сменила прусская равнина с ее мрачными помещичьими замками и дымящими день и ночь заводами. Под Берлином заводы тянулись бесконечной чередой, некоторые из них лежали в развалинах.

За Бранденбургом не выдержали, вылезли посмотреть на вырисовывавшиеся впереди, в розовом утреннем свете, сверкавшие стеклом громады домов. Начинался день — ясный, без единого облачка на небе. И на душе было хорошо...

А обернулось бедой. Внезапно, за поворотом, поезд резко остановился, и Николай упал, снова больно ударившись о трубы, на этот раз боком. И то ли он промедлил спрятаться под брезентом и его увидел с высокой площадки блок-поста стоявший там железнодорожник, то ли их обнаружили еще по какой-нибудь неведомой причине, но вдруг к вагону подошли: раздался скрип сапог, звон оружия. «Раус!» * — крикнул властный голос. Это было как сон — простой до реальности и в то же время жуткий сон. Все трое замерли, думая, что, может быть, произошла ошибка и опасность еще пронесет. Но крик повторился. Кто-то концом ствола

* Выходи (*нем.*).

приподнял брезент, и Георгий первым выполз из трубы, за ним выползли и Николай с Мишкой.

Перед ними стояли два «шу́по» — полицейских в высоких металлических касках, похожих на перевернутые ночные горшки, — вооруженные карабинами, один маленький, коренастый, другой долговязый. «Комм!» — скомандовал маленький, наставляя карабин на Георгия и делая знак подойти ближе. «Ду аух!» — приказал он Мишке. Тот приблизился. Тогда маленький кивнул долговязому, и полицейский с неожиданной ловкостью накинул обоим на руки тонкий стальной браслет, щелкнул замком, приковав их друг к другу. Затем «шупо» откинули борт и приказали всем спрыгнуть на землю.

Их привели в полицейское управление при станции. По дороге Георгий успел шепнуть Мишке, а тот Николаю, чтобы все трое придерживались «первой легенды» — версии, придуманной еще перед побегом на случай, если их задержат. По этой «легенде» друзья бежали с разбомбленного эшелона, который якобы направлялся в Рур, вез рабочую силу на шахты. Так вот, чтобы снова не попасть на тяжелые работы, трое друзей сели в проходящий мимо поезд, решив сойти где-нибудь в сельской местности и наняться в батраки к какому-нибудь «доброму» бауэру.

Подумав, старик-следователь с желтым болезненным лицом, уставший от бесконечных допросов, а может быть, просто пожалевший этих парней, не стал докапываться до истины. Он сказал, что верит им, но по законам военного времени любой, бежавший из плена, считается преступником. Их должны были бы отправить в каторжную тюрьму. Однако скоро рождество, и, принимая во внимание это обстоятельство, а также чистосердечное признание всех троих, следователь будет просить не наказывать их по букве закона, а «милостиво» отправить в один из штрафных лагерей.

Это было лучшее из всего, что их могло ожидать. Среди штрафников они снова затеряются, затем найдут, бог даст, свою тропинку на волю. Все-таки штрафной лагерь не тюремная камера. Теперь пугало одно: лишь бы не угодить снова в Штукенброк. Георгия почему-то особенно страшила встреча с обманутым им штабс-фельдфебелем...

Но тот же следователь или кто-то еще повыше вдруг все переиграл. Георгия и Мишку неожиданно вызвали в абвер, избили и бросили в холодный вагон

с зарешеченными окнами. В чем дело, куда их везут, они точно не знали. Могли лишь догадываться, что Николай в расчете на еще большее «снисхождение» признался...

В Штукенброке штабс-фельфебель сам пришел в абверовскую тюрьму, чтобы посмотреть на своего бывшего любимца. «Ты очень большой шутник, — сказал он, уже не улыбаясь, — и много смеялся надо мной. Теперь мы мало-мало над тобой посмеемся». Георгий поблагодарил «шефа»: ему нечего было больше терять. Штабс-фельдфебель сказал вызванному по этому случаю в абвер Рыжему: «Они не должны жить, я буду рвать их карточки!» И ушел.

«Ясно, шакалы, что с вами приказано сделать? — Рыжий зловеще прищурился. — А ну, пошли!» Он привел их в «исповедальню» — мрачную комнату в подвале полицейского дома, о которой в лагере ходили самые чудовищные слухи. Говорили, что там устроены какие-то специальные машины для пыток... Но Георгий увидел, что никаких машин здесь не было, в пустом помещении, напоминавшем деревенскую баню с бревенчатыми стенами и чисто вымытыми полами, в углу одиноко стояло ведро с водой, рядом лежала тряпка и скрюченная кочерга.

Рыжий приказал Георгию и Мишке снять рубахи и встать спинами к нему, упершись руками в колени. «Буду вас бить, шакалы. Держитесь. Кто упадет — забью до смерти. Кто выдержит — у того добрый бог, ясно?» Он снял с себя ремень с бляхой, сложил вдвое: все это Георгий видел уголком глаза. Его обжег страшный удар по пояснице. Рыжий бил попеременно: десять ударов одному, десять — другому... На третьем десятке Мишка покачнулся, Георгий слегка поддержал его. Рыжий заметил. «Корешка спасти хочешь? Самого запорю!» — взревел он. Но то ли у него устала рука, то ли ему понравилось, что эти двое держатся под его зверскими ударами, он вдруг прекратил порку и, свалив обоих ударом ноги в зад, вышел из подвала, предварительно плеснув на распластанных на полу беглецов воду из ведра.

Они долго лежали в луже. Сознание словно ушло из них, только где-то, в оставшемся живым уголке мозга, тупо шевелилась мысль: будут ли их еще бить? Мысль казалась невыносимой. «Лучше бы расстреляли». Но инстинкт подсказывал: все же жизнь, даже самая

тяжелая, лучше, чем смерть. Ибо смерть — это конец всему, а в жизни всегда есть надежда...

Потом Рыжий говорил, оправдываясь перед штабс-фельдфебелем, что он хотел на другой день их прикончить, и прикончил бы, если бы они не... исчезли. Что с ними сталось, он не знал. Не знал и штабс-фельдфебель. Только два ефрейтора-санитара ходили себе и посмеивались: они знали. Да еще знал пленный врач из ревира. Это они, узнав о том, что в полицейском подвале лежат два полутрупа, которых Рыжий не добил, но завтра или послезавтра непременно добьет, решили спасти беглецов. Как это сделать? Путь был только один — выкрасть их незаметно и спрятать в надежном месте. Темпераментный Тони Либель предложил дерзкий план. Он сказал, что его со спины часто принимают за штабс-фельдфебеля. Это «сходство» можно обыграть: нацепить на себя фельдфебельские погоны и рано утром, пока лагерь спит, прийти к подвалу с носилками, приказать дежурному полицаю открыть замок, и пусть потом Рыжий и «штабс» гадают, кто и куда увел беглецов. Его товарищи — немец и русский — план этот в общих чертах одобрили, но внесли поправки. Роберт Паричка — его вместе с Тони недавно перевели сюда, в тыл, как взятых на заметку абвером, — сказал, что не любит авантюр и считает, что преображаться в фельдфебеля не надо: уж очень дорого может обойтись этот маскарад, если кто-либо разоблачит лжефельдфебеля. Идти надо в своей форме, захватив пленного врача и тачку, в которой возят трупы. Сославшись, если потребуется, на приказ того же фельдфебеля — не оставлять в помещениях трупы, погрузить на тачку «мертвецов» и привезти в мертвецкую ревира. А там заменить живых умершими. Доктор Гущин грустно усмехнулся: «За последними недалеко ходить, имеются в каждом бараке». И тоже внес поправку, вернее, дополнение, сказав, что одновременно надо заменить и лагерные номера.

«О, это я беру на себя, — сказал Тони. — Сегодня же доставлю не только номера, но и копии с карточек несчастных покойников».

Об убежище разговора не было: все трое понимали и без слов, что им может быть лишь туберкулезный барак — место, куда боялись заходить с обыском даже полицаи. «А вдруг все-таки зайдут, — сказал любящий иной раз съязвить Либель и выразительно посмотрел

на приятеля, отвечавшего за барак. — На тебе уже и так клеймо! Не боишься?» — «Боюсь, — просто и весело ответил тот. — Но еще больше боюсь, что ты станешь меня презирать. Так уж лучше рискну!»

И они рискнули. План удался, уже через какой-нибудь час беглецов под видом особо заразных «чахоточных» принесли в изолятор барака, на стенах которого черной краской было написано: «Осторожно! Смерть!» — и нарисован череп со скрещенными костями. Странная эмблема, эсэсовцы, с гордостью носившие ее на своих фуражках, почему-то здесь шарахались от нее, как от гремучей змеи. Однако последнее обстоятельство почти гарантировало нашим героям неприкосновенность. К тому же штабс-фельдфебель, задним числом узнав о смерти обоих беглецов, приписал их смерть усердию Рыжего, а тот, разумеется, не возражал против этой версии.

Это было счастье — счастье жить на краю обрыва, где один неверный шаг, одна малейшая оплошность — смерть. Почти год они не видели светлого дня, разве только в окно. Выходили подышать свежим воздухом в тамбур, и то по вечерам, перед закрытием дверей, когда немец или полицай, дежурившие по ревиру, были далеко. Но иногда им везло — на дежурство заступал кто-нибудь из своих, и тогда они могли стоять в тесном тамбуре хоть всю ночь. Как это было прекрасно — курить, пряча цигарку в рукав, как когда-то, в далекие школьные годы, и любоваться ночным небом, загадочной россыпью звезд. Над ними простиралась Вселенная, вроде бы объясненная и все же непостижимая, бескрайнее скопище миров, каждый из которых что-то означал.

Друзья смолили цигарки, молчали, и каждый думал о том, что ту же картину видят сейчас везде — и в Москве, и на Украине. Эх, если бы звезды могли принимать от людей сигналы и передавать по назначению, то т а м, на родине, родные и близкие узнали бы, что их Георгий и их Михаил живы, здоровы и собираются в новый побег... А дальше... дальше они попросили бы пожелать им доброго пути.

Дата побега несколько раз назначалась и снова откладывалась, всегда что-нибудь мешало. Мишка относился к неудачам с философским спокойствием, даже иногда посмеивался. Георгий же мрачнел и надолго замыкался в себе. В такие дни Мишка с ним был особо нежен и предупредителен, оберегал от расспросов,

заставлял съедать баланду, словом, вел себя, как заботливая нянька. «Отойдет!» — с мудрой усмешкой говорил он доктору Гущину, заходившему в изолятор проведать своих подопечных. Маленький Гущин, глядя на Георгия, только горестно вздыхал, махал рукой и уходил. Он был по-своему тоже заинтересован в побеге, не любил жить в подвешенном состоянии, рассуждал: либо пан, либо пропал. Доктор и сам охотно бежал бы, но главврач, его друг, Иван Гаврилович Алексеев, строго наказал ему «оставаться в строю», «не оголять важнейший из флангов».

А время шло. На фронте давно произошел перелом. Потерпев сокрушительный удар под Курском, вермахт уже почти безостановочно пятился назад, наши переправились через Днепр, подходили к Польше. Это подстегнуло союзников, они вынуждены были открыть «второй фронт», высадили десант на французском берегу. Фашистский рейх трещал по всем швам.

В лагере тоже происходили изменения. Сменился комендант. С какими полномочиями прибыл новый, никто не знал, даже его ближайшие помощники. Пожилой, высокий, сухощавый оберст, из офицеров старой выучки, быстро дал понять, что ему претят чрезмерные зверства, какие до него творились в лагере. Рыжий был строго предупрежден и несколько поутих, поутихли и другие полицаи. С немцами комендант поступил еще более круто: главных извергов, в том числе краснорожего штабс-фельдфебеля, удалили из комендатуры, некоторых отправили на фронт. Пленные торжествовали: пусть, мол, попробуют эти тыловые крысы погеройствовать там, на поле боя!

Однако радость оказалась недолгой. Как в голодных бараках взвешивали на весах хлебные пайки, так, вероятно, старый оберст решил отвешивать добро и зло. В одну из темных осенних ночей лагерный абвер произвел налет на барак, где жил медперсонал, и арестовал группу врачей во главе с Иваном Гавриловичем Алексеевым. Все, кто знал о смелых деяниях главного врача лагерного ревира и его друзей, с замиранием сердца думали об их участи. Но обошлось сравнительно благополучно: врачей разослали по разным лагерям, Алексеев попал в штрафной лагерь в Гемере. Приложил ли и здесь руку новый комендант или арест врачей был предрешен какими-то другими обстоятельствами, в лагере так и не узнали. Но сам комендант, как говорили нем-

цы, пустил слух, что русские врачи якобы отделались столь легко лишь благодаря ему, его заступничеству.

Вечером под Новый год к беглецам пришли с поздравлениями друзья — двое или трое врачей и, конечно, вездесущий Леня Волошенков. Леонид, как всегда, был полон волнующих новостей. «Машинист Иван с узкоколейки, подвозивший к лагерным складам овощи с крестьянских полей, сказал, что подружился с бауэрами, вернувшимися по инвалидности с фронта, те ненавидят Гитлера, уверены, что скоро ему капут. Я намекнул Ивану, что надо бы прощупать этих немцев, не согласятся ли они дать на время приют нашим ребятам в случае побега. Самому Ивану сказал прямо: «Помогай, корешок, без твоей помощи они из «зоны» не выберутся». И машинист, как картинно изобразил Леонид, положил свою большую рабочую руку на грудь и поклялся, что все сделает для ребят, все, что может, только, мол, пусть они окажутся за проволокой. А с немцами обещал потолковать.

Андрюша Пищалов, которого Стариков устроил работать на продовольственный склад, прислал уворованные им из фонда, учрежденного для лагерной знати, банку консервов и буханку «настоящего» хлеба, товарищи из огородной команды прислали вещмешок полумерзлой картошки.

«Ну, друзья, — Леонид, встав, нежно, со слезами на глазах посмотрел на беглецов, — Родина ждет вас. Надеемся, что вы первыми увидите родную землю, обнимите отцов... матерей, — голос у Леонида, как всегда в такие минуты, дрогнул, глаза заволоклись слезами. — Счастливого вам пути!»

Ответное слово произнес Георгий. Все правильно, сказал он, Леонид угадал самое главное, чем дышат и живут они с Мишкой. «Лучше пусть нас убьют, замучают в гестапо или в абвере, чем мы вернемся домой захребетниками, трусами, не пошевелившими пальцем для того, чтобы снова стать свободными людьми и воинами, то есть мужчинами!»

В этот знаменательный вечер он дал слово уйти из лагеря в день своего рождения. Все промолчали: слишком уж лихим и легкомысленным показалось это обещание. Георгий понял, усмехнулся: «Посмóтрите, братцы. В нашей деревне не шутят». Нетерпеливый Леонид не выдержал, захотел узнать дату. Георгий ответил

уклончиво: «Когда прилетят грачи. Они сюда, а мы — туда». И махнул рукой куда-то вбок.

Сказал он, конечно, вгорячах. Ну и взыграло ретивое. А наутро, окатив голову холодной водой, вошел в разум. Но решил, как отрезал: двадцатого марта он — кровь из носу! — бежит. Решится Мишка — бегут вдвоем.

Спрашивается: что может пленный, да еще сидящий бо́льшую половину дня в закутке туберкулезного барака? Но жизнь есть жизнь, люди — люди, их дружественные взаимотоки порой неисповедимы.

Время таяло, как снег на крыше, и студеные капли по вечерам, когда выходили из своего убежища подышать воздухом, падали за ворот, словно напоминали о близких грачах, но фантазия, работавшая с лихорадочной быстротой, родившая десятки, сотни вариантов, не могла подсказать пока ничего путного, ничего более-менее надежного. Самым тяжким было то, что беглецов в лагере знали в лицо и первый встречный мог оказаться мерзавцем, жаждавшим получить гестаповскую подачку за две проданные им жизни.

Георгия начали уже мучить кошмарные сны, как вдруг в бараке появился старый друг и спаситель беглецов ефрейтор-санитар Роберт Паричка. Беглецы не видели немца примерно с месяц, стали волноваться, гадать, не отправили ли его в связи с очередной «тотальной» мобилизацией на фронт, но пришел как-то Либель и сказал, что должность, которую занимал Робби, сократили, и теперь он, Либель, будет курировать все инфекционные бараки, в том числе туберкулезный, однако на фронт его приятеля, по уже известным мотивам, не пошлют, найдут какую-нибудь работу здесь, в тылу. «Хотя тыл сейчас понятие весьма условное!» — прибавил многозначительно толстяк.

Вошел Паричка, хмурый как туча, но едва переступил порог и закрыл за собой дверь, как тут же сбросил с себя маску. «Привет! — Он поднял сжатую в кулак руку. — Как дела на вашем фронте?» Георгий и Мишка лишь пожали плечами. «Сам видишь. А что у тебя?» — «О, наш фронт приближается. На востоке он уже за Одером, на западе — у Рейна». Он подмигнул. «Скоро плену капут. Свобода!» Мишка аж подпрыгнул от радости. Но Георгий еще больше помрачнел. «На простынях спать, победы дожидаться!» Он в сердцах швырнул на пол котелок с недоеденной баландой.

«Хрен, а не свободу — не хотел? — сверкнув глазами, сказал он Мишке. — Так тебе эсэсовцы и дали со своими повстречаться. Сожгут живьем или расстреляют из пулеметов...» Он сел на край нар, застланных провонявшим тряпьем, и горестно уткнулся лицом в ладони.

Немец подошел к нему, похлопал по плечу. «Так не пойдет, Георгий, ты солдат, я солдат, надо держаться. — Он посмотрел на дверь, прислушался. — Может быть, я вам помогу. — Георгий приподнял голову. — Я думаю, — продолжал шепотом немец, — не сделать ли вас еще один раз мертвыми... не навсегда, только на один-два часа».

Он сказал, что получил новую должность — шефа «капут-команды» и вот уже почти месяц занимается вывозкой трупов на кладбище. «Понимаешь?» — немец посмотрел на беглецов и показал мимикой и жестами, что́ надо сделать: сначала они притворятся мертвыми, затем их «тела» погрузят в похоронную фуру и вывезут за лагерь, а там... там они «воскреснут».

Не было сказано ни одного слова, но Георгий и Мишка все поняли. «Ты... ты... гений!» Георгий бросился к немцу, тот отстранил его. «Даю инструкции. Пункт первый — молчать. Пункт второй — взять с собой ножи и компас, если их нет — я дам. Пункт третий — не умываться, не бриться, короче — чем старше на вид, тем лучше. Все». — «Хорошо! С радостью мы, конечно, поторопились, но... бог даст! Назначай срок». — «Хоть завтра, нет, лучше послезавтра. Завтра — пятница, тяжелый день. Да и бороды не успеют отрасти». Георгий было кивнул, но вспомнил о данной друзьям клятве. Он хотел быть точным и здесь. «Уж если отпускать бороду, то — большую. В следующую среду — годится?» Немец что-то прикинул про себя и кивнул утвердительно.

Подошла среда. Накануне две или три ночи не спали — терзались сладкими и горькими мыслями попеременно. Это было как гадание на ромашке: удастся — не удастся. Георгий уже жалел, зачем так оттянул дату. Для него не было большей му́ки, чем ждать.

А все оказалось неожиданно просто. Заслышав скрип повозки, замерли на нарах, будто окаменели. Минут пять лежали, задрав подбородки и бессильно раскинув руки. Мишку начал уже разбирать смех, он хихикнул, прикрылся ладонью. «Хочешь завалить, гад!» — страшно прошептал Георгий. Тихо открылась дверь — не хлопнула, как обычно. Паричка, посмотрев в окно, вдруг

крикнул: «Лошадей держите, лошадей!» Его подручные выбежали на улицу, а Паричка поспешно переложил «трупы» в носилки, которыми служил большой ящик из-под снарядов, снабженный ручками. Когда санитары вернулись, немец приказал им положить в ящик еще один, подлинный, труп, и похоронщики двинулись. На улице поклажу еще раз переложили, уже в фуру, сверху набросили мокрый, с тошнотворным запахом, брезент, и фура не спеша поскрипела по направлению к проходной.

«Контроль» не увидели — почувствовали кожей. Этот момент решал: жить или... Даже страшно было подумать. Но страха почему-то не ощутили. Мысль работала на пределе. Все — мышцы, нервы — как бы свернулось в пружину, готовую сработать мгновенно.

Нет, ничего опять же не произошло. Робби обменялся с постовым шутливыми репликами, еще помедлил, дав сослуживцу закурить, затем, опять же не спеша, тронул повозку. И снова скрипела она по дороге на кладбище, и минута казалась годом.

Наконец подъехали к открытому и еще не до краев заполненному рву. Потом увидели, что́ бы их ожидало, если бы не судьба и добрые люди... Но тогда взглянули на этот у ж а с лишь мельком. Паричка, отославший подручных на ближайшие огороды за картошкой — «комси-комса, меншен!» — воруй, мол, пока я добрый! — помог друзьям выбраться из фуры. Показал дорогу, по которой с наименьшим риском можно было выбраться из зоны. Достал из-под шинели два больших складных ножа и «морской» не «боящийся влаги» компас. «А с едою как?» Мишка вынул из кармана завернутый в тряпку сухарь. Паричка постучал пальцем по лбу: думать надо! — и, выхватив откуда-то, как фокусник, вещмешок с припасами, сунул беглецам. Тут же, не дав передохнуть, он подтолкнул их: идите, не то скоро будет светло. Машинально, повинуясь толчку, они побежали к лесу. Вдруг Георгий остановился. «Ё-моё! Даже спасибо не сказали!» Он хотел было вернуться, но немец словно прочитал его намерение. «Лос! Лос!» — скорее показал, чем крикнул, он и сделал вид, что достает пистолет. Георгий растерянно махнул рукой и побежал следом за Мишкой...

...На этот раз они бежали туда, куда ближе — к Рейну. Через неделю, выглянув из зарослей, они увидели широкую реку с темной, мутной водой, с пятнами

нефти, с плывущими вверх и вниз баржами. Над одной из барж развевался фашистский флаг. Значит, союзники еще далеко отсюда? И беглецы решили идти вдоль Рейна, вверх по течению.

Был последний мартовский день, когда они услышали какой-то странный шум в небе, словно свист крыльев огромных неведомых птиц. Беглецы испуганно притаились в кустах. Их накрыли тени, прижали к земле. Георгий опомнился первым: да это же планеры! «Птицы» плавно опускались в лежащую внизу, под скалистой прибрежной грядой, долину, из их «брюха» выехали танки, высыпали солдаты в желто-зеленой форме. Кто-то вынес и развернул большой полосатый красно-сине-белый флаг...

Георгий толкнул Мишку, и они покатились с холма в долину, ударяясь о камни, царапая себе лицо и руки о колючки кустов и что-то отчаянно крича — не от боли, от радости. Уже почти скатившись, Георгий поранил ногу. Он попытался вскочить и побежать вслед этим людям в незнакомой форме, похожим на пришельцев с другой планеты, и их танкам, длинным, приземистым, с белыми звездами на башнях, но уже не мог подняться — не было сил.

Танки и люди скрылись из виду, а беглецы все махали и махали руками и беззвучно кричали.

Наконец Мишка взглянул на друга и испугался. Георгий лежал на боку, упершись головой в сырой, замшелый ствол дерева, его бледное, в грязные полосах и царапинах лицо могло бы показаться неживым, если бы не бродившая на губах улыбка. «Не сошел ли с ума?» — мелькнуло в голове у парня.

Нет, просто его, как он вспоминал потом, опьянили запахи мха, молодой травы, ласка весеннего солнца. Радужные круги плыли в глазах, словно кто-то большой и сильный подхватил его и понес. Жаркие руки обнимали за шею, тихий голос шептал в ухо заветные и сладкие слова.

Это была Свобода!

Прошло еще пять дней — всего пять дней, прекрасных уже не только для двух беглецов, но и для тысяч их товарищей по лагерю. В ночь на первое апреля, в ту первую ночь, которую Георгий и Михаил провели не на зловонных нарах и не в заброшенном сарае, на старой соломенной трухе, а в спальне какого-то сбежавшего гитлеровского бонзы, на широкой кровати под роскошным

шелковым пологом, — да, да, именно в эту ночь в Штукенброке узнали, что американские танки, почти не встречая сопротивления, вышли в район Тевтобургского леса и, по всей вероятности, не позже чем завтра должны быть здесь. Узнали об этом, конечно, пока не все, а лишь некоторые — как те, кто еще обладал или считал, что обладает, властью, так и те, кто готовился взять ее в свои руки. Имено в эту ночь, а не в следующую, когда лагерь был фактически освобожден, немецкий комендант лагеря собрал своих приближенных и, сообщив обстановку, высказал несколько мыслей относительно ближайшего будущего и среди них — пока еще как бы походя, как бы с усмешкой — мысль о заключении «почетного» соглашения с наиболее разумными и авторитетными, как он выразился, силами русского лагеря. В эту же ночь эти самые «силы», а именно: полковник Куринин, Дмитрий Стариков и другие пленные, располагавшие бóльшей информацией, чем остальные, также стали готовиться к решающему моменту, который мог обернуться для них и, главное, для лагеря либо освобождением, либо гибелью. Были приняты предложения о создании «боевых групп», о выходе на прямую связь с комендантом лагеря, о разработке условий капитуляции для немцев, короче, продумана программа действий.

В следующую ночь почти все, намеченное заранее, было осуществлено, и десятки тысяч пленных, заточенных в основном лагере и его филиалах, стали с в о б о д н ы м и советскими гражданами. Это было великим, может быть, самым великим событием в жизни этих тысяч. А все великое безучастно к мелочам, какими в данном случае являлись два человека. Никто о них не вспомнил и на следующий день, и еще на следующий. Все были заняты.

Они сами напомнили о себе. В конце пятого дня, вечером, перед самым отбоем, на территорию бывшего лагеря, а ныне «сборного пункта», представлявшего собой нечто среднее между запорожской вольницей и регулярной воинской частью, въехал синий, сверкающий никелем «опель-адмирал», машина, предназначенная для высших чинов. Подбежавший дежурный с красной повязкой на рукаве громко и сбивчиво, волнуясь, доложил вышедшему из машины маленькому, плотного сложения капитану в советской форме о состоянии дел «в данный текущий момент» и повел его в «штаб». К оставленному на бывшем аппельплаце «опелю» ста-

ли со всех сторон сбегаться любопытные, послышались реплики: «Главный приехал, из Парижа, что ли?», «Поди, так. Вишь, как дежурный перед ним тянулся? Только почему — капитан? Говорили, генерал его звание», «Не у каждого генерала такая машина есть», «Может, что важное скажет? Ну, война кончилась... или до дома нас всех?», «А может, призыв объявят: фрица добивать?», «Вот бы! Только где он сейчас, фриц-то?»

Обсуждавшие отметили, что машина имеет мотор свыше ста лошадиных сил («во прет, поди!»), что скорость у нее — по спидометру — до двухсот километров («птицу и ту обгонит!»), что, несмотря на свои достоинства, она «сложения хрупкого» и пригодна, наверно, только для «гладких» дорог. Пока разглядывали, прозевали двух полуобмундированных парней, вышедших через заднюю дверь. А парни, видимо, не желая подвергаться расспросам, а также, чтобы их не отождествляли с начальством, быстро подались к ревиру и, смешавшись с толпой, пробрались к четвертому бараку.

Он был все тот же — с плакатом и устрашающей надписью на двух языках, даже с той же рыжей метелкой, положенной у двери. Здесь приехавшие парни остановились и как по команде повернулись к левому окну, за которым в крошечной комнатушке, почти взаперти, они провели больше года. «Смотри, Михаил, — дрогнувшим голосом сказал Георгий, — даже новое стекло еще не вставили!» И стекло еще было то же — с трещиной, заклеенной пластырем. «Точно слепец...» — заговорил Михаил с принужденной улыбкой и вдруг остолбенел. «Смотри, кто там!» — едва не закричал он от радости или удивления. За пыльным стеклом, в сгущавшихся сумерках показалось чье-то лицо. «Тони!» — Георгий бросился к двери, сжал в объятиях вышедшего ему навстречу немца. «А где Робби?» — «Здесь». Он прикрыл дверь на улицу и почти втащил бывшего беглеца в изолятор. Там, на нижних нарах, отвернувшись к стене, спал человек. Это был Паричка.

Через минуту Георгий обнимал своего спасителя. «А почему такой худой? Или не кормят?» Но шутка получилась горькой. Они и в самом деле были голодными — и Роберт и Тони. Теперь оба немца как бы поменялись ролями с беглецами: не могли выйти на улицу во избежание расправы. С комендантом и его присными им было не по пути, решили остаться в лагере, рассчитывая быть полезными своим русским друзьям.

Дмитрий понял их с полуслова, но отвел сюда в барак, приказал переодеться в штатское и сидеть здесь, пока он не разрешит им выходить. Намекнул на какие-то «сложности», сказал, что пока сам будет приносить им пищу.

О «сложностях» они вскоре догадались, мысленно поставив себя на место тысяч вчерашних рабов, только что получивших свободу. Ведь лишь единицы знали о подлинной сути этих немцев, большинство видело в них своих заклятых врагов. Что ж, в самом деле, решили они, надо подождать, пока все утрясется. Теперь им надо было терпеть, еще раз терпеть и верить.

О эти муки ожидания! Сидя под ключом, они не могли показать и носа на улицу, забившись в глубину нар, резались в карты, сделав их из случайно найденного в сумке противотуберкулезного плаката. Гадали на «судьбу». Тони даже начал втихомолку молиться. Редко, очень редко скрипел ключ и приходил Дмитрий, радостный, озабоченный, совал кусок хлеба или котелок вареной картошки, быстро рассказывал новости и снова убегал. Они на него не сердились, человек, владеющий языками, сейчас нужен всем — и своим и чужим. Но голод, как известно, не тетка, да и разве можно двум здоровым мужчинам наесться одним котелком картошки? «О, как теперь мы вас понимаем!» — страдальчески говорили они.

«Ё-моё, вот действительно ситуация!» Георгий, выслушав немцев, горестно покрутил головой, потом, прикинув что-то, сказал Мишке, чтобы тот оставался в бараке, а сам пошел, как он выразился, на разведку.

Через несколько минут зашуршали, закашляли прикрепленные на столбах динамики и по лагерю полетело очередное «экстренное сообщение». Невидимый диктор предоставил слово «штрафнику Георгию Вольному, известному в лагере под именем Жорка Беглец». Георгий говорил сбивчиво, волнуясь, но все, кто был в лагере, разом замолчали и затаив дыхание слушали «воскресшего из мертвых». Сказал он примерно следующее: «Я остался жив, меня спасли люди. Кто они? Если бы я стал называть их поименно, то вам пришлось бы меня долго слушать, а сейчас время уже позднее, пора спать, поэтому я назову вам только два имени: Антон Либель и Роберт Паричка. Два немца. Два прекрасных парня, рисковавших своими жизнями для того, чтобы сохранить жизнь мне и моему другу.

Сейчас они в лагере, хотят нам помогать и дальше. Наш штаб выдал им охранные грамоты. Запомните, люди: это наши братья, мои братья. Смотрите вперед, а не назад. Найдите с ними общий язык, как нашли мы. А если кто-нибудь их оскорбит или, хуже того, поднимет на них руку, будет иметь дело с нашим, советским революционным трибуналом. Даю вам честное товарищеское слово!»

Еще через полчаса, когда прозвучал отбой, Георгий в сопровождении Дмитрия и Мишки появился снова в изоляторе и грохнул об стол ящиком с трофейными яствами. Здесь были колбасы в длинных металлических банках, коробки со шпротами и анчоусами, всякие компоты в плотных полупрозрачных мешочках, буханки хлеба в вощеной бумаге, выпеченные, судя по дате, еще в начале зимы, но и теперь пухлые и мягкие, как подушечки.

«Годится? — спросил он затворников, выкладывая все это богатство на стол. — Вот так, — Георгий кивнул Дмитрию, — вы будете кормить наших братьев — ваших братьев. Клянусь... — он обвел взглядом углы и подмигнул немцам, — клянусь, что мы никогда, запомните, — никогда! — не дадим друг друга в обиду».

Поели. Закурили. Наступила как бы минута молчания. Георгий первый нарушил ее: что-то вспомнив, метнулся в угол, пошарил в одному ему известном месте и вытащил завернутые в тряпицу часы. «Помнишь?» Он повернулся к Дмитрию. «Еще бы!» — усмехнулся тот. «Если бы я тебе тогда, перед Рыжим, не успел их сунуть, попали бы они ему или какому-нибудь другому живоглоту. — Он щелкнул крышкой, стал заводить механизм. — Пошли!» — сообщил, приложив часы к уху и уловив тонкий, слышный только ему, звон. «Наши, русские! — с гордостью вставил Мишка. — У нас дома тоже были такие». «Такие, да не совсем, — откликнулся Георгий, любовно рассматривая часы. — Прочти-ка, что здесь написано?» Щелкнув еще раз, он показал товарищу едва заметную надпись на ободке футляра, в котором покоился механизм: «За хорошую выездку верховых лошадей. 1899 год».

Прочтя, его друг удивленно поднял бровь. Георгий пояснил: часы фирмы Павел Буре — когда-то она считалась чуть ли не лучшей в мире — были подарены командиром егерского полка его деду, унтер-офицеру сверхсрочной службы, тоже Георгию, за его воинские

заслуги. От деда они перешли к сыну, отцу Георгия, затем, когда он уходил в армию, отец подарил их ему. «Это наш семейный амулет: все мы воевали, все остались живы. Бог даст, вернешься и ты». Но, как бы предчувствуя, что старым часам предстоит трудная жизнь, отец решил заменить наиболее истертые детали — верхнюю крышку и циферблат — на новые. Отсюда и появилась другая марка на циферблате: «Завод имени Кирова».

«Конечно, счастливчик! — засмеялся Дмитрий. — Вернуться из плена с фамильной драгоценностью... — Он встрепенулся, заслышав какой-то резкий звук. — Что это? Не капитан ли уезжает?»

Георгий толкнул Мишку, нахлобучил фуражку с самодельной звездочкой.

«Нам пора!» — сказал он. «Куда?» — разом спросили друзья. «Вперед, на восток». — «С этим... капитаном?» — «С ним, — Георгий развел руками, — пока берет. А высадит — к другому подсядем. — Он подмигнул Мишке. — Нам что ни поп — все батька, лишь бы скорее до дома».

Быстро простились, пошли к дверям.

Снова, уже нетерпеливо, прозвучал клаксон.

Мишка рванулся, но Георгий удержал его. «Подождет, не барин. У меня еще дело есть. — Он вернулся и что-то сунул Паричке в карман. — Вот, возьми на память... и на счастье!»

Когда дверь закрылась, немец спохватился, ощутил в кармане маленький, круглый, тяжелый предмет и хотел было догнать русского. Но его ноги вдруг подкосились, он опустился на колени, держась за столб. Либель бросился к нему, испуганно спросил, что с ним. Тот не ответил. Дмитрий посмотрел на его счастливое, страдающее лицо, все понял и тихо, дружелюбно поставил его на ноги.

Я вспомнил эту историю и привел молодого кондитера в полный восторг. «Значит, и у вас знают о моем дяде! — Его глаза снова погрустнели. — Как жаль, что он не дожил до встречи с вами». Чтобы успокоить немца, я сказал, что жив еще один его дядя — русский. Кондитер оживился: «Дядя Робби говорил, что он был очень красивый и сильный, похожий на полярного путешественника. Интересно, каков он сейчас?» Я при-

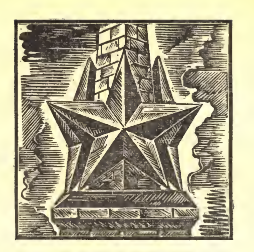
помнил стройного, моложавого мужчину в яркой рубашке канареечного цвета и модной замшевой курточке, с орденом Красной Звезды на груди. Да, он напоминал кого-то из прославленных путешественников — не то Седова, не то Амундсена. У него были резкие, решительные черты лица; чистые, как родниковая вода, голубые глаза и седина на висках. Нас познакомили общие друзья, кажется, тот же Дмитрий Старков, в Советском комитете ветеранов войны, и мы разговорились. Помню, прошли не спеша по бульвару до ближайшего метро и еще долго стояли у входа, не могли проститься. «Я ведь завтра уезжаю на съемки, как ты думаешь, куда? В тропики, на озеро Чад, снимать пигмеев». Он сказал, что работает на одной из московских киностудий, где сделал уже десятка два фильмов. «Вот какая штуковина, ё-моё: побывал чуть ли не во всех странах, а в ФРГ не довелось. Но мечтаю съездить, посмотреть на места обетованные, повидаться с друзьями».

«Передайте ему, — племянник Паричка сжал мою руку, — пусть приезжает, я встречу его, вот мой адрес». Пошарив в кармане, он достал свою визитную карточку. Его глаза сверкнули в сумраке машины. «Уже Бракведе? Так скоро? Остановите, пожалуйста, здесь я пересяду в другую машину».

Наш «фольксваген» остановился у пересечения двух автобанов. На одном из указателей было написано: «Оснабрюк. 100 км.». Желтая стрелка показывала влево.

Кондитер вышел, помялся немного, приоткрыл дверцу и, вздохнув, прибавил: «Еще передайте: я маленький человек, но делаю неплохие торты. Особенно мне удаются «пралинны». А для него я приготовлю такой «пралин» — лучше, чем для нашего епископа! Да, да, лучше! Ведь мы — родственники!»





ВДОХНОВЕНИЕ

Уже у ворот, выходя из машины, Вернер сообщает, что сюда должен приехать еще кто-то: мой друг Дитер, учитель из Гиссена, журналистка из Билефельда, двое местных историков. Целая «ассамблея»! Впрочем, ничего удивительного нет: интерес к нашему лагерю все растет. Но почему надо встречаться здесь, на кладбище?

Вскоре понимаю, что место встречи выбрано не без умысла. Ведь я не был здесь уже почти пять лет, некоторые вообще не видели кладбища с его мемориалом — всего того, что составляет предмет неустанных забот Вернера и других членов кружка «Цветы для Штукенброка». За эти годы они немало поработали — видно сразу, с первых шагов.

Слева от входа установлена большая мраморная стела, на ней литая металлическая доска с текстом. Теперь каждый приходящий может узнать о лагере и его жертвах. Смущает только надпись: «Почетное кладбище советских воинов...» Вспоминаю время «холодной войны» — двадцать лет запустения, заросшие бурьяном могилы, мерзкие проделки неонаци, сорвавших с памятника венчавший его красный флажок. Но Вернер говорит: это — прошлое. Что ж, хочется верить.

Выходим на главную аллею. Здесь тоже изменения. Могильные ряды выровнены и обложены каким-то особым, невянущим дерном. Ровно, словно по нитке, про-

тянулись шеренги надгробий из красноватого камня. Приглядываюсь и вижу: они новые, но форма сохранена прежняя, и надписи прежние, только сделанные заново и более тщательно.

И бывших зарослей уже нет. Деревья стоят зелеными шпалерами по обе стороны от могил, как на карауле. От прежней стихии цепкого кустарника и бьющей по коленям травы не осталось и следа. Теперь здесь все строго, все планомерно и целесообразно.

Вернер ведет свою роль гида подобно опытному актеру, приберегающему самые яркие краски к последней, решающей сцене. Вот и она! Невольно останавливаюсь, завидя наш памятник. Он высится посреди зеленой лужайки, в кругу стоящих на почтительном отдалении высоких и стройных лип, тенистых кленов... Как к старому другу, подхожу к одинокой березке, которую приметил еще в первый приезд. Не она ли то деревце, что я посадил когда-то, прощаясь с родными могилами?

Памятник теперь хорошо виден. Он словно помолодел: постамент и стрела облицованы новыми розоватыми каменными плитами, большие пятиконечные звезды из красного песчаника тоже выглядят новыми, только что из-под резца. Но куда девалась его былая, немного тяжеловесная монументальность? Он стал стройнее, современнее, хотя общий облик и здесь бережно сохранен.

Теперь памятник нравится мне даже больше, чем прежде. И все же... Но Вернер предупреждает вопрос. «Здесь все сделано в соответствии с волей автора», — говорит немец и рассказывает, как два года назад, когда наш Александр Антонович приезжал сюда по приглашению кружка, он трудился с утра до ночи, намечал зоны расчистки, испытывал образцы каменных пород, рисовал, чертил и, уезжая, оставил подробное описание желаемой реконструкции мемориала.

Узнаю его: таким он был и таким остался в нашей памяти. Вечный поиск и работа, работа до изнеможения, до болей в сердце — иной жизни этот человек себе не представлял. Он говорил о работе даже в день смерти...

— Как? — спрашивает Вернер, нахмурившись. — Разве он умер?

— Несколько месяцев назад.

Немец молчит, отдавая дань его памяти.

— Он что-нибудь оставил... для нашего музея?

Вспоминаю печальный день похорон, слезы родных и

близких моего друга, последнюю, начатую, но так и не оконченную, картину.

— Не знаю. А что он должен был оставить?

— Описание или, вернее, историю этих фотографий.

Немец показывает мне три старых снимка. На одном вижу какие-то карандашные наброски вроде детского рисунка, на других — группы людей, стоящих в деловых и решительных позах на фоне прозрачного, еще не одетого в зелень леса.

У меня екнуло сердце: все три снимка мне хорошо знакомы. Я даже знаю, кто и когда их сделал — и его, и многих из этих людей тоже уже нет в живых. Но, может быть, я смогу дать нужные сведения? Вернер согласен. Он говорит подъехавшим молодым немцам, что надо записать мой рассказ. Журналистка достает из сумки диктофон и, положив его рядом со мной на постамент памятника, включает. Услышав шелест ленты, предупреждаю, что этот рассказ будет не историей, не документом, а всего лишь воспоминанием о друге. Вернер утвердительно кивает.

И я рассказываю.

...В нем всегда жил художник, даже тогда, когда его, раненого, волокли на плащ-палатке по осеннему, в рытвинах и ухабах, полю бывшего аэродрома, превращенного немцами в лагерь военнопленных. И тогда, когда краснорожий унтер, сопровождавший рабочую команду, увидев, что этот чернявый, припадающий на одну ногу пленный спрятал за пазуху мерзлую брюкву, хотел заколоть его штыком, но промахнулся и лишь рассек гимнастерку на плече. И тогда, когда плюгавый старичок из «расовой комиссии» долго осматривал его, мерил холодным металлическим метром шею, спину и бедра, решая, не еврей ли он, чтобы в случае, если расчеты сойдутся с таблицей, тут же отправить его в газовую камеру...

Он не забыл ничего. И не потому, что у него не было в душе страха, нет, ему так же хотелось жить, как и каждому молодому, сильному от природы и жизнелюбивому человеку, но просто потому, что его память обладала способностью запоминать то, что может лучше выразить сущность людей или событий. В голове его всегда теснились, наплывая друг на друга, эти вырванные из потока впечатлений образы — краснорожего унтера со зловеще оскаленным ртом, плюгавого старичка в чер-

ном костюме и черном старомодном котелке, знатока «расовой теории», важно и сосредоточенно колдующего над антропологическими расчетами; яростно ревущего «мессера», расстреливающего в открытом поле беззащитных женщин и детей; пароконной повозки, нагруженной, как дровами, изможденными человеческими телами, и многое, многое другое, которое, подобно стеклышкам калейдоскопа, складывалось в фантастически страшную, не поддающуюся никаким привычным меркам разума картину с общим названием «фашизм». Он помнил «Гернику» Пикассо. Нет, если он выживет, то нарисует свою картину, скорее всего это будет гигантская фреска, установленная в назидание будущим поколениям, чтобы они знали, что представлял собой гитлеровский рейх — чудовище двадцатого века. Люди должны вечно помнить о нем как воплощении зла, угрожающего Земле, голубому и зеленому миру — прекрасной обители человека.

Не будь он художником, он, наверно, не выжил бы, не вынес всех страданий, доставшихся на его долю. Искусство дало ему веру, дало мечту, заставило, забывая о голоде, холоде и унижениях, складывать в подвалы памяти сокровища наблюдений. Он видел фашизм изнутри, и не может, внушал он себе, не имеет права умереть, не рассказав миру об увиденном. Пусть его вера — заблуждение и другие художники уже рассказали об этом лучше, ярче, талантливее, но он верит, что так, как он, еще не рассказал никто. Ему кажется, что все, даже Пикассо, видели фашизм только страшным, а он увидел его еще и смешным. Да, да, смешным, комичным в своем нервическом дерганье и глупых претензиях стать «юбер аллес». Этим мещанам, колбасникам, официантам очень нравилось воображать себя мифологическими героями, бесстрашными дикарями в звериных шкурах. И таким же внутренне убогим, но внешне напыщенным было обслуживающее их искусство. Разве эти воинствующие кретины могли оценить скорбную задумчивость рембрандтовских полотен или просветленные интеллектом творения Леонардо? Они удивлялись: маленькая картинка, а стоит дорого. Им подавай массу! Впервые он увидел этакое многопудовое изображение героя, когда его гнали этапом в Штукенброк. На вершине горы, поросшей сосновым лесом, красовалось бронзовое чудовище в пернатом шлеме, вооруженное неправдоподобным гигантским мечом. Он прики-

нул на глазок вес меча: наверно, потянет тонн на пятьдесят, н решился спросить у конвонра, тощего лопоухого юица с надмеино блестевшими очками на посиневшем от ветра носу, кому поставлен этот «выразительный» памятник. «Дас ист унзере Германн Гроссе!» — «наш Германн» — с гордостью ответил конвоир н выпятил грудь. «Не слишком ли много бронзы для одного человека?» И хотя этот вопрос был задан с невинным видом, немец уловил здесь оттенок иронии и пинком прекратил дальнейшие расспросы...

«Тот, кто мыслит, — умирает последним!» Точно лн это? Иногда ему казалось, что в жизни бывает наоборот. И все же он радовался тому, что в страшных, невыносимых условиях, где вместе с человеком высыхал его мозг и последними оставались жнть только два чувства — страх н голод, к нему и во сне и наяву приходили образы. Значит, он жнв! И если он чего-то боялся, то лишь одного: потери способности мыслить образно. Он боялся перестать быть художником. Потому что знал: перестаиь он им быть, и голод и болезни тут же свалят его. Искусство было его пищей, и лекарством, и спасением от сумасшествия — всем тем, что звало жить и вселяло надежду...

И он выжил: освобожденне пришло к нему, как и к тысячам других заключенных в этом лагере, в первую апрельскую ночь победного сорок пятого года. Перед этим где-то неподалеку три дня н трн ночн раздавалнсь тяжелые взрывы. По лагерю пронесся слух, что американские самолеты готовят плацдарм для высадки десаита. В небе, за облаками, не переставая шумело: мы зиали, что там летят воздушные армады союзииков. В этот густой мерный шум лишь изредка врывались другие звуки — взгливая пулеметная строчка или утробиое завывание раненой машины. Это отдельные немецкие истребители отваживались нападать на вражескую армаду и падали, срезаииые массированным огнем охраненния...

Потом, через несколько дней, мы узнали, что американцы высадили десант на пепел, в который онн превратили землю н все, что было на ией. Поднятый взрывамн воздушный шквал докатился и до лагеря. Несколько бараков в западиой части, именно те, в которых никто не жил и где располагались «шу» и «мантель»- мастерские, то есть где днем работали пленные сапожники и портные илн находились склады угля н торфа, стали кре-

ниться набок, как карточные домики, и два или три из них полегли. Это случалось при бомбежках и раньше. Но то, что теперь немцы не пришли и не заставили пленных поднять эти бараки и снова закрепить их винтами, ясно говорило несчастным и жаждущим свободы людям, что плену наступает конец. Были и другие признаки: на третий день бомбежки пленным выдали с утра вместо обычной грязной и пустой похлебки крутую сладкую кашу, а в обед — мясной суп с чищеной картошкой и по котелку сладкого кофе... И эта благодать, не свалившаяся с неба, а выдаваемая, как понимали, по распоряжению «самого» коменданта, высокого, прямого, сухопарого немца с бледными, бесстрастными глазами, может быть, лучше всего сказала о случившемся: именно по ней пленные решили, что их мучителям «капут».

Так оно и случилось: в эту ночь узники, в том числе и художник, стали свободными. В их барак прибежал из ревира, где уже работал «штаб освобожденных советских граждан», Леня Волóшенков и сказал, что немцы из комендатуры капитулировали и вся власть пока перешла в руки штаба. «Наши», он назвал полковника Куринина, врача Сильченко, еще кого-то из активистов, вышли на связь с союзниками, чтобы решить вопросы о дальнейшем пребывании бывших узников на чужбине. «Ура!» — закричал кто-то, и все подхватили. «Домой когда поедем?» — стали спрашивать у Леонида, словно он был пророком или по меньшей мере вершителем их судьбы. И Леонид важно, как положено представителю «штаба», отвечал: «Скоро, после окончания войны». И снова все кричали «ура!».

«Домой! Братцы, мы поедем домой!» — раздавалось вокруг. Но художник почему-то молчал. Нет, он был счастлив, может быть, еще больше других, только опять, по странному капризу души, в ней прозвучала какая-то тревожная нотка. Или он увидел в окно, как по дороге тащится, словно ничего не случилось, скорбная повозка, нагруженная трупами? «Боже, как страшно, — подумал он, — умереть в эту ночь!» Плен и свобода, смерть и жизнь, как ночь и день, встречались в этот предрассветный час.

«А как же быть с кладбищем? — услышал он рядом тихий голос и вздрогнул. Кто-то из присутствующих будто угадал его мысли. Он повернулся. Высокий, худой, тишайший Володя Крюков, романтик и мечта-

тель, не приспособленный к жизни, как большинство людей, которые всегда занимались только наукой, держал за пуговицу «представителя штаба» и как бы его допрашивал. А тот растерянно отвечал, что этот вопрос «штаб» еще пока не решил, но обязательно решит. «Да, да... — твердил Володя, близоруко щурясь и моргая короткими ресницами... — Я думаю, что кладбище надо как-то оформить... ну, положить туда какой-нибудь камень с надписью, что здесь лежат наши, советские, люди... ну, чтобы его никто не мог осквернить... Я думаю, это обязательно надо сделать... только вот как... как?»

И в этот момент — он не забылся, как не забылись в его жизни первая любовь, первый бой или первая встреча с творением гения, который стал для него идеалом (это была «Сикстинская мадонна» Рафаэля), — художник почувствовал, что какая-то искра, вспыхнув в душе, пробежала по телу... «Я, — сказал он себе, — отвечу на этот вопрос. Я должен!»

Что случилось потом — помнят другие, тот же Володя Крюков, который бегал по баракам, спрашивая у врачей, у санитаров, у больных, нет ли у них хотя бы кусочка чистой бумаги. Тогда пригодилось все — страничка из регистрационной книги или незаполненная карточка, лигнин, применяемый при перевязках или гипсовании в операционных, и особенно немецкие плакаты, призывающие к борьбе с бациллами, вывешенные по распоряжению врача из комендатуры у входа в ревир, — эти напечатанные на хорошей, толстой бумаге никому не нужные раньше, а теперь так пригодившиеся из-за своей белой чистой изнанки...

Он помнит одно: как рисовал эскизы памятника. Первое, что пришло в голову, была звезда — символ идеи, с которой жили и погибали наши люди, и вечный символ надежды, озаряющий человеческую жизнь, какой бы тяжелой и страшной она ни была... Звезда! Но где поместить ее? На чем? Положить на землю и в центре ее вмонтировать чашу с Вечным огнем? Или поднять на постамент? Или, может быть, увенчать ею арку, которая будет служить одновременно главными воротами на кладбище? Ему вспомнились арки, сооруженные в Париже, в Берлине, в Москве... Нет, здесь должно быть другое, узники — не триумфаторы, и подобная арка будет неуместно помпезной... И все же где-то теплилась мысль, что в бравурном марше Победы есть и их ноты, их голоса. Но не надо ничего лиш-

него, картинного, никаких триумфальных арок! Памятник должен быть простым и строгим, даже суровым, как их жизнь и смерть здесь, на этой злой, прóклятой ими земле.

Но что бы то ни было, в центре композиции — это он знал, чувствовал, в это верил — должна быть звезда. Да, звезда, только звезда... Это билось в мозгу: одно слово, один образ. Звезда — символ, звезда — надежда. Пусть тысячам мучеников и борцов не удалось дожить до Победы, дожили другие. Надежда обернулась памятью о них, живших когда-то, и если память жива, значит, они не просто тлен, достояние червей... Одна жизнь переходит в другую, мысль — в мысль, страсть — в страсть... Люди связаны между собой общностью дел, страстей... Люди тоже как звезды, чей свет есть вечно общее. Одна звезда — еще темно, две — светлее, а когда много звезд и они светят ярко, то нет ночи. Ночи нет! Но как показать эту общность?

Вначале он поднял звезду высоко на шпиле — на этакой тонкой стреле, словно вознесенной в небо. И лучи у звезды были длинные и тоже тонкие, особенно верхние... Как худые руки, протянутые к небу... Или как штыки...

Он нарисовал несколько эскизов, чуть приближая звезду или удаляя. Нет, что-то не то. Не то. А почему? Какие-то чужие, не русские эти «колючки», нет простоты, основательности! А что есть русское? И почему только русское — ведь в тех могильных рвах лежат и русские, и украинцы, и татары, и евреи... Но звезда, пожалуй, все равно должна быть русской: язык был русским для всех, был характер, была душа — общие... Так поймут люди его замысел!

Он переписал звезду — теперь она стала приземестее, но не потеряла стремительности, полета. Просто полет стал «земнее» и ближе сердцу, а не только уму. «Умом Россию не понять...» — вспомнились почему-то строчки. Да, одним умом — не понять. Это чужеземцы хотели, всегда, все века, пытались взвесить русскую душу на своих «сверхточных» весах, разгадать по своим мудреным книгам все ее секреты. Но не разгадали! Ее веселую ясность принимали за легкомысленность или, паче, пустоту, основательность — за тяжеловесность и неповоротливость, свой, незаемный, подход к жизни и людям — за косность...

Теперь все было в этом простом и великом симво-

ле — и ясность, и основательность, и желание светить миру и людям. И все-таки чего-то еще не хватало. Он снова то поднимал, то опускал звезду над постаментом. Нещадно дымил самокрутками, благо что его снабдил табаком — в порядке «творческой помощи» — тот же Леонид. Бил себя кулаком по лбу, словно высекал искру. На разбросанных в беспорядке на столе, где обычно резали хлеб, эскизах уже лежал розоватый свет начинающегося дня...

И вдруг его осенило. Он нашел! Он понял, что все это, лучшие свойства души, надо подчинить одному, главному — в котором и заложен секрет всех прошлых и будущих побед, — стремлению к союзу честных людей, к солидарности. Он быстро перерисовал эскиз: теперь на постаменте возвышалась не одна, а три звезды, своими лучами стыкующиеся друг с другом. Художник отставил эскиз на расстояние, посмотрел и впервые остался доволен. «Так! Только так!» — сказал он себе. Широкогрудые звезды с протянутыми друг к другу лучами-руками. А обелиск-штык, обелиск-стрелу можно оставить: он как бы пророс из звезд, из этих объединившихся в своем стремлении душ.

Посмотрел друг — милый, добрый ученый Володя Крюков— и тоже остался доволен, даже не посомневался насчет возможностей осуществления этого замысла, превосходящего все, что он сам еще недавно предлагал. Снова прибежал неугомонный Леонид, наморщил высокий лоб и потащил художника с его эскизом в «штаб» — показывать «начальству». Все это со стороны могло казаться немного наивным — ни «штаб», ни «начальство» еще никем официально не были назначены, но утверждение эскиза прошло по-деловому и без проволочек. «Надо строить!» — сказало «начальство». И вскоре по лагерю пошла команда: «Кто строители — в штаб!»

Каждый помнит свое, сокровенное.

А что запомнили они — эти сто или сколько их там было человек, которые теперь снова стали строителями, точнее, «особым подразделением по строительству памятника»? Молодой лесок с двумя домиками на опушке — какой-то брошенной бежавшим хозяином-эсэсовцем фермой, огромный луг с неровной, бугристой поверхностью, покрытой бледной, словно не весенней, а уже предосенней травкой, тихо журчащий по камушкам

ручей — приток недалекого отсюда Эмса и утренний влажный ветерок, неприятно щекотавший их одетые еще в тряпье, хилые, едва набирающие соки жизни тела́... Здесь, на этой равнине, они должны построить памятник и «разбить» и оборудовать кладбище, и не просто кладбище: гигантский мемориал на площади в несколько квадратных километров!

Сейчас кажется чуть ли не фантастикой, как можно было осуществить этот проект без каких бы то ни было заложенных под него средств. Без плановых поставок, без фондов зарплаты и т. д. и т. п., то есть без всего того, к чему мы привыкли в нашей повседневности. «Минутку, минутку! — может воскликнуть какой-нибудь солидный «дядя» из породы скептиков. — Вы говорите: стройка шла, и к тому же сверхударными темпами, а где, простите, брались материалы? Падали с неба? Кто обеспечивал номенклатуру, да еще такую обширную: тут и мрамор, и портландский цемент, и бронза, и легированная сталь, и еще черт в ступе?..» И попросит не рассказывать ему «сказку». Ну как ответить этим скептикам? Разве порекомендовать поехать в Штукенброк и посмотреть там на русское кладбище своими глазами? Или прокрутить назад машину времени и проехать вместе с первыми энтузиастами этой необычной стройки по дорогам Вестфалии и Рура, отыскивая разбомбленные и брошенные хозяевами заводики и мастерские стройматериалов для того, чтобы оживить их и, как говорили наши умельцы, довести до ума? В этих поисках бывшим пленным помогали немцы-антифашисты, подсказывая местонахождение бесхозных предприятий и складов... И человеку с душой и воображением, еще не разучившемуся верить в «нематериальные» чудеса, достаточно взять одну из групповых фотографий, сделанных фотолетописцем стройки, таким же неутомимым, как его товарищи, Александром Михайловичем Богдановым, и вглядеться в лица строителей. Вот они, эти люди! Быковато, исподлобья смотрит на нас блондинистый парень в пленной робе — он даже еще не успел сменить ее на что-нибудь более благопристойное! — художник-оформитель Толя Гнилов. «Мрачная личность!» — сказал бы, поглядев на него, тот же «солидный» скептик. А Толя был добрейшим малым, надежным товарищем, веселым, неунывающим человеком. Просто он не спал несколько ночей, помогая делать чертежи, — недаром у него опухшие веки. А недоволен он тем, что его оторва-

ли от работы для этих «фото-мото-процедур», как шутливо называли строители богдановские попытки запечатлеть на пленке все мало-мальски интересное. Ох уж эти летописцы! Как их ругают иногда — и всюду они суют свой нос, и мешают в самый горячий момент... А потом, спустя многие годы, те же ругатели сокрушаются: надо было бы вот это заснять и еще вот это... И проливают скупую слезу над каким-нибудь пожелтевшим снимком, на котором узнают себя прежних — молодых, сильных, горячих... Не надо ругать летописцев: это их напористой неугомонности мы обязаны тем, что́ греет нас в старости. Они спасают нас подчас от тех же «скептиков», не верящих в наше доброе и славное прошлое. Чем мы можем в наших поздних немощах защититься от ранящего пренебрежения, от обидного забвения, каким щитом? Только документом, как это порой ни смешно. Так воздадим же хвалу летописцам, правдивым и беспристрастным. Если бы не они, то сколько бы еще людей и событий кануло в Лету?

А здесь мы их видим воочию — еще худых и еще не совсем окрепших, но безмерно счастливых энтузиастов. Нет, им никто не говорил перед съемкой: «Сделайте веселое лицо!» И никто не выбирал для них позу. Этого и не требовалось. Работа на стройке, работа от души, во имя высокой цели, сделала их счастливыми, всех — от начальника «подразделения», опытного инженера Виктора Хоперского и его соавтора по техническому проекту памятника Николая Смирнова, воплощавших в строгие расчеты художественные замыслы, до переквалифицировавшегося на время в «поэты» Владимира Крюкова, взявшегося писать намогильные тексты, или талантливых металлистов-универсалов, получивших в руки наконец настоящее дело, двух Леонидов — маленького, блондинистого и светлоусого Лени Кучеренко и широкогрудого, мускулистого, порывистого Лени Волошенкова.

Все они работали неистово, по двенадцать-четырнадцать часов в сутки, словно знали, что срок на постройку им дан короткий: война скоро кончится, и они поедут домой, где надо будет работать так же неистово, ибо дел дома под завязку, немец бед натворил, а кому же еще выхаживать зёмлю из этих бед и на скорбном пепелище поднимать заново заводы, распахивать целину, сажать сады... Будущее представлялось им прекрасным, полным солнечного света, любви и ласки, и это — неза-

висимо от мыслей о предстоящих трудностях, нет, именно — в связи с ними. Почти у всех у них было счастливое ощущение своей необходимости на Родине, и потому, что они думали, или, вернее, чувствовали так, им здесь, на клочке чужой земли, которая сейчас стала для них как бы родным островком, оторванным от материка, — так же хорошо и дружно работалось. Все они были не ангелами, а обычными людьми — плотниками, каменотесами, бетонщиками, литейщиками, слесарями, к тому же они прошли и войну и плен, пахли махоркой и потом, разговаривали хриплыми голосами, иной раз (о ужас!) — матерились, добродушно, а случалось и не очень, даже могли дать друг другу по сопатке, конечно — за дело; и все-таки было во всех этих людях что-то и впрямь святое, какая-то неземная просветленность, будто бы жизнь, пропустив их через свое горнило, очистила их души от грязных примесей... Без приказов свыше, без угроз или посулов они — с самого первого дня! — установили для себя такой порядок, какому могла бы позавидовать любая, самая образцовая воинская часть.

А вот еще одна фотография. Строители расположились группой в пять-шесть ярусов у постамента уже построенного памятника. В уголке фотографии написано: «Апрель 1945». Зная, что это было, я все равно не верю глазам и долго, с помощью лупы, вглядываюсь в туманный пейзаж. Впереди — густые темные деревья, именно они смущают меня. Но потом я вспоминаю, что это сосны: лес, окружавший лагерь, был хвойный... А вот дальше, на взгорье — по ту сторону холма, где находился карьер и откуда брали камень для стройки, — лес светится: это липы, они едва тронуты зеленью.

Все правда! Точная дата фотографии колеблется где-то между двадцать седьмым и двадцать восьмым апреля.

Меньше месяца прошло со дня освобождения из плена — путь от эскизов до готового памятника. Как много может сделать человек! И сколько же у него сил, если он хочет. Если у него так горят глаза, как у этих, еще худых и ни минуты не отдыхавших людей. А глаза, говорят, зеркало души...

С тех пор прошло почти четверть века. Я знал, что мой друг-художник упорно трудится — оформляет театры, Дворцы культуры, станции метро. Но встречаться нам почти не удавалось.

Однажды, где-то уже в конце шестидесятых годов, вдруг получил по почте конверт с приглашением на выставку московских художников-монументалистов. К приглашению был приложен роскошно изданный проспект выставки. «Александр Антонович Мордань» — значилось в списке авторов. С большой, отливающей свежим глянцем фотографии смотрел мой друг — раздобревший, в хорошем костюме и модном галстуке, с лицом значительным, даже чуточку важным. «Он ли это? — с улыбкой подумал я. — Или те, кто попадает в эти роскошные проспекты-каталоги, не имеют права выглядеть иначе?»

...Долго брожу по выставочным залам, рассматривая развешанные по стенам картины и эскизы. Наш друг немало потрудился. Со стен глядит мирная героика наших дней — уверенные в себе хлеборобы с натруженными руками на фоне бескрайних полей и золотистых валков скошенной пшеницы; статные русские красавицы с гордыми и строгими лицами, чем-то похожие друг на друга... Доярки, строители, сталевары, горняки...

Что ж, хорошие работы — красивые, мастерски сделанные. Мысленно поздравляю друга. Мне приятно, что возле его картин людно. Но где же та, памятная н а м работа? Нет ни эскизов, ни фотографий...

Ищу художника, чтобы рассказать ему о своих впечатлениях. Но Сашу не так-то легко теперь найти: он член каких-то комиссий, жюри, день забит делами до отказа. С трудом обнаружив его на одном из заседаний, предлагаю вместе пообедать где-нибудь и заодно поговорить. Куда там, ему не до обеда! «Встретимся вечером, у меня в мастерской!».

...— В карете прошлого далеко не уедешь, — говорит Александр, поднимаясь по узкой лестнице, ведущей на мансарду, — ты литератор, должен знать, кто это сказал.

Мой друг прерывисто дышит — день выдался нелегкий, да и сердце, вероятно, уже начало сдавать, хотя сам он в этом не признается. Дойдя до двери, долго возится с ключом, руки слегка подрагивают.

Чувствую, что мои слова задели его за живое.

— Памятник! — продолжает художник, посадив меня на мягкий потертый диван и усаживаясь напротив в такое же кресло. — А ты уверен, что он сейчас цел? Или газет не читаешь? Мой друг тянется к столу, до-

стает папку с газетными вырезками. — Вот, о вылазках фашистов и неофашистов — в Дортмунде, в Дюссельдорфе, в других городах Западной Германии. Мерзавцы оскверняют могилы жертв гитлеризма, борцов за мир. Сколько памятников разбито, уничтожено, среди них, наверно, и наш. Мало того, у кощунства ведь нет пределов — эти изверги могли сейчас осуществить то, чего не удалось им сделать тогда, при отступлении: распахать кладбище, чтобы уничтожить нежелательные для них следы. Так как же теперь докажешь, что там были и памятник и мемориал? Нет, брат, наше искусство — материально, здесь одним словам не верят.

— Но что было сделано — люди знают. В той же Германии... — Я вспоминаю пожилого, добродушного немца-рабочего, бескорыстно и по своей воле помогавшего нашим строителям. Мне на память приходит не только его имя — Генрих Генкенйоган, но и беззлобное, дружеское прозвище, которое дали ему наши ребята за неизменно красовавшуюся у него на голове поношенную кепку. — Ну, хотя бы этот Генрих, — говорю другу, — вы его еще звали «Кепочка». Он ведь из Штукенброка, написал бы ему!

Вижу, что художник страдает, только не подает вида.

— Писал... — глухо откликается он. — Не ответили.

— Странно, — бормочу я. — Вроде был неплохой парень.

— «Парень»! — Друг усмехается. — Тогда уже, кажется, разменял шестой десяток. Значит, сейчас ему под восемьдесят, если жив.

— Ну не он, так другие — Ли́бель, Па́ричка, они ведь помнят?

— Чудак! Да если они даже помнят, то побоятся ответить. Или их письмо перехватят те же фашистские недобитки. Сейчас ведь идет «холодная война», понимаешь — война!

Он машет рукой, как бы отгоняя от себя тревожные мысли.

— Поговорим лучше о выставке. Тебе понравилось?

— Скажу одно: ты — молодец!

Художник насмешливо качает седеющей головой.

— Так говорят, когда не хотят обидеть. Тогда давай по порядку. Не впечатляют тебя мои работы?

— Впечатляют.

— Рука моя не ослабела?

— Наоборот: как мастер ты вырос.

— Так в чем же дело?

Молчу, подбирая слова. По себе знаю, как ранит душу иная, пусть даже справедливая, критика. Ведь за каждым творением художника сокрыты труд, мучительные искания, бессонные ночи. Но и не сказать правду нельзя, какой же тогда я друг?

— Мне кажется... как бы тебе объяснить... хотелось бы увидеть больше твоего... личного. Ведь наша судьба неповторима. К тому же, разве она не обвинение фашизму, а значит, и неофашизму?

— Так, так... — обиженно тянет художник. — Значит, недодаю, потому что бегу от самого себя? Не «самовыражаюсь», да?

— Не усложняй, просто каждый должен иметь свою тему, свою «жемчужину», что ли. Вспомни, как она образуется? Из песчинки, попавшей в тело моллюска, а следовательно, из его страданий...

— Понятно, понятно, — перебивает друг, откинувшись в кресле и полузакрыв глаза. — Ты говоришь прописные истины. Хотя, возможно, в чем-то ты и прав.

Искусство — это как бой, — продолжает он, помолчав, — оно требует от художника не меньше мужества, чем война от солдата. Может быть, даже больше: тут ведь борешься не только с «врагом» — сопротивлением материала, но и с самим собой, а это самая тяжелая, самая трудная борьба.

Не меняя позы, он протягивает руку, достает из коробки на столе папиросу, закуривает.

— Вот ты сказал, — возвращается он к прежнему, — что мои работы на выставке тебе понравились, но показались легковесными, что ли, не слишком тронули душу. А знаешь почему? Молчишь? Хочешь, я тебе сам скажу? Потому что в нас обоих все еще живет прошлое, да, да, и во мне тоже! Оно засело в сердце, как стрела, и заглушает все другие впечатления. Красивые слова: моллюск, страдая, рождает жемчужину. Но человек, тем более художник, не моллюск, у которого одна жемчужина за всю жизнь. Мы переживаем в своей душе десятки, сотни жизней, и каждая из них должна рождать образ... Ладно, — он слабо машет рукой, — я устал от мыслей. И вообще... устал.

Он снова умолкает. Молчу и я. В широкое окно мне видна панорама вечерней Москвы. Сверкают, переливаются россыпи огней, и среди них пламенеют, словно налитые соком граната, рубиновые звезды Кремля.

Символ свободы, надежды, счастья... Я невольно вспоминаю другие звезды, из красного камня, вспоминаю, как наши люди любовно гранили их, как бережно поднимали на высоту. Неужели об этом можно забыть?

Хочу спросить и не решаюсь. Художник продолжает молчать. По-видимому, сказанное мною глубоко ранило его душу. Он сидит, не двигаясь, и если бы не дымок, идущий к потолку, могло бы показаться, что мой друг заснул. В такие моменты, я знаю, лучше оставить его наедине с собой.

Поднимаюсь и ухожу, тихо прикрыв дверь.

На этот раз он позвонил мне сам. Голос веселый, но уже со старческими нотками. «Я только что из Штукенброка, есть новости, приезжай!»

Бог мой, сколько лет прошло, как мы не виделись? Художник еще больше пополнел, голова совсем седая, в лице легкая желтизна. Но рука крепкая, привыкшая к труду.

Мы обнимаемся на пороге его мастерской, тискаем друг друга, пытаясь показать, что наши силенки еще не истрачены, что есть еще порох в пороховницах. Саша держится молодцом. А главное, он работает. Работает много, усердно — это я вижу по расставленным вдоль стен планшетам с рисунками и чертежами, по листкам бумаги с вариантами замыслов, разбросанным в беспорядке на столе, подоконниках, даже на знакомом мне диване, служащем и кроватью для хозяина, когда он устанет, и почетным креслом для гостей.

— Прости, — с присущей ему прямотой говорит художник. — Я сейчас варюсь, как грешник, в котле новой работы, так что не буду убирать бумаги. Садись на стул, — он сдувает пыль с сиденья, — не обессудь. К тому же мягкое расслабляет. А мы с тобой должны всегда быть в форме. Так вот, — мой друг морщит лоб, выражение лица становится значительным, — тебе привет от Вернера Хёнера и других активистов кружка «Цветы для Штукенброка». Дело они делают большое, полезное. Ты видел кладбище? Если бы не они, его дав-

но осквернили бы фашиствующие молодчики. А сейчас? Я рад... понимаешь, рад... за внимание к нашим людям... к их памяти... — Мой друг смахивает набежавшую слезу. — Да, да. Но работать еще надо: вырубить подрост, обновить памятник. Я уже говорил об этом в нашем комитете ветеранов войны и с немцами. Кое в чем и сам помог, — бросает он как бы между прочим. — Однако я не о том.

— А о чем же?

— Догадайся. Это ведь, кажется, была твоя идея?

— Музей в Штукенброке!

— Именно. Наши друзья из кружка разделяют мысль о его создании, может быть, там же, на территории кладбища. Но со средствами у них пока туго. А местные власти, которых мы посетили, жмутся. «Вот если будет достаточно экспонатов, — говорят, — тогда можно ставить вопрос».

Теперь я задет за живое.

— Да это же бюрократическая отговорка. Если бы речь шла о музее какого-нибудь курфюрста, средства, наверно, быстро бы нашлись...

— Возможно. Но наш долг, — понимаешь, наш, пока мы еще живы, — помочь кружку. Помочь делу мира.

— Так что ты предлагаешь?

— Приступить немедленно к сбору экспонатов.

— Что там подразумевают под этим словом?

— Рассказы бывших узников, на бумаге или на пленке, всякие реликвии — колодки, в которые нас обували, железные номерки, которые нам вешали на шею взамен имени и фамилии, креса́ло, которым мы высекали огонь, подобно пещерным жителям... Да мало ли что!

— Понял. Только, увы, у меня ничего этого нет. Разве мы думали тогда о каком-то музее?

— Ты прав, не думали. Но, может, кто-то из наших все же сберег... для памяти?

— Послушай, — говорю я, — ведь все это можно изобразить в картине!

Художник сдвигает свои все еще черные брови.

— Понял, куда ты гнешь. — Он усмехается. — Тебе сколько лет?

— Ну, скоро шестьдесят.

— Младенец! А мне уже за семьдесят. Потяну ли я?

— А это, — киваю на стоящие у стены планшеты, — тянешь?

— Чудак! То больше — мастерство, не жар сердца. К тому же у меня есть ученики, подмастерья. А здесь я должен работать один. И в полную силу. Это должна быть не обычная, не проходная работа, которая — видишь! — тоже непросто дается, а воплощение всех моих мечтаний, моя песнь песней. Ты понял?

— Понял. Но Тициан в твои годы...

— Тициан! Он жил сто лет! И не был в концлагере!

— Я верю: ты сможешь. Памятник — тому доказательство!

— Опять? Тогда мне было тридцать три года. Возраст Христа, отправленного на Голгофу...

— И все-таки я верю!

Художник умолкает, испытующе смотрит на меня.

— Хорошо, призна́юсь только тебе: есть у меня такой замысел. Решил: закончу эту, договорную, работу, — он показывает на бумаги, — и возьмусь. Просто так, без договоров и авансов. Все отдам, что за душой, все, на что способен. Если... если успею.

Он не успел. Было предзимье, время трудное, тяжелое, особенно для сердечников, когда меня известили, что наш друг-художник умер. Мы, старые товарищи по лагерю, поехали проводить его в последний путь.

Стояли, жались тесной кучкой у гроба, исполняя тяжкую обязанность прощания с человеком, которого когда-то знали молодым, беспредельно верящим в жизнь, в свои силы. Мы всегда завидовали его страстности, его вдохновенной напористости — он сохранил эти качества до старости. Наш Саша даже болел «беспокойно»: попав в больницу с тяжелым сердечным приступом, пытался читать, рисовать, едва отходила боль, вставал с койки. Так и умер, как солдат в бою: смерть подкосила его, стоящего посреди палаты, он упал, ударившись виском о тумбочку, и через минуту уже не дышал.

Гражданская панихида. Говорят художники. Говорят просто знакомые: люди, рядом с которыми Александр Антонович жил, трудился, к кому ходил в гости.

По поручению товарищей говорю и я. Слов уже не помню, помню смысл. «Может спать спокойно тот, кто оставил добрый след на этой земле. А он — оставил!» Показываю собравшимся большой круглый значок —

эмблему рабочего кружка «Цветы для Штукенброка». В центре значка изображен наш памятник, его памятник. С этим значком на груди выходят на манифестации мира тысячи людей. Борются против фашизма и войны. Зовут к дружбе народов и солидарности — лучшему будущему человечества.

Вот и все. Но меня удивило после моих слов недоумение на лицах собравшихся. Один из художников отвел меня в сторону. «Это же великая честь — такое признание! — сказал он. — Почему же мы не знали?»

Но и мы не знали, почему он молчал. Вероятно, потому, что истинная любовь скромна...





СВИТОК БОГИНИ КЛИО

Господин Вундерлих, плотный, но подвижный человек в темных роговых очках, которого мне представили как «аборигена» Билефельда, подводит меня к самому заурядному особнячку с вывеской конторы средней руки. Ничего примечательного: серые стены, покрытые гранитной крошкой, крыша из серого шифера, выложенные серой плиткой ведущие в сад дорожки...

— Вот и ваша бывшая резиденция, — говорит немец, с любопытством посматривая на меня.

Не знаю, виновата ли моя плохая зрительная память или что-то другое, но этот дом почему-то мне представлялся совсем другим. Может быть, его перестроили? Если что-то осталось от бывшего «Бристоля» — какие-то детали, — все равно сам дом узнать трудно.

В нем сейчас нет ничего романтического.

— Но ведь тогда вам было немногим больше двадцати, — говорит Вундерлих, — не правда ли? А у юности всегда на глазах розовые очки. — Он лукаво улыбается. — Имелись, наверно, и другие мотивы. Я тоже когда-то был молод и знаю...

Герр Вундерлих вызывает меня на откровенность. Но я отвечаю ему улыбкой. Мне почему-то всегда смешны попытки людей проникнуть в чужую душу, чтобы навести в ней порядок и все поставить на свои места.

«Другому как понять тебя?» Сейчас, оглядываясь назад, я вижу — это была, наверно, самая прекрасная пора в моей жизни, в жизни моих товарищей. Закончилась война, рухнул фашизм, пришла свобода. Нам предстояло возвращение на Родину. В ожидании заветного часа мы не сидели сложа руки, а работали, занимались любимым делом — выпускали газету, единственную в своем роде. Вот у меня в руках подшивка — я привез ее в дар будущему музею в Штукенброке. «Родина зовет» — она издавалась для советских граждан, освобожденных из фашистской неволи. Семнадцать номеров, последний вышел уже поздней осенью.

И я говорю, не столько вслух, сколько в душе: нет, это не просто газетные страницы. Это страницы Времени. Страницы Любви...

Вот одна из них, самая последняя.

С легким шумом открылась штора, в комнату хлынул свет.

Мы с Андрюшей вскакиваем как по команде и, сидя на широких бюргерских кроватях, поспешно протираем глаза. Перед нами стоит капитан Бадиков, наш редактор, подтянутый, немного торжественный, пахнущий одеколоном. Он в полной форме, с пистолетом и планшетной сумкой на боку.

Сейчас нам будет взбучка: вчера мы опять прогуляли.

Но редактор не замечает наших смущенных физиономий.

— Ребята, — говорит он, — я только что из миссии. Приказано готовить отчетный доклад, наметить план эвакуации.

Сон с нас как ветром сдуло. Еще бы! Этого часа мы ждали почти полгода, каждый день.

И все же я спрашиваю:

— А как же с очередным номером газеты?

— Выпустим последний в основном за счет тассовских материалов. Передовую мне уже дали.

И тут же мы получаем задания. Я должен написать очерк — историю газеты — и заказать иллюстрированные альбомы. Их отправят в Москву, в Музей Революции, а мой друг Андрюша, помощник капитана по части материального обеспечения, займется подготовкой на-

шего автопарка. Домой мы поедем своим ходом, на редакционных машинах.

Мы быстро одеваемся и спускаемся вниз, в столовую. Повар дядя Кузьма (он еще ничего не знает) журит нас, как обычно, за поздний подъем и жалуется, что американцы, у которых мы получаем продукты, опять всучили ему тушенку вместо свежего мяса.

— Привыкли, что ли, там, у себя, жить на одних консервах, — ворчит он, — а это же не питание, тьфу! Сочности никакой, калориев тоже. И с чего они, черти, здоровые как бугаи? Али это одна видимость?..

Мы с Андрюшей не слушаем его, наспех проглатываем поджарку, залпом выпиваем по чашке кофе и расходимся каждый по своим делам.

Я выхожу на Детмольдерштрассе, прыгаю на ходу в трамвай и еду в центр, где находится типография, печатающая нашу газету.

В трамвае всего несколько пассажиров: старуха в плюшевой кофте с потертыми меховыми обшлагами, с большим узлом на коленях, однорукий небритый мужчина в зеленой военной форме с темным следом ефрейторской лычки на пустом рукаве, двое парней в плащах с поднятыми воротниками и без шапок, вероятно, ученики какого-нибудь частного колледжа (университет еще не работает), и девушка — миниатюрная, с миндалевидными темными глазами. Лица у всех сумрачные, усталые, какие-то безразличные, и я ловлю себя на мысли, что там, на моей Родине, совсем другие люди — разговорчивые, общительные даже в самом тяжелом горе. А сейчас, когда мы победили, у нас повсюду, наверное, не умолкают шутки, смех...

В груди у меня поет. Я уже представляю себя — веселого, в новенькой форме, в окружении родных и друзей, — идущим по главной улице моей родной Пензы, и снисходительно поглядываю на понурых немцев. Девушку мне почему-то немного жалко, может быть, потому, что она напоминает мне Гизелу...

Толстая кондукторша сидит, подставив лицо осеннему солнцу. Полузакрыв глаза, она меланхолично жует репу, нарезанную ломтиками, и нехотя объявляет остановки: Крейцерштрассе, Шулештрассе, Опера... От оперного театра осталась лишь груда бурых кирпичей и скрюченных железных балок — здание разбомбили союзники за неделю до вступления в город, — но остановка называется по-прежнему.

Я выхожу вместе со старухой и пропускаю ее вперед. Она, покосившись на мои погоны, мешкает, потом растерянно улыбается и уходит в переулок, подобострастно кивая и прижимая к груди свой узел.

Вот и типография. В нее тоже попала бомба, но воздушной волной снесло только правое крыло — литографию и линотипный цех. Левое, основное, крыло сохранилось, но теперь все газеты — немецкая, английская и наша — набираются вручную. У каждой газеты свои наборщики. На всех последующих участках работают немецкие полиграфисты. Откровенно говоря, мы поначалу боялись, что немцы могут нам что-нибудь напортить, навредить, но опасения оказались напрасными. Многие немцы — печатники и цинкографы — подружились с нашими ребятами, приглашали их к себе домой, знакомили с семьями. Работают они старательно, аккуратно, и, право, по внешнему виду наша «Родина зовет!» ничем не хуже местного «официоза» «Нойе вестфалише цейтунг»...

Итак, мне надо заказать альбомы. Капитан не сказал, как они должны выглядеть. Он полагается на мой вкус, и я горд этим. Альбомы, предназначенные для музея, решаю я, должны выглядеть красиво, но строго — в корках из темной кожи, с золотым тиснением. Такие же альбомы, только скромнее, будут вручены в день отъезда всем работникам редакции и старшему наборщику — всего десять штук. Конечно, я мог бы договориться о нашем заказе, так сказать, неофициально, с рабочими. Но капитан предупредил меня, чтобы я «соблюдал законность» и «не давал повода».

Иду к самому доктору Зуппе, хозяину типографии. Хотя он безукоризненно выполняет все контракты с нами, я не люблю этого долговязого молодящегося пижона за его высокомерие и шуточки. Часто при встрече в цехах мы обменивались с ним ядовитыми репликами, но всякий раз, когда я пытался вызвать его на серьезный спор в присутствии рабочих, он увиливал.

Сейчас Зуппе, как ни странно, встречает меня с преувеличенной любезностью. Он не глядя подписывает заказ и угощает меня настоящей «гаваной», которая по теперешним временам стоит не меньше сотни марок.

— Я слышал, мой юный друг, — говорит он, сверкая золотыми зубами, — что вы скоро уезжаете?

— Возможно, — уклончиво отвечаю я. Мне неприят-

но, что этот тип уже знает о нашем отъезде. Наверняка его предупредили союзники.

— Я давно собирался поговорить с вами, — начинает Зуппе, — как это принято у вас, в России, по душам (последнее слово он произносит по-русски: у него получается «по дюшам»). Вам понравилась Германия?

— Исключительно. Особенно когда я был в концлагере.

— Это прошлое! — отмахивается Зуппе. — Я тоже пострадал от войны. Но мы, немцы, философы и предпочитаем думать о будущем.

— Немцы бывают разные, — замечаю я. — Есть честные люди, а есть фашисты.

— Я не фашист, — быстро перебивает Зуппе, — я никогда не принадлежал к наци.

— Но вы же хозяин, эксплуататор.

Зуппе вскакивает, снова подходит к сейфу и возвращается с толстой книгой.

— Я пролетарий, трудящийся! — с вызовом заявляет он, кладя передо мной книгу. — Вот моя диссертация. Я трудился над ней всю жизнь, не разгибая спины.

Доктор выпячивает грудь. Вся его фигура, от кончиков лакированных штиблет до безукоризненного пробора, в котором не видно ни одного седого волоса, дышит самодовольством:

— Это важный вклад в науку!

Я беру книгу в руки, читаю: «Что такое вестфальский гобелен и характерные черты его истории». Листаю страницы: сплошные цитаты и сноски, много ярких иллюстраций.

— Почему же вы сидите здесь? — спрашиваю я. — Идите преподавать, а ваше предприятие отдайте вашим рабочим.

— Мою типографию? — восклицает Зуппе. — Типографию, основанную моим прадедом и переходившую из поколения в поколение как святыня?

И элегантный доктор, вдруг покраснев, резко наклоняется ко мне и показывает кукиш.

— Вот!

Это настолько неожиданно, что я начинаю хохотать.

А мой собеседник уже откровенно злится. Он длинными журавлиными шагами расхаживает по кабинету и говорит, размахивая руками, что коммунистические идеи — бред неудачников, завистников и лентяев, жаждущих поживиться за чужой счет. В мире никогда не

было и не будет равенства, одни люди будут всегда умнее и предприимчивее других, тех, кому по закоиам природы суждено плестись в хвосте. Так же и народы...

Я встаю.

— Спасибо за разговор по душам, — говорю собеседнику. — Теперь мне понятна ваша философия.

Зуппе, опомнившись, умолкает. А вдруг я доиесу иа него в комиссию по денацификации! Конечно, иаши союзники ему иичего не сделают, ио зачем лишиие разговоры?

Он берет со столика свою кингу и пишет: «Русскому офицеру на память о хорошей беседе». Вручает мне и провожает до двери.

— До свидания, герр лейтенант.

— Прощайте, герр доктор.

Скорее отсюда! Бегу по лестнице, обсыпаиной известью, перепрыгивая через три ступеньки, выхожу иа улицу и с иаслаждением вдыхаю прохладный воздух, пахнущий осенью, чуть уловимым дымком.

Вот и трамвайная остановка. От нечего делать рассматриваю подарок, читаю иа последией страиице выходные данные: кинга отпечатана в типографии «Зуппе и сыновья», тираж 300 экземпляров.

«Для родных и знакомых», — думаю я и улыбаюсь, вспомнив докторский кукиш.

Две девушки, которые тоже ожидают трамвая, поиимают эту улыбку по-своему и делают мне глазки. Одну из иих я узнаю: она ехала со мной утром, та, что похожа на Гизелу. Но Гизела моложе и красивее. Как мы расстаиемся с ией?.. Впрочем, об этом лучше сейчас не думать.

Пока я был в типографии и дискутировал с Зуппе, произошло новое событие.

В отеле «Бристоль», где иаходится наша редакция, многолюдно. Редактор собрал весь личный состав — литсотрудников, фотокорреспондентов, печатников, обслуживающий персонал — и вызывает каждого поодииочке к себе. Говорят, что у него сидит кто-то из миссии. Люди взволнованно перешептываются — там, наверху, идет обстоятельный разговор: каждого расспрашивают о жизни в плену, дают заполнять анкеты. Сказано, что это иеобходимо для написания характеристик.

Я немного удивился: разве за полгода нас еще не

изучили? Негодяев среди нас нет, я в этом уверен — они не пришли бы в газету, где каждый был на виду у десятков тысяч своих соотечественников, освобожденных из лагерей. Те, у кого совесть нечиста, наоборот, спешили спрятаться, бежали в леса, скрывались, как крысы, в подвалах и погребах.

Подхожу к лестнице, ведущей в кабинет капитана, и слышу какие-то всхлипывания. Останавливаюсь. Прислушиваюсь... Под лестницей, возле чуланчика, в котором дядя Кузьма хранит свои гастрономические запасы, переговариваются двое: наша машинистка Маша Семенюк и секретарь редакции Петя Струцкий.

— Что ты ему сказала? — допытывается Петя.

— Все... — бормочет девушка, глотая слезы. — Как я сама в сорок втором в Германию завербовалась... Будь она проклята!

— Сколько тебе тогда было лет?

— Шестнадцать.

Петя вздыхает:

— Не плачь, Маша. Немцы все равно бы тебя забрали. А ты хорошая, мы тебя любим.

Из кабинета капитана выходит старший наборщик Николай Михайлович Зубков, кряжистый пожилой мужчина с большим, изъеденным оспой лицом. Обычно Зубков невозмутим и даже несколько самонадеян, но сейчас он тоже выглядит взволнованным. Лицо его красное, точно вышел из бани, на лбу блестят капли пота.

— Ты еще не исповедовался, лейтенант? — спрашивает он меня, вытирая лицо платком.

Я знаю, что Зубков ничем не замаран, почти весь плен он провел в штрафном лагере, был простым «доходягой». Так что же он волнуется?

Я решительно стучу в дверь комнаты Бадикова и вхожу.

— Как дела? — спрашивает капитан, роясь в бумагах.

— Альбомы заказаны, — отвечаю я. — А для очерка мне надо проехать в лагерь, восстановить все в памяти.

— Что ж, возьми мою машину.

За столом, поодаль от капитана, сидит молодой черноволосый лейтенант с гвардейским значком и двумя медалями на груди. Он мне не знаком, но я догадываюсь, что это и есть офицер из миссии. Когда я вошел,

он почему-то закрыл блокнот, в который что-то записывал, и теперь вопросительно смотрит то на меня, то на капитана.

Капитан, оторвавшись от бумаг, представляет меня. Лейтенант сидя протягивает мне руку. Мы равны по званию и, наверно, по возрасту, но, ощущая на себе его взгляд, я почему-то робею. Вероятно, потому, что у меня нет ни гвардейского значка, ни медалей. Или еще почему-то...

— Может, поговорите со мной, — спрашиваю я с вызовом, натянуто ухмыляясь. — А то я уеду...

Лейтенант не торопится отвечать. Бадиков ерзает на стуле, хмурится и бормочет:

— О нем уже говорили...

Лейтенант, выждав еще минуту, кивает:

— Если понадобится, мы вас вызовем. Можете быть свободны... пока.

...Шофер Сашка, проезжая мимо госпитального забора, за которым в гуще желтеющих платанов тонут здания со стрельчатыми башенками, бросает мне:

— Заедем, что ли?

Я отрицательно качаю головой. Не стоит сейчас огорчать Гизелу, я встречусь с ней позже, когда вернемся.

Мои мысли заняты другим. Меня взволновала сцена, которую я увидел там, в редакции, и разговор с лейтенантом из миссии. Собственно говоря, ничего не произошло, сказано было всего два-три слова, но на душе остался какой-то странный осадок. Я хорошо понимаю необходимость всех предварительных процедур, без них нельзя обойтись, Родина должна знать о нас все, должна быть уверена в каждом... И, несмотря на это, мне почему-то сейчас немного тревожно и грустно.

Пытаюсь отогнать мрачные мысли: ведь все страшное уже позади. Мы свободны и поедем на Родину — это самое главное. Мы пережили голод, болезни, побои — до сих пор у меня по ночам ноет спина, по которой не раз прошлась фашистская палка. Но выстоял ли я достойно? Лихорадочно перебираю в памяти каждый свой поступок... Нет, совесть моя чиста. И все-таки я чего-то боюсь. И другие тоже. Мы все, даже самые безгрешные из нас, даже Бадиков, наверно, боимся того, что там, на Родине, могут нам не поверить, что нас не поймут, усомнятся, что мы, пережив плен, остались такими же советскими людьми.

Вспоминаю слезы Маши Семенюк. Да, ей тяжело, тяжелее, чем нам, — у нее на душе пятно. Девчонка, дура, — поверила когда-то немецким вербовщикам, сулившим ей здесь, в Германии, земной рай. А потом расплатилась с лихвой. Здесь с этими девчатами обращались хуже, чем со скотиной, мучили непосильным трудом, издевались. Я верю, что после всего, что было, Родина стала им дороже во сто крат. Но это тоже надо понять...

Начинает темнеть. Шофер включает фары, толкает меня в плечо, прикуривает от моей папироски.

Город давно остался позади. С полчаса мы петляем по узким асфальтовым дорогам, минуя крошечные фабрики, рабочие поселки, помещичьи угодья и наконец выбираемся на автостраду. В открытое окно тянет сыростью и прохладой. По бокам дороги мелькают темные стволы деревьев, за ними в мглистом тумане плывет долина.

Нас то и дело ослепляет резкий свет, и мимо, почти впритирку к нашей машине, проносится какой-нибудь «джип» или «студебеккер». Американцы даже ночью мчатся на предельной скорости. Хотя война давно кончилась, но с каждым днем их становится здесь все больше и больше.

В полночь приезжаем в Гютерсло, маленький городок, откуда рукой подать до лагеря, в котором нас освободили союзники и где родилась наша газета. Утром мы поедем туда, а пока решаем переночевать на станции у начальника транзитного пункта.

Начальник, старший лейтенант Сидоров, тоже из военнопленных, еще не спит. Он сидит в своей каморке за столом и беседует с каким-то пареньком, одетым в поношенный гражданский костюм, явно с чужого плеча.

Мы подсаживаемся к ним и вносим свой пай — кусок окорока. Хозяин ставит сковородку с яичницей.

— Как, начальник, — спрашиваю я, — всех наших домой отправили?

— Кто хотел — всех. Остались те, кто к немкам в приймаки записался, ну да мы их собираем понемногу. Правда, Ромашка?

Фамилия паренька Ромашук, но начальник, краснолицый детина под потолок ростом, зовет его ласково, как девушку, Ромашка.

Ромашук согласно кивает курчавой головой:

— Цих дурней мы запросто, агитацией берем. Есть другие, шакалы, тех клещами не выдерешь...

Он раздирает крепкими белыми зубами хрустящее сало.

Сидоров доверительно склоняется ко мне, говорит, понизив голос:

— Мы с ним здесь, в городе, такое нащупали, что вот уже два дня мозги ломаем, как с этим делом справиться. То ли бомбу бросить, то ли ноту написать.

И он рассказывает, что обнаружил пристанище бывших полицаев и власовцев, которые скрываются в одной из казарм под видом учеников автошколы. Но проникнуть туда нельзя: казарма огорожена проволокой и охраняется союзниками.

Я предлагаю сообщить об этом в штаб группы, но Сидоров колеблется:

— Боюсь, осечка может выйти. Пока дипломаты будут разговоры вести, союзники самых главных волков в другое место запрячут. Тут надо все доподлинно узнать, кто там есть, чем занимаются. А уж тогда, с поименным списком, накрыть это логово. — Он подмигивает Ромашуку. — Есть у нас один план. Ромашка хочет пойти туда под видом власовца. Видишь, уже костюм себе раздобыл.

Ромашук, весело улыбнувшись, сбрасывает с себя пиджак — под ним зеленый френч с власовским шевроном «РОА» и медной бляхой «За участие в борьбе с партизанами». Достает из кармана фальшивые документы на имя Романенко.

— Чистая работа! — смеется он, тряхнув кудрями. — Поверят — всю стаю зараз стреножим.

— А не поверят? — хмурится Сидоров. — Это ведь тебе не к теще на галушки. У зверей нюх знаешь какой?

— Знаю, с детства на охоту ходил!

Я с невольным восхищением смотрю на этого паренька с шапкой золотистых волос и ясными голубыми глазами и прошу, когда он вернется из логова, разыскать меня, здесь или на Родине, где угодно. Я напишу о его подвиге.

Паренек отмахивается: стоит ли. Но я вижу, ему приятно, он несколько раз повторяет вслух мои адреса и обещает встретиться.

После короткого сна — снова в путь. Утро на редкость солнечное, тихое, в придорожном кустарнике верещат синицы. Удивительно, как долго в этом году длится

«бабье лето» — раньше, в плену, мы не замечали его. Только теперь я начинаю понимать, почему Вестфалию воспевали поэты, сравнивая ее голубое небо с глазами своих возлюбленных. И все равно красота эта какая-то чужая, холодноватая. Там, у нас, все лучше.

Едем мы по проселочной дороге, среди зарослей дрока и акации. Здесь нам не надо смотреть на придорожные знаки — мы угадываем каждый дом, каждый камень. Вот узкоколейка сахарного завода — она построена нашими руками. Вспоминаю управляющего Форстена, толстяка с багровым прыщавым лицом, его тяжелый, как гиря, кулак и грозный крик: «Бистро, работай!» Других слов мы от него не слыхали. Неплохо бы найти его и рассчитаться. Но где он сейчас? Окна его дома закрыты ставнями, на двери висит большой ржавый замок.

А вот по соседству с заправочной колонкой пивнушка «Фридрих Великий». Как часто, в дождь и слякоть, возвращаясь с работы в лагерь, усталые и продрогшие, с гудящими одеревеневшими спинами мы смотрели на эти окна, за которыми угадывались тепло, покой, сытость. И мечтали: забраться бы сюда, повалиться у печки и заснуть, пусть навсегда...

Машина сворачивает вправо, съезжает с холма и останавливается. Вот и наш бывший лагерь... Мы с Сашкой выходим и некоторое время стоим молча. У Сашки глаза прищурены, на широких скулах медленно ходят желваки. Он мнет в руках папироску, просыпая табак на штаны.

Ворота, оплетенные колючей проволокой, широко распахнуты. На вышках никого нет. Лагерь пуст.

Бараки, бараки, бараки... Иду сквозь их молчаливый строй, дохожу до бывшего ревира и вспоминаю, как впервые попал сюда, как меня привезли из рабочей команды с переломанными пальцами... Конечно, по лагерным понятиям, это была пустяшная травма, и я прокантовался бы в ревире не больше двух недель, если бы не товарищи и друзья, и первый из них доктор Иван Гаврилович Алексеев, — спасли меня тогда от штрафного блока, иначе от верной смерти.

Но где все они сейчас?

На стене крайнего барака сохранилась полинявшая от солнца и дождей надпись: «Штаб». Захожу, оглядываю стены, стол, сбитый из неструганых досок, беру в

руки чернильницу — из нее выползает таракан и быстро семенит по столу.

На этом столе родилась наша газета. Как жаль, что не сохранился наш первенец! Но разве мы думали тогда о подшивке, о каких-то архивах, о документах, которые надо будет сдавать в музей...

Я сажусь на подоконник, закрываю глаза. Тихо. На крыше шелестит оторванный кусок толя. Где-то далеко, за лесом, на хуторе перекликаются петухи.

И вдруг мне начинает казаться, что я слышу тяжелое уханье взрывов, звон оружия, взволнованные голоса... Кто-то произносит речь, кто-то кричит: «Первый батальон — стройся!» Вот я бегу, громыхая колодками и цепляясь в ночной темноте за проволоку... Стою на крыльце среди таких же грязных, голодных, оборванных, как и я, и плачу от счастья... Лицо озаряет огонь костра, я слышу, как читают мои стихи — первые стихи, какие я написал после плена.

...Несколько часов назад, после того, как к нам пришло освобождение, я вернулся из туберкулезного филиала в основной лагерь и отыскал старых друзей. Они рассказали, как немцы капитулировали и власть перешла к штабу Сопротивления.

...Все, кто мог ходить, сгрудились на плаце и растерянно озирались. Но вот кто-то крикнул: «Бей гадов!» — и толпа метнулась к бараку, где жили полицаи. Первыми ворвались туда «штрафники», в комнатах началась свалка. Из распахнувшегося окна на головы людям выскочил Фиделька, любимец шефа полиции, грозного Барбароссы.

— Пощадите, братцы! — завопил он.

Его подбросили на руках, опустили в толпу и снова выбросили — уже мертвого. Из барака выволокли несколько окровавленных, изувеченных тел и сложили в ряд. Все с отвращением и ненавистью вглядывались в лица, узнавали наших недавних палачей.

— А где сам Рыжий, где Цыганок? — взволнованно шумела толпа. Но главных извергов не было — они исчезли...

Но вот в толпе пронесся слух: «Кухню грабят!» Мы двинулись туда. Вдруг раздался выстрел. Все остановились. На плаце стоял высокий пожилой человек в дырявом ватнике и в фуражке с самодельной красной звездой. У него было бледное, строгое лицо, глаза возбужденно горели. Он держал в руке пистолет.

— Товарищи! — крикнул он в наступившей тишине. — Вы уже не пленные. Но и не орда — вы советские воины. Разве вы не знаете, что среди нас есть много раненых и больных? О них мы должны подумать! Война еще не кончена, она идет!

— А ты кто такой? — послышался чей-то сиплый, простуженный бас.

— Я полковник Советской Армии, командир дивизии, участник трех войн.

Он распахнул ватник и показал медаль «XX лет РККА».

— А кто ты?

Ему не ответили.

— Товарищи! — полковник повысил голос. — Доверяете ли вы мне?

— Доверяем! — раздалось в ответ.

— Тогда слушай мою команду. Офицеры — вперед!

Из толпы начали выходить. Вышли и мы — я и мой друг Андрюша, летчик и певец, с лицом, изборожденным шрамами. Я вместе с ним спал на нарах и ел из одного котелка.

— Всем остальным разойтись по баракам и ждать моих распоряжений! — скомандовал полковник.

Люди потоптались на месте и стали расходиться.

Полковник построил офицеров и начал объяснять обстановку. Американцы прошли дальше, оставив нас на произвол судьбы. Возможны всякие провокации, налет эсэсовцев, которые разбрелись по лесам. Мы должны навести в лагере порядок, быть готовыми к бою. Надо выставить передовые заслоны, обеспечить связь. Надо занять продовольственный склад и продукты перенести в лагерь. Лежачих и ослабевших сосредоточить в лазарете под наблюдением врачей, выдавать им усиленное питание. Лагерь бывших военнопленных объявляется отныне лагерем освобожденных советских граждан, им будет руководить штаб. Каждый должен немедленно отправиться в свой барак и принять командование над людьми. Пока формирование подразделений будет проходить условно: три барака — рота, девять — батальон. Бузотеров и бывших немецких прихвостней выявлять и доставлять в штаб. Поддерживать порядок и воинскую дисциплину.

Полковник говорил уверенно, спокойно, решительно, и мы почувствовали, что его уверенность постепенно переходит и к нам. Он не спрашивал нас о званиях, а

только смотрел в глаза, как бы определяя, на что мы способны. Меня и еще нескольких офицеров он отозвал в сторону, остальных отправил в бараки.

— Пойдете со мной, — сказал он нам, — будете агитаторами. Надо сегодня же выпустить газету. Вас, капитан Бадиков, назначаю редактором.

Мы собрались вокруг человека в грязной, пятнистой плащ-палатке, которая заменяла ему шинель, в голубых драгунских штанах и мохнатой шапке. Из-под шапки с изможденного длинного лица на нас смотрели живые, с лукавинкой глаза политработника.

— Надо достать бумагу и карандаши, — деловито сказал он и повел нас за проволоку, к разбитому дому комендатуры. Вскоре мы вернулись оттуда с трофеями — огромной картой Германии, пачкой бумаги и коробкой цветных карандашей, с чернильницами и ручками. Пришли в барак, где разместился штаб, и принялись за работу.

К нам на помощь из лагеря прибыли еще несколько добровольцев, в том числе пожилой подслеповатый человек в очках, бывший учитель рисования. Он перевернул карту и на обратной стороне вывел крупно красным карандашом заглавие: «Родина зовет!» Название пришло сразу, не помню, кто подсказал его, и все согласились.

Я сначала принялся за статью, но передумал и начал сочинять стихи. «Настал, настал желанный час!» — писал я. Строчки сами ложились на бумагу, они лились из сердца, но я беспощадно перечеркивал их и искал новые. Мне нужны были сильные и убедительные слова, и я находил их — призывы, клятвы, проклятия... Рядом со мной трудился Леня Волошенков, он тоже писал стихи. Леня морщил высокий лоб, что-то бормотал про себя, свирепо ударял кулаком по столу, так, что подпрыгивала чернильница. Каждая строчка у него кончалась восклицательным знаком. Но попробовал бы кто-нибудь обвинить его в риторике — он вышвырнул бы вон этого жалкого критикана. Таких, впрочем, не было. Наоборот, товарищи, заглядывавшие через его плечо, жарко дышали в ухо и подсказывали: «Крепче загни, дай Гитлеру по кумполу!» — «Анархистов не забудь, пусть на кухню не лазят!» — «Пиши: к бою готовы, не смотри, что с голыми руками!»

Тускло мигала карбидная лампочка, то и дело открывалась дверь, пропуская новоиспеченных команди-

ров, которые врывались с громкими рапортами или бранью, но, увидев, что мы пишем, переходили на почтительный шепот, клубился густой махорочный дым, смешанный с едким запахом угля и мокрых портянок, а мы вдохновенно строчили. Бадиков брал у нас исписанные листки, быстро проглядывал их и начинал диктовать художнику, придумывая на ходу заголовки — броские и волнующие.

В полночь газета была готова. Пришел полковник, еще более бледный, но словно помолодевший, в своем дырявом, забрызганном ночной росой ватнике, посмотрел, похвалил. Мы торжественно, как знамя, подняли газету со стола и понесли. «Осторожнее, ребята!» — волновался Бадиков, и встречные расступались, давая дорогу.

Мы вынесли газету на улицу, прибили ее к стене барака, обращенной к лагерю, и зажгли костер. В отблесках пламени буквы казались живыми.

Лагерь не спал, к газете потянулись люди. Но это была уже не толпа, это была армия. Командиры подразделений вели на плац свои батальоны и роты строем, в ногу. Дробно грохотали колодки, слышались выкрики «раз, два... раз, два», — грянула хриплая, но дружная песня. Люди выстраивались фронтом, вооруженные кольями, лопатами, камнями, прикрученными к веревке, похожими на кистени. Некоторые надели на себя шашки, отобранные у полицаев, кое у кого виднелись винтовки, грозно поблескивали стволы.

Полковник скомандовал: «Тихо!» — и стоявшие впереди начали читать газету вслух. Слова подхватывались на лету и эхом неслись по рядам. Их жадно ловили все — и те, кто стоял в строю, и те, кто на четвереньках приполз из ревира. Мне с крыльца было видно, как санитары поднимали больных на носилках; они судорожно вслушивались, вытянув шеи, их ввалившиеся глаза горели.

Наконец я услышал, как начали читать мои стихи, и жаркая волна хлынула мне в сердце.

...Я открываю глаза и долго не могу прийти в себя. Сколько времени прошло, пока я вспоминал, — час или одно мгновение? Вероятно, мгновение: солнечный луч, который лежит рядом, на косяке, не сдвинулся ни на волос. А я вспомнил целую ночь! Нет, мне не надо никаких документов, никаких записей. Все: люди, со-

бытия, каждое слово — оказывается, живо во мне, как будто это было вчера...

Уходя, беру со стола чернильницу, в которой давно высохли чернила, кладу ее в карман. Заберу ее домой, в Россию, на память и на счастье...

Сашка уже сидит в машине, зевает:

— Поехали, что ли?

Его обычное «что ли» и быстро наступившее равнодушие меня раздражают. Ведь он тоже сидел в этом лагере! Я отворачиваюсь от него и продолжаю думать над очерком.

...Дальше все было проще. Война откатилась на восток, жизнь в лагере стала налаживаться, все больше и больше походить на жизнь тылового военного городка. Мы заняли брошенные немцами склады, где имелось все необходимое, и заработали портняжные и сапожные мастерские, одевая и обувая людей во все новое. Кто-то разыскал в окрестностях и притащил поповскую ризу, из нее офицеры понаделали погоны, из тонкой жести выкроили звездочки. Установили расписание: в семь подъем, в десять отбой. День был загружен до отказа. Когда через неделю после освобождения в лагерь приехал майор из советской военной миссии, то перед ним на параде прошло уже самое настоящее войско, с оркестром и знаменем впереди. «Хоть сейчас в бой!» — сказал он, на глазах у всех прослезился и обнял полковника. «Молодцы, молодцы! — повторял он, обходя строй. — Скоро кончится война — и домой. Родина примет вас, как своих сыновей».

Наша редакция поселилась в отдельном домике, где раньше находился немецкий офицерский буфет. Бадиков, щеголявший теперь в новеньком кителе и начищенных сапогах, ездил по городам в поисках русского шрифта. Одну неполную наборную кассу он привез из Гютерсло, другую из Падерборна. Но этого было мало, разве только на листовку.

Как-то под вечер к нам явился пожилой рябоватый мужчина с тяжелым мешком на плече. «Слышал я, вы наборщика ищете, — заявил он. — Вот я и пришел, со своим приданым, так сказать». Он сбросил мешок на пол, развязал его: там было пуда три шрифтов — разные по размерам буквочки, перемешанные с обломками штукатурки и кирпича.

Мы чуть не задушили старика в объятиях. «Где ты достал?» — «Где достал, больше нет. В Мюнстере я

узнал, что там у власовцев газетенка выходила. Потом их шарашкину контору разбомбили. Я, значит, по развалинам и лазил». Старик показал исцарапанные руки. Это был Зубков.

Двое суток подряд, без сна, он разбирал шрифты, ссутулясь над кассами, не выпуская изо рта папироски. На утро третьего дня он с воспаленными глазами пришел к капитану и доложил, что в его хозяйстве «порядочек». Мы ликовали: теперь у нас будет самая что ни на есть настоящая газета! Материал подготовили быстро, за каких-нибудь два часа. В этот момент радио принесло весть, что окончилась война! Наши радисты дежурили до утра, принимая Москву.

Первый печатный номер вышел с правительственным обращением к народу, где поздравляли с победой всех советских людей, в том числе и нас. «Газету надо развезти по всем сборным пунктам!» — сказали в миссии. Началась мирная жизнь и новые — мирные — заботы.

Из Вестфалии потянулись поезда на восток. Они увозили советских людей на Родину. Вагоны были украшены гирляндами цветов, кумачовыми флагами и лозунгами. Из открытых дверей выглядывали счастливые лица, неслись, оглашая чужие дали и перемешиваясь друг с другом, русские и украинские песни.

«Советские острова», — так звали мы наши сборные лагеря и пункты — постепенно пустели. Начали поговаривать о близком отъезде и у нас в редакции. Но както приехал из миссии Бадиков и сказал, что там решили оставить газету до конца репатриации. И мы переехали в «столицу» Вестфалии и поселились в «Бристоле».

...Очерк почти готов у меня в голове, осталось сесть и написать. Но я понимаю: он будет тускнеть к концу, становиться уж очень обыденным. А ведь музею нужна романтика, боевые эпизоды...

Решаю написать о людях. Например, о Лене Волошенкове... Хороший парень, самоотверженный товарищ, Леня вечно возбужден, ищет живого дела. Сначала он работал в штабе, потом на строительстве памятника, но этого ему было мало, он тянулся к газете, и Бадиков сделал его «разъездным корреспондентом». Он охотно мотался по сборным пунктам, привозил корявые, выспренные репортажи, которые мы потом безжалостно правили. Леня ругался, называл нас теоретиками, ре-

дакционными крысами, стучал кулаком по столу, жаловался Бадикову, что его «зажимают», но, подумав, все же соглашался. Иногда, примчавшись на мотоцикле ночью, он будил меня или тихого, безропотного Петю Струцкого и просил вернуть ему его «материал», а потом сидел до утра, переписывая заметку заново, и радовался как ребенок, если мы говорили, что «теперь лучше». Он вырезал свои заметки из газеты и наклеивал их в тетрадку, потом терял тетрадку, искал ее повсюду, не находил и заводил новую. Так повторялось много раз. Безалаберный, шумный, громогласный, он порой надоедал нам, и все же мы любили его за энтузиазм, за честность, за его немного сумасшедшую любовь к поэзии. Он знал чуть ли не наизусть все стихи Лермонтова и мог декламировать их без конца — за обедом, за ужином, даже ночью. «Печально я гляжу на наше поколенье!» — начинал он, свирепо уставясь на меня, вымучивающего строчки, и, когда я сердился, принимался хохотать и читать что-нибудь вроде: «Мне жизнь скучна, когда боренья нет!»

— Иди ты к дьяволу! — орал я, и Леня шел к другому сотруднику, и повторялась та же картина...

Однажды Леня, я и Андрюша (он тоже остался с нами) возвращались со сборного пункта из Рура. Мы устали за день. Я дремал, положив голову Лене на плечо. Андрюша сидел за рулем. Он свернул с автострады на дорогу, которая вела через лес к городу. Вдруг раздался взрыв. Прямо перед нами, в двух шагах, взметнулось пламя, и машину прошили осколки гранаты. Меня резко толкнуло в бок, я ударился головой Андрюше в затылок, и мы оба потеряли сознание. Последнее, что я увидел, был Леня, метнувшийся из кабины с пистолетом в руке. Потом мы узнали, что он выскочил навстречу трем бандитам-эсэсовцам, которые уже приближались, чтобы прикончить нас, выстрелом уложил одного из них, а двое убежали обратно в чащу. Андрюша быстро пришел в себя. Он остался в разбитой машине, а Леня взвалил меня на спину и понес в город. Вскоре я опомнился — оказалось, что осколок гранаты застрял в полевой сумке, слегка оцарапав спину. Рана кровоточила, и Леня привел меня в немецкий госпиталь. Там я познакомился с Гизелой.

Я невольно снова вспомнил о девушке. Как давно мы не виделись с ней, уже два дня — целая вечность! Я смотрю на часы, говорю Сашке:

— На обед останавливаться не будем. Обойдемся сухим пайком. — Сашка невозмутим, но я чувствую, что он ухмыляется:

— Соскучился, лейтенант. Ничего, к вечеру будем дома. — Он прибавляет скорость. Так же, не поворачиваясь, продолжает: — А она девка добрая. Я бы сам с такой...

Я молчу, но мне хочется дать сму по его широкой кирпичной скуле.

И вот, наскоро переодевшись в гражданский костюм, я снова сажусь в машину и мчусь на Фишенберг. Сашка довозит меня до железнодорожного переезда, откуда начинается длинная мрачная улица, вымощенная булыжником, похожая на туннель. Дальше я иду пешком.

Здесь живет беднота — рабочие, мелкие служащие с грошовым заработком, обитатели ночлежек. Тянутся ряды приземистых двухэтажных домиков с грубо оштукатуренными стенами, складские бараки, жалкие огородики с буртами, напоминающими могильные холмики. На улицах ни души. У стены маленькой кирхи, под одиноким фонарем, красуется намозоливший глаза деревянный плакат: огромная картофелина на тонких паучьих ножках весело бежит навстрсчу рабочей семье. И надпись: «Картофель поможет нам в дальнейшем!» Городской магистрат недаром повесил плакат здесь, возле церкви. Бедняки должны уповать на что-то. Раньше их призывали уповать на бога, на фюрера, на «великую Германию». Теперь, когда ничего этого нет, пусть уповают хоть на картошку.

От церкви я, как всегда, иду пустырем. В конце его, точно светлячок, мерцает окно маленького домика, утонувшего в сумерках. Шуршит под ногами пожухлая ботва.

Подхожу к двери, звоню: два коротких звонка, один длинный — это наш условный знак. Сейчас послышатся легкие торопливые шаги, и Гизела выбежит мне навстречу...

Дверь долго не открывается. Неужели Гизела еще не вернулась? Прислушиваюсь. Смотрю наверх, на окно. Вдруг свет гаснет, до меня доносится чей-то приглушенный разговор, сердитое шлепанье туфель.

— Кто там? — спрашивает меня мать Гизелы.

— Это я, фрау Борн. Гизела дома?

— Гизела больше здесь не живет.

— А где же она?

— Не знаю.

И шлепанье удаляется.

Я стою озадаченный. Что случилось? Может быть, девушка обиделась на мое отсутствие и не хочет меня видеть? А может быть, у нее уже кто-то есть?.. От этой мысли меня бросает в жар, сердце начинает сильно биться. «Она девка добрая», — приходят на память слова Сашки. Так вот он на что намекал! Неужели этот грубый, неумный парень разгадал ее лучше, чем я...

«Ну и черт с ней», — решаю я и долго, ломая спички, закуриваю. Иду обратно, не разбирая тропинки, натыкаясь на проволоку.

У церкви меня кто-то догоняет:

— Алекс!

Резко оборачиваюсь:

— Ты!

Девушка бросается мне на грудь, прижимается и молчит. Я чувствую, как моя рубашка становится теплой и влажной:

— Почему ты плачешь?

— Мама выгнала меня из дому, — тихо, не поднимая головы, говорит Гизела. — Кто-то ей прислал письмо, что я плохо веду себя и меня скоро уволят из больницы. Мама мне запретила встречаться с тобой, я не послушалась... Тогда она выбросила мои вещи на улицу...

Только теперь я замечаю, что в руке у нее узелок.

— Не надо, Гиз, успокойся, — ободряю я. У меня почему-то сразу отлегло от сердца. — Мы что-нибудь придумаем.

Девушка, подняв голову, с надеждой смотрит на меня своими милыми, заплаканными глазами. Они синие, но сейчас, в темноте, кажутся черными. Я вынимаю платок, вытираю слезы, поправляю растрепавшиеся волосы.

— Кто это мог написать?

— Не знаю, письмо было без подписи. Мне кажется, это старшая сестра из нашего отделения, монашка, ты ее знаешь. Она все время ко мне придирается.

— Поедем, я поговорю с ней!

Я беру девушку за руку, и мы быстро идем, почти бежим к шоссе.

Одна из машин, которой я преградил путь, останав-

ливается. Это американский военный грузовик. Из кабины выглядывает черная блестящая голова негра.

Объясняю ему на пальцах мою просьбу. Негр трясет головой, разводит руками, показывает путевку: у него совершенно другой маршрут.

Он принимает меня за немца. Я достаю из кармана удостворение и тычу пальцем в красную звездочку:

— Я рашен, русский!

— Рашен?

Негр, обрадованно гикнув, машет рукой:

— Сидаун!

Мы садимся рядом с ним в кабину. Машина со страшной скоростью несется по улицам, грохоча, вихляя кузовом из стороны в сторону, и, взвизгнув тормозами, останавливается у больничных ворот.

— Плиз!

...Швейцар в поношенной ливрее, с бакенбардами, как у Бисмарка, долго мнется, но, получив от меня сигаретку, отправляется на поиски старшей сестры.

Гизела забивается в темный угол, а я прохаживаюсь по вестибюлю, рассматривая аляповатые, потрескавшиеся от времени натюрморты: груды рябчиков, ананасы, вино в хрустальных бокалах. Словно в насмешку над этой роскошью, из кухни доносится пресный запах брюквенного супа и морковных котлет. Бедные больные, при виде таких картин у них, наверное, слюнки текут.

По лестнице мне навстречу спускается старшая сестра — долговязая, костлявая, в темном монашеском одеянии, с огромной, как зонт, белой наколкой на маленькой голове.

Любезно раскланиваюсь с ней и даю понять, что разговор будет конфиденциальным. Монашка открывает дверь, проводит меня в процедурную.

— Сестра Фогельринг, скажите, ваш сан обязывает вас делать людям только добро, не правда ли?

Монашка недоумевающе смотрит на меня, моргая белесыми ресницами:

— Разумеется, господин офицер...

— В том числе вашим подчиненным?

— Конечно. Это мой долг.

— Почему же вы тогда забываете о нем?

— Я вас не понимаю... — бормочет она. — Бог свидетель...

— У меня есть свидетели поближе.

Я открываю дверь и зову Гизелу.

Учтивая, как бы приклеенная, улыбка сползает с бледного лица Фогельринг. В бесцветных глазах вспыхивает ненависть.

— Вы писали ее матери?

— У вас есть вещественные доказательства?

Я делаю вид, что роюсь в карманах. Сестра Фогельринг не выдерживает.

— Да, я писала! — восклицает она и, тряхнув своим зонтом, пускается в атаку. — Я должна была предупредить о поведении фройлейн Борн. Она красит губы, ходит без чулок, это вредно действует на больных. Посмотрите на ее декольте! Я бы, как честная девушка, постыдилась...

— Послушайте вы, христова невеста, — перебиваю я, подходя к монашке вплотную. — Вам известно, что сказано в библии: не осуждай ближнего и не твори зла! — Я изображаю на своем лице страшную гримасу. — А знаете ли вы, что там, — я показываю наверх, — ждет кляузников? Черти отрежут вам язык, вас будут жарить на сковородке, варить в кипящей смоле...

Монашка пятится от меня и задевает плечом висящую на стене сифонную кружку. Кружка падает и разбивается вдребезги.

— Поклянитесь мне, — требую я, показывая на Гизелу, — что вы оставите ее в покое!

— Хорошо, господин офицер, — испуганно лепечет сестра, перебирая четки. — Я только заботилась о ее нравственности...

Я кладу на стол десять марок — стоимость разбитой кружки, и мы выходим. На улице мы долго хохочем. Теперь Гизела чуть не плачет от смеха.

— Я не знала, Алекс, что ты такой артист. Но ты думаешь, эта селедка оставит меня в покое?

— Она же поклялась.

Гизела целует меня в нос:

— Ты смешной. Куда мы пойдем?

Я смотрю на часы:

— Пойдем в кино. Мы еще успеем на последний сеанс.

В полупустом кинотеатре гонят какой-то голливудский «боевик» с затрепанным любовным сюжетом. Добрая половина зрителей — военные. Американцы сидят, обнявшись с девушками, и громко выкрикивают репли-

ки. Гизела морщится, затыкает уши. Я стараюсь смотреть на экран и думаю, где бы нам провести ночь.

— Знаешь, у меня есть неплохая идея, — говорю я, выходя из кино. — Ты когда-нибудь ночевала на сеновале?

— Где?

— На самом обыкновенном сеновале. — Гизела испуганно смотрит на меня, и я спешу успокоить ее: — Не бойся, мы будем вместе.

— Тогда мне все равно где.

Не доходя до «Бристоля», сворачиваю в переулок и подвожу девушку к сараю. Это чья-то конюшня, я случайно, недели две назад, обнаружил ее.

В сарае горит фонарь. Лошади сонно похрупывают, лениво машут кургузыми хвостами.

Приставляю лестницу к стене. Захватив с собой попону, лезу, протягиваю руку девушке.

Мы сгребаем сено, ложимся, укрывая ноги попоной. Гизела развязывает свой узелок и стелет платье под головы.

— Ну как, тебе нравится?

— Еще бы, такая пышная постель!

Я обнимаю девушку и прижимаю ее к себе. Наши сердца бьются рядом, губы жадно ищут друг друга. Я не вижу перед собой ничего, кроме ее глаз — огромных, безмерно счастливых...

— Может быть, ты хочешь спать?

— Нет, милый, я не хочу спать.

У сарая нет крыши — ее, вероятно, сорвало воздушной волной. Сейчас мне не хочется думать ни о чем — ни о прошлом, ни о будущем.

Нежные, мягкие пальцы гладят мое лицо, от них пахнет хлорамином и ромашкой. Гизела шепотом рассказывает мне о себе. Так откровенно она говорит со мной впервые.

Ее тоже не баловала судьба. В детстве, когда был жив отец, паровозный машинист, она ходила в хореографический кружок, мечтала стать балериной. Отец был большой, добрый, справедливый человек, он очень любил ее. А потом его забрали в гестапо, он умер в тюрьме. Домой привезли только маленькую урну с пеплом — все, что осталось от отца. Начались гонения, нищета, голод. Потом пришла война. Здесь было уже и вовсе не до танцев. Гизела поступила на медицинские курсы, стала сестрой. Ее заработка едва хватает на

еду, поневоле ходишь без чулок. А мать, которая опустилась после смерти отца, отбирает все деньги и пропивает их. Недавно привела в дом какого-то подозрительного типа — спекулянта или переодетого эсэсовца, тот тоже пьет и вымогает последние гроши. А теперь ее выгнали из дому: кому она нужна, если ее уволят с работы...

— Успокойся, Гиз, — снова уговариваю я. Что я могу еще ей сказать! И она успокаивается.

— Я и теперь хорошо танцую, — говорит она. — Хочешь посмотреть?

Она поднимается и, поворачиваясь на одной ноге, делает изящный пируэт и кланяется.

Лунный свет обтекает ее плечи, струится призрачным золотистым потоком по ее тонким, гибким рукам. Она кажется мне сказочной Золушкой, зовущей к себе своего принца.

Я вскакиваю, беру ее на руки, начинаю кружить, и мы падаем в сено. Гизела смеется, чихает, я желаю ей здоровья, счастья, хорошего мужа.

— Мне никого не надо, кроме тебя! — говорит она, снова целуя меня. — Я хотела бы навсегда быть с тобой. А ты?

— И я...

Она смотрит на меня доверчиво, с такой любовью, что я невольно опускаю глаза:

— Давай спать, Гиз. А то уже скоро начнет светать.

Она обнимает меня, закрывает глаза.

Я украдкой вздыхаю. Нет, сегодня ей тоже ничего не скажу.

С утра принимаюсь за очерк. Спал я всего какой-нибудь час, но голова ясная, пишется легко, страницы так и летят...

Вот уже написана глава об освобождении. Кажется, она получилась неплохо. Правда, есть золотое правило — его любит повторять наш редактор: качество работы адекватно количеству вложенного труда. Я просматриваю написанное еще раз. Все на месте! У творчества свои законы, оно держится на вдохновении, иной раз хоть сутки сиди — удачного слова не выдавишь. Сколько прекрасных вещей написал Пушкин за одну только болдинскую осень! А Мицкевич! А Лопе де

Вега, который создавал свои пьесы в течение двух-трех дней!

Великие примеры воодушевляют меня. Я еще в школе увлекался литературой, мои сочинения хвалили учителя. Лет в пятнадцать мои стихи напечатали в местном литературном сборнике, и я, вообразив себя «писателем», забросил учебу. Мать не чаяла во мне души, собирала все мои черновики и прятала в заветный уголок в шкафу. Отцу тоже было приятно, что у его сына «талант», но все же он иногда порол меня за невыученные уроки.

Сейчас мои детские опусы кажутся мне смешными и наивными. Только теперь, пройдя суровую школу жизни, я стал по-настоящему понимать весомость и силу слова. Перо мое повзрослело, мне приятно следить за тем, как Бадиков читает мои статьи, почти не правя, и велит набирать их на первой полосе. Я воображаю, с какой гордостью будут читать их там, дома, когда я покажу подшивку... Сколько раз я рисовал себе в мечтах встречу с родными и верил и не верил в нее. А скоро она произойдет!

С месяц назад мне удалось послать домой письмо — первое письмо за четыре года. Правда, ответа еще нет, но я знаю, дома меня уже ждут — худым, истощенным, может быть, больным. Но я давно поправился и приеду молодым, здоровым, в новенькой форме, да еще привезу с собой газету. Вот будет радости! Мы снова, все вместе, соберемся в нашем старом покосившемся домике, за столом на толстых ножках, которые я исцарапал, когда был ребенком. Все будут ласкать меня взглядом, ахать и охать, смеяться и плакать — мать, отец, сестра, бабушка, дядя — старый холостяк. Как я люблю их всех! И так же, как в детстве, мне будут подкладывать на тарелку самые вкусные куски. И я снова буду пить чай с душистым вареньем — такое варенье может варить только мама, и снова будет светиться лампа под желтым, в цветочках, абажуром...

Я размечтался в тишине. Но вот распахивается дверь, и в комнату влетает запыленный и запыхавшийся Леня Волошенков:

— Привет! Ты где пропадал, я тебя ночью искал?

— Что случилось?

— Я написал стихи. Хочу тебе прочитать.

Леня лезет в карман, достает помятую тетрадку, становится в позу и начинает:

Сто тысяч бурь летит над головой!
Проклятая Германия, прощай!
Я расстаюсь без сожаления с тобой!
Даю тебе последний бой!
Я тот, который, так и знай...

Леня, махнув кулаком, морщит лоб и вздыхает:

— Вот последняя строчка немного не того... А вообще как — здорово!

Я без воодушевления хвалю, но замечаю, что, по-моему, не выдержан размер.

— Что — размер! — горячится Леня. — Привыкли вы, теоретики, все по полочкам раскладывать. А я пишу от души! Начало какое: «Сто тысяч бурь...» Сто тысяч, понял!

И Леня снова читает стихи, волнуясь и крича.

— Послушай, Леня, — говорю я. — А что, если бы я женился на немке?

Леня останавливается, смотрит недоумевая:

— Ты что, спятил? Я с тобой серьезно...

— Я тоже серьезно. Она очень хорошая девушка.

— Но это же немка, фашистка!

— Фашисты убили ее отца, замучили в гестапо. И разве можно всех мерить на один аршин? Ты же неглупый человек, а рассуждаешь, как попка...

Я тоже начинаю горячиться.

Входит Андрюша, вытирает паклей замасленные руки. Видно, что он возился в машине.

— Здорово, друзья-патронники! — приветствует он. — Что за шум?

Леня бросается к нему:

— Мы его за друга считали, а он нас на бабу променял! Юбочник несчастный!

— А ты — балаболка! — вскакиваю я.

— А ты...

Леня выбегает, громко хлопает дверью. Андрюша смеется, качает головой:

— Нашел с кем на лирические темы изъясняться.

Мой друг, оказывается, все слышал.

— Не журись, мой бедный Ромео, — он обнимает меня за плечо, ласково глядит своими голубыми глазами. — Придется тебе расстаться со своей возлюбленной. Закон, брат, есть закон.

— Какой закон?

Андрюша вздыхает:

— Большой, его не перепрыгнешь. Мы же еще в со-

стоянии войны с Германией, хотя и пушки не гремят. Но пока ничего не утряслось, мирный договор не подписан. А союзнички будут тянуть с этим делом, это как пить дать. Да и вообще время неподходящее.

Андрюша объясняет мне терпеливо, как маленькому. Но ведь я и сам все знаю. Конечно, Гизела не сможет поехать со мной. Но как же я оставлю ее здесь совсем одну, без крова над головой?

— Надо ей помочь, — серьезно говорит Андрюша. — Я сейчас поеду в магистрат за лицензией на бензин, попробую там пошуровать насчет какой-нибудь комнатки. Вдруг клюнет...

Андрюша выходит. А я еще долго сижу, размышляя над жестокой превратностью судьбы. Мир еще плохо устроен... Мне на память приходят горькие строки Гейне: «Все, что хорошо и красиво на этом свете, все это скоро кончается». Но я думаю не о себе, а о девушке. Как дальше сложится ее судьба, что ее ожидает? Будет тянуть свою лямку, жить на гроши. В лучшем случае выйдет замуж за какого-нибудь бюргера... Нет, лучше не думать об этом!

Я снова берусь за очерк. Но теперь мое перо словно подменили — оно не бежит, а ползет, тяжело, нехотя, оставляя на бумаге какие-то вялые, неживые слова...

Дописав очерк до половины, иду к Бадикову.

Капитан понимает меня с полуслова:

— Муть, говоришь? Что ж, самокритика вещь полезная! — Он откладывает в сторону свой отчетный доклад, вырывает из настольного блокнота чистую страничку. — Читай!

Я начинаю читать вслух и украдкой поглядываю на Бадикова. Редактор слушает внимательно, подперев щеку рукой, вопросительно подняв бровь. Длинное лицо его невозмутимо, но в хитрых белесых глазах пробегают искорки. Это значит, что ему нравится.

Я уже изучил его. Редактор любит меня, именно — не уважает, а любит. Он часто журит меня за несобранность, за колебания в настроении, за «гнилой либерализм» и панибратство с подчиненными. Но я моложе его на добрый десяток лет, и капитан надеется, что со временем я дозрею. В редакции я на особом положении: мне разрешается вставать не по подъему, по вечерам отлучаться в город. Зато когда нужно написать что-нибудь срочное и значительное, капитан, как правило, поручает мне. Вот и сейчас он поручил мне этот

очерк и, кажется, не раскаивается. По крайней мере на листке, который лежит перед ним, он еще не сделал ни одной пометки.

Мой голос крепнет, набирает силу. Я читаю главу об освобождении, которую обдумал тогда в лагере. Она в самом деле получилась неплохо.

Читаю дальше — уже уверенно, без запинки. Чего я сомневался, все идет гладко, материал насыщен фактами, образными сравнениями... И сам удивляюсь. Как же так? Большую вещь пишешь обычно по частям, в разном душевном состоянии. А когда читаешь все подряд, то вроде писал на одном дыхании. Отчего получается такое единство?

Теперь я не смотрю на Бадикова. Я слушаю только себя, свой голос.

— Так... — неопределенно тянет редактор, когда я закрываю последнюю страницу. — Так...

Он встает, прохаживается по комнате, раскуривает свою трубочку.

— Здорово ты меня описал. Значит, в драгунских штанах, с глазами политработника? Хорошенькое сочетание!

— Ну а как вообще? — с нетерпением спрашиваю я, забыв, что повторяю слова Лени Волошенкова.

— Вообще — рвано, — говорит капитан уже без улыбки. — Начало ничего, а дальше действительно муть. Придется переписать.

Вот тебе и на! А я-то думал...

— Да, да, дорогой, работать надо не отвлекаясь. И держать в голове и здесь, — Бадиков показывает на сердце, — только то, о чем пишешь. Понял?

Я невольно удивляюсь его проницательности. Он словно угадал мои мысли.

— А время есть? — с тайной надеждой спрашиваю я. — Ведь мы же скоро уедем?

— Пока не думай об этом, — уклончиво отвечает капитан. — Пиши.

Он пристально смотрит на меня и повторяет:

— Пиши и... не отвлекайся.

Я возвращаюсь к себе в комнату и запираюсь на ключ. Меня разбирает зло — не на редактора, на себя! Неужели я не могу написать как следует? Могу! И напишу!

Теперь я забываю обо всем: об усталости, о своих планах на вечер, даже о еде. Из всего написанного я

оставляю только первую главу, остальное комкаю и бросаю в корзину. Достаю из чемодана чернильницу, ту самую, из нашего бывшего штаба, наливаю туда чернил. Кладу стопку чистой бумаги. Сажусь и начинаю...

В комнату ко мне стучат, я не отвечаю. Через некоторое время стучат снова, уже настойчивее. Это Андрюша. Он вернулся из магистрата и хочет мне что-то сказать.

— Уходи, старик, мне некогда. Переночуй где-нибудь в другой комнате.

Андрюша уходит, а я продолжаю писать.

Кончаю только на рассвете. Очерк написан — весь, до последней строчки. Плохо ли, хорошо ли — не знаю. Но щеки мои горят, руки холодные как лед, голова гудит...

Спускаюсь по лестнице, бужу Машу Семенюк. Прошу перепечатать срочно. Затем захожу на кухню, выпиваю стакан горячего чая, возвращаюсь к себе в комнату и, не раздеваясь, падаю на постель...

— Эй, летописец, вставай!

Я открываю глаза. На постели, рядом со мной, сидит Андрюша и теребит меня за плечо:

— Наполеон сказал: солдату на сон надо пять часов, ученому шесть, дураку семь, женщине восемь. А ты, брат, спал двенадцать.

Андрюша рассказывает новости. Капитан забрал с машинки мой очерк, прочитал, остался доволен. Сейчас он повез его и свой отчетный доклад в миссию, на визу к начальству. Альбомы уже готовы, машины в порядке, бензин получен. Еще два-три дня, и можно ехать.

— Ну а насчет комнаты ты узнавал?

Андрюша хмурится:

— Узнавал. Говорят, трудно. Город наполовину разбомблен, тысячи людей живут в бункерах.

— А квартиры военных преступников, всякой сволочи? Разве их нельзя отдать людям?

— Можно. Но магистрат их адреса держит в секрете. Я спикировал на чиновника, который ведает жильем. Мнется, собака. Наверное, боится, что прежние господа скоро снова будут в силе. Тогда ему отвечать придется.

От досады я скриплю зубами. Бедная Гизела, как же ей помочь?

Андрюша участливо вздыхает. Говорит, понизив голос:

— Встретил меня в магистрате один писарек, русский, из эмигрантов. Приглашал в гости. Что, если нам съездить к нему?

Я невольно пугаюсь этой мысли. Не хватало, чтобы мы связывались с эмигрантом! Впрочем, чем черт не шутит? Иной раз писарь сильнее бургомистра.

— Поедем, — говорю я, поднимаясь.

...Странное существо в ермолке и клетчатом одеяле, наброшенном на худые плечи, дрожащими руками сует нам под нос свечу и радостно восклицает:

— Прошу, господа, прошу!

Мы идем по узкому темному коридору, натыкаясь на какие-то шкафы, ящики, ночные горшки.

— Осторожнее! — предупреждает старик и, оборачиваясь, шепчет. — Это наша хозяйка, фрау Кро́шке, экономит свет. Страшная скряга!

Минуем с десяток одинаковых дверей, похожих на перевернутые гробы, и останавливаемся.

— Вот моя келья, прошу!

Согнувшись, чтобы не удариться головой о край ниши, входим. В воздухе, пропитанном запахом табака, нафталина и пыли, желтым пятном светится одинокая лампочка.

— Минутку, господа! — суетится старик. — Ради таких гостей я устрою иллюминацию.

Комната на мгновение погружается в темноту, и вдруг под потолком загорается люстра. Старик сбрасывает с себя плед и лезет в шкаф, облачается в потертый черный пиджак.

— Теперь проходите и садитесь! Сюда, к столу.

Мы с трудом протискиваемся в проход между стеной и кроватью и усаживаемся за ветхий столик из красного дерева.

— У нас к вам дело, господин Николаев, — начинает Андрюша, но старик машет рукой. «Потом, после», — говорит он, все же выслушивая. — Мне очень приятно, что вы пришли ко мне, господа. Да что я говорю «господа»! Товарищи — так принято обращаться в вашей стране, и разрешите мне называть вас так... посвойски, — бледные бескровные губы старика вздрагивают, веки краснеют. Глядя на нас виновато-восторженно, он тянется к нашим погонам, ощупывает их дрожащими пальцами, на которых синеют следы чернил.

— Такие же, такие же, как и раньше... — бормочет он. — Я тоже носил погоны. Штабс-капитан Николаев... Помните, у Куприна в «Поединке»? Я был его двойником — красивый, самоуверенный, косая сажень в плечах... Да, да, женщины заглядывались на меня... А теперь — этот пансион мерзкой фрау Крошке. Мы отдаем ей продуктовые карточки, а она кормит нас хуже, чем свою собачонку... Я не могу даже крикнуть на нее. Кто я — ничтожный писарь, приживалка в чужой стране. Я все потерял здесь — доброе имя, семью... О, зачем, зачем я тогда убежал вместе с Керенским, этим фразером, вороной в павлиньих перьях! Зачем!

Старик подбегает к комоду. Там, среди тряпья, каких-то поломанных вееров и детских игрушек, спрятан альбом с фотографиями. Хозяин с гордостью извлекает его. На одной из фотографий, пожелтевшей, потрескавшейся, изображена группа молодых офицеров, стоящих возле разбитого самолета.

— Смотрите, это мы, в шестнадцатом году. Мы только что сбили немецкий «фарман». Вот я! — Старик показывает на бравую фигуру с белым пятном вместо головы. — Лицо я потом, при Гитлере, стер, чтобы меня не узнали... А вот это — мой однокашник по школе прапорщиков, вы его знаете! — Хозяин называет фамилию известного советского генерала. — Он был умнее меня, он принес свое оружие на службу революции. А я бежал, позорно и глупо бежал!

Мутная капля падает на фотографию. Нам становится жаль старика.

— Так обратитесь в нашу миссию. Может быть, вам разрешат вернуться.

— О, нет! — восклицает старик. — Я мог бы искупить мою вину только кровью! А сейчас, когда ее уже почти нет в этих жилах, — он протягивает к нам руку с бледными, высохшими венами, — я гожусь только для музея. Экспонат, которым будут пугать детей... Нет, нет, таких Родине не нужно!

Он снимает с гвоздя гитару с голубым бантом на грифе:

— Спойте мне что-нибудь наше...

Андрюша берет гитару и начинает петь:

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза...

Его звонкий тенорок дребезжит:

И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза...

Сколько раз — в плену и после — я слышал эту песню. Андрюша любит ее, она напоминает ему о жене и маленькой дочке, которых он скоро увидит. У меня к горлу тоже подкатывает комок. Какие мы все-таки счастливые люди!

Старик отворачивается, его худые плечи под лоснящимся пиджаком часто вздрагивают.

— Еще, — тихо просит он. — Еще...

...Хозяин, провожая нас, громко выкрикивает:

— Я русский, русский... Я горжусь своей Родиной, и пусть все это знают!

Одна из дверей приоткрывается. Толстая дама в папильотках и ночном капоте что-то недовольно бурчит по-немецки.

— Цыц, обезьяна! — кричит старик.

Испуганная немка быстро исчезает.

У порога хозяин вручает Андрюше подарок — деревянную матрешку.

— Передайте там, на родине, вашей дочке. А внутри кое-что для вашей супруги.

Андрюша пробует протестовать, но старик отстраняет его руку.

— У меня никого нет, я скоро умру. Не оставлять же мне этой... фрау Крошке.

Он хлопает меня по плечу.

— А ваше дело я постараюсь уладить. Мы поможем вашей девушке... я помогу. Я — бывший штабс-капитан Николаев, ныне писарь. Да-с!

Мы садимся в машину. Андрюша включает мотор. Отъехав немного, он открывает матрешку и вынимает оттуда потускневшую ниточку жемчуга.

— Настоящий! — удивленно восклицаю я. — Ему же цены нет!

Андрюша хочет повернуть обратно.

— Он не возьмет. Ты обидишь его.

— Это верно, — подумав, соглашается Андрюша. — Он не возьмет.

Бадиков задержался в миссии: вот уже двое суток как его нет. Приезжал от него шофер Сашка, привез за-

визированный номер газеты и снова уехал. По-видимому, там решаются какие-то важные дела.

Я второй вечер сижу дома. С Гизелой вижусь урывками, днем: теперь она каждую ночь дежурит в больнице.

По крыше ба́рабанит дождь. От нечего делать иду вниз, в холл. Здесь собрались почти все наши — Андрюша, Леня, Петя Струцкий, Николай Михайлович Зубков, Машенька. Сидят в темноте, не зажигая огня. Дядя Кузьма растопил камин, и золотистое пламя мягко высвечивает лица, играет в стеклах окон, по которым снаружи струится вода.

Все разговаривают почему-то тихо, вполголоса. Маленький Петя Струцкий сидит у камина задумавшись, утонув в мягком кресле. Маша Семенюк вяжет, украдкой поглядывая на него. Мы знаем, она неравнодушна к тихому Пете и печатает его статьи в первую очередь. И он как будто бы питает нежные чувства к девушке, но сказать об этом все никак не решается.

Работа в газете сдружила нас, за эти полгода мы привязались друг к другу. И сейчас, когда вышел последний номер, нам немного не по себе — словно чего-то не хватает. Теперь мы думаем только об одном: когда же тронемся в путь.

Леня настраивает приемник — он ловит Москву. Движения его, как всегда, порывисты и нетерпеливы. Из приемника доносится треск, какие-то гудки... Но вот Леня что-то услышал.

— Тихо! — кричит он, хотя никто и не думает шуметь. Мы умолкаем и тоже вслушиваемся.

Из Москвы передают лекцию о происхождении жизни на Земле. Какой-то ученый муж скучным голосом повторяет всем известные истины о том, как обезьяна стала человеком. Но все слушают затаив дыхание: это же говорят там, в Москве. Леня подсаживается ко мне — он уже давно забыл про нашу ссору — и восторженно начинает:

— Скажи, Александр, все-таки Фридрих Энгельс здорово им дал, а?

— Кому им?

— Этим, метафизикам!

— А кто такие метафизики?

Леня снисходительно смеется:

— Неужели не знаешь? Какой же из тебя писатель!

Метафизики — это попы, опиум для народа. — И приводит в подтверждение стихи Лермонтова.

Я смотрю на Леню, на Андрюшу, и вдруг мне в голову приходит мысль: а какими мы будем, допустим, лет через десять? Останемся ли такими же большими детьми с открытыми и добрыми сердцами или время остудит нас, превратит в обывателей, заставит забыть о дружбе? И что нас всех ждет, какие испытания? Если бы мы могли заглянуть в наше будущее...

В эту ночь мы с Андрюшей долго не спим. Мы разговариваем о доме, о наших близких. И решаем: мы никогда не должны расставаться друг с другом, никогда!

Бадиков приезжает утром, возбужденный, сияющий. Быстрыми шагами он входит в столовую, где мы завтракаем, и объявляет:

— Итак, товарищи, могу вас обрадовать: завтра мы едем!

Все вскакивают, окружают его, но он машет рукой, призывая к спокойствию, и тоже усаживается за стол.

— Кузьма Леонтьевич, дайте мне закусить с дороги.

Закусывая, капитан рассказывает, что его отчетный доклад слушал сам генерал, начальник миссии. Наша работа признана хорошей. Всем будут выданы положительные характеристики.

— И мне? — не выдерживая, спрашивает Машенька.

— И тебе.

На глазах у Машеньки появляются слезы. Петя Струцкий, зардевшись, смотрит на нее и ерзает на стуле.

— А сейчас, — говорит капитан, поднимаясь, — я угощу вас еще кое-чем.

Он открывает портфель и достает пачку писем.

— Первые вести из дома. И главное, всем, всем!

...Едва вбежав к себе в комнату, вскрываю конверт. Вынимаю несколько листков, сложенных вчетверо. Мама! Я сразу узнал ее почерк, еще на конверте, — четкие, округлые буквы с характерным наклоном вправо. Непослушными руками разглаживаю страницы, читаю: «Дорогой мой, ненаглядный сыночек! Твоя весточка была самой большой радостью в моей жизни. Видимо, бог наградил меня за все...» Я невольно улыбаюсь: это не похоже на маму. Строчки плывут у меня перед глазами: «Я отдала почтальону, который принес мне твое письмо, все деньги, какие были у меня в сумке. Он испугался,

не хотел брать. Но я заставила его взять. И только я прочитала, что ты жив-здоров, как не могла усидеть дома одна со своей радостью. Я оделась и побежала на Пески, к тете Вере. Но по дороге, на мосту, со мной случилось несчастье: я встретила мою сослуживицу и хотела ей прочитать твое письмо, здесь налетел ветер и вырвал письмо из рук. Я закричала. Мы бросились под мост, стали искать письмо на берегу. Было уже темно, мы ползали на коленях, шарили по песку. К нам подошли какие-то прохожие: военный, ребятишки... Все стали помогать нам. Но так и не нашли письма. Наверное, оно упало в воду и его унесло...»

И дальше все шесть страниц заполнены волнующими подробностями. Мама пишет, что после того как дома перестали получать от меня с фронта письма, она обращалась с запросами в военкомат, в Москву. И отовсюду приходил один и тот же ответ: «Пропал без вести». Но мама верила, что я жив, гадала на картах. Часто карты выходили хорошие — красные. Но иногда попадались одни пики, тогда мама начинала плакать. Отец сердился, говорил: «А ты выбрось пики и гадай без них!» Однажды пришел ответ на запрос, что какой-то лейтенант, у которого были мои фамилия, имя и отчество, умер от ран в госпитале под Москвой. Мама с трудом добилась пропуска и поехала туда. Но оказалось, что это совсем другой человек, родом с Урала, старше меня на восемь лет.

Читаю последние строчки: «Приезжай, родной мой, мы все тебя ждем. Целую крепко, крепко. Твоя мама». Пониже приписка: «Посмотри на твою старушку маму. Вышла плохо, так как снималась в «моменталке» на базаре. Со мной Люся, ты ее помнишь девочкой, она тоже ждет тебя с нетерпением. А на руках у нее Пушок, наш любимец».

Я лезу в конверт и вынимаю фотографию, которую сначала не заметил. На фотографии мама, постаревшая, но еще не старая, в осеннем пальто и потертой котиковой шапочке. Мама улыбается грустно и счастливо, вся как-то подавшись вперед, словно желая поцеловать меня и сказать что-то еще недосказанное. Рядом с ней девушка лет восемнадцати — преувеличенно строгая, с большими, широко расставленными глазами и пухлыми губами подростка. Люся? Да это же соседская девочка, я помню ее совсем ребенком. Какая она стала взрослая и красивая! На руках у Люси большой серый кот — с

двумя носами и четырьмя глазами, по-видимому, он двигался, когда его снимали.

Письмо я прочитал залпом, но фотографию рассматривал долго. Голова у меня слегка кружится, я готов петь, плясать от радости.

Так почему же я молчу?

И вдруг меня охватывает подозрение: мама мне написала только о себе. А где же отец, сестра, дядя, бабушка?

Я снова перечитываю письмо — уже внимательней. Ага, вот строчка о сестре, я пропустил ее: «Наташа вышла замуж и живет с мужем во Владивостоке!» Об остальных — ни слова...

Я складываю письмо и прячу конверт в карман. Фотографию ставлю на стол. Смотрю на маму и понимаю: ей еще много хотелось мне сказать, но она сказала только приятное.

Выхожу из комнаты и сталкиваюсь с Бадиковым. Он недаром сияет: у него дома все в порядке, жена здорова, дети хорошо учатся. Он показывает мне фотографию застенчивой, длиннолицей, удивительно похожей на него девушки.

— Попробуй-ка вырастить такую дочь! — говорит он. — Тогда ты узнаешь, что такое жизнь!

У Лени Волошенкова тоже приятная новость: у него растет сын Артур. Когда Леня уходил добровольцем в ополчение, его жена была беременной. Леня наказал: если родится сын, назвать Артуром, а дочь — Джеммой, в честь героев «Овода». Сын родился через пять месяцев, когда Леня лежал уже в лазарете, в плену, где-то на старой польской границе.

— Артур! Ты понимаешь, Артур! — кричит он мне, размахивая письмом. — Мы еще с ним повоюем, дадим кое-кому прикурить!

— А где же Андрюша? — спрашиваю я у него. Но счастливый отец не слышит, он уже бежит к другому поделиться своей радостью.

Я иду в сад, брожу по тропинкам, усыпанным мокрыми листьями, захожу в беседку. Андрюша сидит там, потупившись, подперев кулаками щеки, и медленно, глубокими затяжками, курит. Голубые глаза его прищурены, взгляд отчужденный и мрачный. Я никогда еще не видел у него таких глаз.

— В чем дело, Андрюша? — встревоженно спрашиваю я. — У тебя кто-нибудь умер?

— Нет, все живы, — отвечает он, не поднимая головы.

— А что же случилось?

— Жена вышла замуж за другого.

— Как? — восклицаю я.

— На, почитай...

Он протягивает мне скомканное письмо. Оно коротенькое — всего одна страничка. Буквы аккуратные, мелкие, как бисер. В нескольких местах зачеркнуто старательно, так, чтобы не смогли разобрать.

Я сажусь, читаю. В письме говорится, что летчики, вернувшиеся из последнего воздушного боя на базу, сообщили жене Андрюши о смерти мужа. Они видели, как его самолет загорелся и упал в лес. Что ей было делать — одной, с ребенком на руках, без всякой специальности. Правда, ей назначили пенсию за погибшего мужа, но время трудное, пенсии не хватало. Здесь попался (в письме так и написано: «попался») Гога Апухтин, стал помогать, и они сошлись. Дочка привыкла к нему, зовет папой. «А теперь, когда ты нашелся, я даже не знаю, что делать? К тебе и к Гоге у меня одинаковое чувство, но мы должны подумать о нашей девочке. С новым отцом ей будет легче жить. И ты знаешь почему...»

— Я не понимаю: что значит это «почему»?

— Потому, — усмехается Андрюша, — я для нее уже не командир звена, а бывший пленный, человек второго сорта.

— Сволочь она! — вырывается у меня. — Забудь о ней и не жалей.

Андрюша молчит.

— А кто такой этот Гога Апухтин? — спрашиваю я немного погодя.

— Техник один, из нашей части. Мой товарищ.

...Перед сном, не зажигая света, стою у окна, еще раз рассматриваю карточку. Ложусь, думаю...

За один день я как-то повзрослел — и от радости, и от горя. Каждому из нас хотелось счастья, только счастья — за все, что мы пережили. Но жизнь есть жизнь: она, как карты, на которых гадала мама, из нее не выкинешь пик.

И все-таки мне обидно не за себя, а за Андрюшу. Я не могу спокойно видеть, как он ворочается рядом, тяжело вздыхает, курит папиросу за папиросой. Что же она сделала с ним, эта проклятая баба! Променять мое-

го друга, славного летчика-нстребителя, сбившего шесть немецких самолетов, веселого, доброго Андрюшу, который стал мне дороже брата, на какого-то Гогу! Мразь, я убил бы ее собственными руками.

— Брось, Андрюша, не думай, — говорю я.

— Не думай... — повторяет он. — Сказать просто, а вот как это сделать?

Действительно, как это сделать? Как?..

С утра начинается суета. Внизу, во дворе, трещат моторы, слышны взволнованные голоса. Кто-то громко топает по коридору, кричит:

— Давай на построение, живо!

Я смотрю на соседнюю кровать, она пуста, Андрюши уже нет. И вдруг вспоминаю: да ведь мы сегодня уезжаем! Быстро вскакиваю, одеваюсь, по привычке убираю постель. Она еще хранит мое тепло. Неужели я спал здесь последнюю ночь...

Все уже построились, в саду, перед пустой эстрадой, на которой стоит стол, покрытый красной скатертью. Кого-то ждут. Петя Струцкий, поеживаясь от утреннего холодка, сообщает вполголоса:

— Начальство приехало, напутствие читать будет.

Раздается команда: «Смирно! Равнение направо!» Мы поворачиваем головы, замираем. По дорожке, в сопровождении Бадикова идут грузный седоватый майор — я узнаю его, он приезжал к нам когда-то на сборный пункт, — и несколько младших офицеров.

Офицеры поднимаются на эстраду.

— Товарнщи! — говорнт майор, приветливо оглядывая строй. — Сегодня вы уезжаете отсюда в нашу, советскую зону. Это значит, вы едете домой, пусть хотя бы не в полном, а в переносном смысле слова. Многие из вас, я имею в виду военнослужащих, вольются снова в подразделения регулярной Советской Армии. Остальные поедут дальше, к своим матерям, братьям, сестрам... — Майор делает паузу. — Да, товарищн, нелегка была ваша участь. Я знаю, сам пережил плен в годы первой мировой войны. Но душа-то у вас наша, мы видим, не слепые. После плена вы проявили себя достойно, выпускали газету, помогали репатриации. За это честь вам н хвала, друзья мои...

Мы стоим неподвижно. У меня першит в горле, заволакнвает глаза. Петя Струцкий рядом тихонько покашливает.

Майор хочет сказать еще что-то, но машет рукой, подходит к столу и берет папку в сафьяновом переплете, одну из тех, что поручил мне заказать Бадиков, разворачивает и читает приказ начальника миссии. Здесь уже скромно говорится о «полезной работе, проделанной газетой «Родина зовет!», и объявляется благодарность «всему личному составу».

После завтрака я начинаю складывать вещи. Их у меня немного — гимнастерки, отрез на шинель, стопка рукописей. Большой новый чемодан (его недавно в день моего рождения подарил мне Андрюша) почти пуст. Я вспоминаю, что надо бы что-нибудь привезти в подарок маме, и бегу в ближайшую лавочку.

Там уже толпятся наши ребята. Дебелая хозяйка, обрадовавшись возможности сбыть залежалый товар, раскладывает на прилавке пыльные коврики с изображением средневековых замков, чепчики, пеньюары, пожелтевшие манишки, твердые, как кольчуги.

Повар дядя Кузьма купил целую дюжину кружевных панталон и рассматривает их на свет.

— Зачем они тебе? — спрашивает практичный Зубков. — Разве твоя старуха наденет такие?

— Не наденет — не надо, — хмурится повар, — на занавески употреблю али на скатерть. Тонкость в них подходящая, и узорчик есть.

Шофер Сашка примеривает перед зеркалом махровый халат невыносимо пунцового цвета.

— Взять, что ли, на речку ходить?

— Смотри, всех собак распугаешь, — смеется кто-то.

— Возьми и это, — подсказывает другой, протягивая Сашке бюргерский ночной колпак. — Вместо сачка, бабочек ловить будешь.

Здесь же толкается Леня Волошенков и высмеивает «барахольщиков». Ему ничего не надо. Глядя на наши торговые операции, он не выдерживает и разражается стихами:

Эх, куркули, презренные мужья!
Перестрелял бы я вас из поганого ружья!

Хозяйка подозрительно косится на него и убирает вещи под прилавок.

Я покупаю для мамы шуршащий плащ из вискозы, перчатки, шарфик и сумочку. Потом, подумав, прошу завернуть мне мужские шлепанцы — на всякий случай...

Нагрузившись сувенирами, возвращаюсь к себе. Вдруг возле «Бристоля» меня кто-то останавливает:

— Господин лейтенант!

Смотрю с удивлением и узнаю: Николаев! Эмигрант тянет меня за угол, дрожащими руками достает из кармана бумажку:

— Я спешил, боялся, что не успею. Вот ордер на квартиру для девушки. А вот ключ, я взял его у дворника... — Он вытирает пот со лба, победно усмехается. — Я выдержал целую баталию. Там, видите ли, жил какой-то головорез из гестапо, у нас в магистрате остались его дружки. Но я окрутил нашего шефа. Пришлось дать взятку, ничего не поделаешь...

Я смущенно трясу его руку:

— Чем я могу вас отблагодарить?

Николаев выпрямляется:

— Поклонитесь от меня моей Родине.

Он поворачивается и, сутулясь, уходит.

...В комнате у нас уже орудует хозяин отеля со своей супругой. Они считают картины, статуэтки, салфеточки, собирают постельное белье и зачем-то сворачивают матрацы. Теперь эта комната для меня чужая, как будто бы здесь не было ничего: ни жарких споров, ни наших ночных бесед с Андрюшей, ни вдохновенного, порой мучительного труда.

Я упаковываю чемодан и выглядываю в окно. Машины уже стоят у подъезда, окруженные толпой провожающих. Неожиданно набралось много народу: пришли немцы — рабочие из типографии, группа чехов из консульства, какие-то девушки. А Гизелы все нет... Вчера я не мог с ней увидеться и позвонил в больницу, просил прийти сегодня утром, к десяти.

— Почему так рано? — спросила она.

— Узнаешь, — ответил я.

Но вот вбегает Леня Волошенков, манит меня пальцем:

— Там тебя спрашивает одна, эта, которая...

Не дослушав, срываюсь с места, подхватываю чемодан и бегу вниз.

Я сую Гизеле ордер и ключ, что-то говорю, но она морщится, как от удара, и повторяет:

— Почему ты мне сразу не сказал, почему?

— Боялся, что ты будешь плакать.

Гизела печально качает головой.

— Нет, Алекс, я это знала. Но я не думала, что так скоро. Я обманывала себя...

Она отворачивается, шепчет:

— Мы все обмаиываем себя... Навериое, нначе иельзя.

— Не плачь, ие надо плакать, — уговарнваю я. — Все еще будет хорошо. У тебя есть теперь своя комната...

Какие у иее холодиые руки! Я проклииаю себя за свое бессилие, за эти пустые н жалкне слова. Мие хочется обиять девушку, сказать ей, что я люблю ее, что я всегда думал о ией и буду помиить о ией долго, может быть, всю жизиь. Но язык словио прнстал к гортаии, а глаза застнлают слезы.

— По машииам! — раздается команда.

— Мие надо идти, Гиз, — говорю я. — Прощай...

— Прощай, Алекс, — чуть слышио отвечает оиа. — Спасибо тебе за все.

Я бегу и сталкиваюсь с Аидрюшей. Он достает из кармаиа ниточку жемчуга:

— На, отдай ей.

Возвращаюсь, надеваю Гнзеле жемчуг иа шею, крепко обнимаю девушку, целую ее в глаза, в губы...

Андрюша включает газ. Машина разворачивается и мчится по Детмольдерштрассе, догоняя колоину. Сзади гремят выстрелы — это иам вслед салютуют товарнщи из военной мнссни.

Мелькают дома с маисардами, груды развалин, рекламные щнты у трамвайиой остановки... Я поворачиваюсь н иахожу средн людей которые остались там, позади, маленькую фигурку: лица ие видио, только знакомое пестрое платье слнвается в одио голубое пятиышко. «Прощай, моя девочка, — шепчу я. — Больше мы инкогда ие встретимся».

Вот и все, пора ехать. Вспоминать уже ие хочется. Да и иечего.

Напоследок, украдкой от моего любознательиого гида, пытаюсь отыскать место нашего прощаиия. Кажется, мы стояли здесь, у коица ограды, илн немиого левее, там, где сейчас высится иовый железобетонный столб с хищно изогиутой шеей н змеиной головкой светильинка. Печальио усмехаюсь при виде этой современ-

ной химеры, воздвигнутой на дорогом для меня клочке земли.

Но господина Вундерлиха не проведешь.

— Думаю, что в свитке богини Клио, — говорит он как бы невзначай, — недостает еще одной — последней — строчки. А строгая покровительница Истории не любит ничего недосказанного.

Мой гид испытующе смотрит на меня.

— Я имею в виду судьбу вашей знакомой... бывшей фройлейн Борн... так, кажется? Вы не хотели бы ее отыскать?

Неясное желание обжигает сердце. Еще минута, и мы отправились бы на поиски. Но, подумав, пересиливаю себя.

— Нет, господин Вундерлих, — отвечаю я как можно спокойнее, — лучше не тревожить тени прошлого, тем более... тем более что его уже не вернешь.





ПУТЕШЕСТВИЕ В БОХОЛЬТ

Возвращаясь из Дюссельдорфа, Вернер заглянул ко мне в «Билефельдерхоф» и предложил поехать с ним завтра в Бохольт, посмотреть новый, только что открытый русский мемориал на местном, городском, кладбище.

— Надо составить описание для магистрата и для посетителей тоже. А там есть несколько «темных» мест, — сказал он, как бы оправдываясь.

— Что ж, надо так надо, — ответил я без энтузиазма.

Вернер чуть заметно улыбнулся, пожал мне руку и ушел.

Предложение было для меня неожиданным и не входило в мои планы. Завтра — единственный не загруженный делами день — мне хотелось провести в городе, побродить по памятным местам, побывать на выставке гобеленов... словом, заниматься чем-нибудь другим, только не кладбищем. К тому же вечером меня ожидало своего рода прощальное застолье в местном профцентре — Вернер сам сказал об этом. А я уже знал по опыту, как трудно для меня переключаться «с корабля на бал».

Но отказать другу-коммунисту я не мог. Я видел, как много делают он и другие члены кружка для того, чтобы здесь, в их стране, помнили о жертвах фашизма,

знал, как нужны сегодня, особенно сегодня, наглядные свидетельства ужасов войны, и по мере сил старался помогать нашим немецким друзьям. И в этот мой приезд я уже встречался с различными людьми, интересующимися историей лагеря в Штукенброке; иногда прямо на кладбище, у построенного нами памятника, давал подробные интервью журналистам, студентам, учителям русского языка, членам какой-то «Лиги духовного братства», правлению местной общины и даже самому бургомистру. «Так надо», — как любит говорить Вернер. Однако, хочу сознаться, мало приятного, когда начинаешь ощущать себя чем-то вроде музейного экспоната, этакой засохшей мумией с табличкой на груди: «Один из последних могикан» и т. д. С каждым годом это чувство все острее, и «табличка» все больше соответствует действительности, потому что твое поколение уходит, и с ним уходит живая память о минувшей войне. Посмотришь вокруг себя — сплошь молодые лица. Глаза доверчивые и строгие, здесь нельзя сфальшивить, нужно говорить правду и только правду. Нет, эти люди не знают, что такое война с ее «производными» — пытками в застенках, расстрелами, голодной смертью. Но они хотят понять, как можно было все это вынести. Недавно на встрече один из «духовных братьев», худой, длинноволосый юноша с большими грустными глазами, сказал, что он — для испытания своей воли — неделю морил себя голодом. Прекратил эту добровольную пытку, когда от слабости потерял на время сознание. «С вами такое бывало?» — спросил он не без вызова. Я рассказал ему, как в Славуте, перед отправкой в Штукенброк, меня и моих товарищей несколько дней, возможно тоже с неделю, держали в лагерном карцере, не давали есть, угрожали расстрелом, обливали ночью ледяной водой из брандспойта и гоготали. Палачи хотели сломить наш дух. Но это им не удалось. Мы подбадривали друг друга, рассказывая всякие смешные истории, сочиняли стихи-проклятья... И я прочитал парню запомнившиеся мне строчки: «За все каннибальское ваше веселье вам будет венком из пеньки ожерелье, салютом — короткий удар пистолета!..» Славута... Штукенброк... О них мне было, что рассказать. Но Бохольт? Название показалось знакомым, и только.

«Бохольт для меня «терра инкогнита» — так я и сказал Вернеру, который пропустил эти слова мимо

ушей. Мой западногерманский друг упомянул о каких-то «темных местах» — уж не думает ли, что я способен расшифровать их? Он назвал бывший лагерь в Бохольте «филиалом» Штукенброка. Возможно. У нашего лагеря было много филиалов. Но об этом я ничего не знаю, разве лишь слыхал и то мельком, даже не припомню, в связи с каким случаем. «Бо́-хольт» — в самом названии города таится что-то грозное, тяжелое, как отдаленный взрыв...

Раскрыв карту, я с трудом отыскал маленький кружок, прилепившийся к голландской границе. Добираться придется не менее двух часов, а то и все три. «Не было печали...»

Я уже хотел пожалеть себя, но вспомнил друга Вернера — вечного «путешественника» Гельмута, встретившего меня в аэропорту. В тот день он проделал на своем БМВ четыре рейса — от дома до Франкфурта и обратно, больше тысячи километров в общей сложности. Двенадцать часов он не выпускал из рук руля, и хотя бы одна жалоба. Наш Гельмут лишь улыбался. А пенсионер Фриц, безропотно возивший меня все эти дни!

А тот же Вернер? Обыватель сказал бы, да и говорит, наверное: зачем ему лишние заботы, ведь за них не платят? Но Вернер так не рассуждает.

Думая об этих людях, я спрашивал себя в который раз: что́ ими движет, только ли больная совесть, как утверждает пастор Дистельмайер? Хорошо, я знаю: сам он видел войну, участвовал в ней в качестве солдата одной из частей так называемого «оборонительного вала» в Нормандии. Там же попал в плен, не сделав, наверно, даже выстрела. «Но другие сделали! — отвечает он. — И эти другие — немцы, мои соотечественники». Пастор подчеркивает, что человек должен уметь отвечать не только за себя, но и за свой народ, за свою историю. Не знаю, может быть, он прав. И хотя мне чуждо чувство раскаяния за не содеянные мною грехи, я уважаю пастора и радуюсь каждой новой встрече с ним.

Другие предпочитают не распространяться о своих нравственных позициях, но думаю, что ими прежде всего движет не столько чувство «национальной вины», сколько чувство «национальной беды». Говоря об ужасах прошлого, они устремлены мыслью в будущее, в то, что м о ж е т произойти, если злые силы снова, в третий

раз в этом столетии, возьмут верх. И потому Вернер и другие антифашисты без устали ищут факты, показывающие ужасный, отвратительный, леденящий душу лик войны.

Я продолжал думать о судьбе моих немецких друзей, и сон уходил от меня все дальше и дальше. «Простые люди, а как много им удалось сделать!» Авторитет их растет, но и трудности — тоже.

Вдруг пришла в голову мысль, что борьба за правое дело требует от человека не только и, может быть, даже не столько познания всяких теорий, сколько веры в конечную цель и, разумеется, много мужества. Почему-то, говоря об идейных борцах, мы склонны рассматривать их путь вне конкретных особенностей их характера. Так ли это?

Кружок «Цветы для Штукенброка» объединил разных людей — коммунистов и беспартийных, интеллигентов и рабочих, священнослужителей и ученых, исповедующих материализм... Разными путями они шли к одному и тому же, и каждый из путей по-своему был нелегок. Но все они убеждены в победе добра над злом.

Как настоящие борцы, они мужественны и не жалеют себя. От них не услышишь надрывных исповедей о пережитых ими невзгодах и опасностях. Но удел их нелегкий! Чего только не довелось им испытать за эти годы — злобные нападки «неонаци», издевательства чиновников, козни всяких лавочников и владельцев заправочных колонок. Им угрожали, над ними глумились, их увольняли с работы, лишали права на кредит... Однако они говорят об этом с улыбкой. «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой!» — увидел я как-то плакатик над столом одного из них...

Сто́ики? Да! Подвижники? Да! Но не аскеты. Пройдя суровую школу борьбы, они лишь закалились, но не очерствели, им ведомы обычные человеческие чувства — любви, дружбы, сострадания. От некоторых, не выдержав лишений, ушли жены и забрали с собой детей. Они пережили и это, может быть, самое тяжкое из испытаний. Пережили, не сказав ни слова в осуждение женщин, которых они любили, с которыми прожили годы. Я как-то не удержался, спросил одного из них: «А если ваша жена к вам вернется — вы ее примете?» Тот, кого

я спросил, ответил с печальной улыбкой: «Не знаю. Но мне ее жаль, она мечтала о лучшей жизни».

Иногда, признаюсь, я завидовал им — их скупой, немногословной дружбе и скромному, упрямому достоинству, с которым они делали свое дело. За долгие годы совместной работы у них выработался свой стиль — и в общении с широкой, политически многослойной аудиторией, и в решении организационных вопросов, и в отношениях между собой. Было ли у них распределение обязанностей? Вероятно, было — спрашивать об этом мне не совсем удобно, а сами они молчали. Но что бросалось в глаза — взаимозаменяемость. Я заметил, что это древнее правило боевой когорты здесь действовало безотказно.

Так, недавно, перед вылетом из Москвы, мне передали телефонограмму Вернера, что он встретит меня в аэропорту. Но встретили меня другие. На мой взволнованный вопрос, почему не приехал Вернер, Гельмут отшутился: «Тебе недостаточно, что я здесь? Или ты не рад?» Уже потом, когда мы остались вдвоем, он успокоил меня: все, мол, в порядке, только в первоначальный план пришлось внести кое-какие коррективы. Вернера по партийным делам неожиданно вызвали в Дюссельдорф, в Правление ГКП. И тот просил Гельмута подменить его. Что же касается поисков нужных мне людей, то Вернер, не надеясь на своего деятельного, но нетерпеливого друга, поручил заниматься этим вопросом пастору Дистельмайеру. Гельмут, зная себя, не был обижен. «У него нюх, как у хорошей гончей, — говорил он, подмигивая. — К тому же пастор знает всех в окру́ге». По его словам, пастор был «душой» их кружка, Вернер — «мозгом», а сам он — «ногами»... Гельмут, конечно, иронизировал — я ведь знал: когда надо, каждый из них бывает и тем, и другим, и третьим.

И вот мы едем в Бохольт.

Кругом поля — с высокими всходами, с рано загустевшими травами, на деревьях уже набухли плоды.

Вернер со знанием дела, как крестьянский сын, выросший в деревне, рассказывает, что избыток солнца способствует раннему созреванию, но он же и укорачивает жизнь растений. На днях, проездом из Дюссельдорфа, Вернер заезжал к брату, живущему у Рейна, тот говорил об этом применительно к своему винограднику:

лето, мол, только началось, а лоза уже сохнет. «Судя по всему, осенью вина много не накачаешь», — сокрушался он. Сам Вернер, давно покинувший родной хутор, дружелюбно подшучивал над крестьянами, над их вечными страхами: «Молятся на барометр, как на распятие».

Мы говорили о родственниках Вернера, о том, как нелегко им, с их небольшим достатком, соперничать с толстосумами, скупающими у бедняков по дешевке землю. Жизнь, говорил Вернер, с каждым годом дорожает. Простым людям тянуться за богачами трудно, поэтому многие крестьяне продают свои участки и уходят в город. Но и в городе не лучше — цены на квартиры бешеные, безработица, плохой воздух...

Я не видел никогда ни отца Вернера, ни его братьев, но их судьба меня трогает. Чудно! Думал ли я когда-нибудь, что «какие-то» немцы, бывшие для меня олицетворением жестокости, ну пусть не они, а их дети и внуки, станут нашими друзьями и изменят наше представление о Германии и ее народе? Думал ли? А ведь это прежде всего сделали такие, как Вернер, отважные поборники добра и мира.

...На главной и, кажется, единственной проезжей улице Бохольта, упирающейся в пограничный шлагбаум, у одного из домиков нас поджидает плечистый парень — рыжий, кудлатый, веснушчатый, с добродушным крестьянским лицом. Смущаясь, он трясет мне руку, сжимая ее в своих широких заскорузлых ладонях. «Пауль Винце, — представляет его Вернер. — Местный активист кружка «Цветы для Штукенброка».

На вопрос Вернера, знают ли в доме о нашем приезде, краснолицый Пауль — он уже успел загореть — что-то отвечает с виноватым видом. Наш новый знакомый говорит, что обед еще не готов, надо немного подождать.

«Тогда — за дело!» Вернер показывает парню, чтобы он ехал вместе с нами, и тот поспешно забирается в машину.

Каких-нибудь пять минут езды, и машина снова останавливается. Теперь Пауль вылезает первым. Вернер, задержавшись на минуту, достает из багажника венок. Я уже догадываюсь, куда мы приехали, — сквозь прутья ограды виднеются аккуратные прямоугольные холмики с мраморными или металлическими крестами.

Мы проходим по дорожке между могилами бывших

граждан городка. Судя по датам на надгробиях, кладбищу более ста лет. С любопытством рассматриваю намогильные знаки. Большинство их скромные — прямоугольная плита из искусственного мрамора или из дешевого поделочного камня и металлический крест с вазончиком для цветов. Но есть и богатые — многопудовые стелы из черного полированного гранита или украшенные скульптурами склепы, в темной глубине которых теплится огонек лампадки.

Читаю надписи на склепах: землевладелец такой-то, коммерсант такой-то... Неравенство царит и здесь, между покойниками, только богатство и важность бывших «сильных мира сего» здесь олицетворяют массы строительного материала и густота позолоты. Однако и эти, как мы видим, не могли рассчитывать на вечное уважение потомства к их заслугам. Некоторые богатые могилы выглядят давно заброшенными — мрамор склепов облупился, на стеклах толстый слой пыли...

Вернер с рыжим Паулем ушли далеко вперед и стоят у конца тропы, поджидают меня. Спешу присоединиться к ним. Интересуюсь, почему венок до сих пор у Вернера: разве он не нашел того, чью память собирался почтить? «Того — нет, — отвечает немец, — есть — те, и тоже ваши соотечественники. Их много, больше полутора тысяч. — И вопросительно смотрит на Пауля. — Наверно, столько же, сколько здесь всего горожан, умерших за сто с лишним лет, да?» Пауль согласно трясет головой.

Только тут я замечаю, что впереди, за густыми зарослями акации, виднеется еще одно кладбище, как бы продолжающее первое. Но между ними нет ничего общего, кроме разве дорожек, выложенных каменными плитами.

Всем своим видом оно вызывало какое-то пугающее, неизъяснимо скорбное чувство. Так же, как и в Штукенброке, здесь тянулись ряды могил, прикрытые одинаковыми серыми плитами. Но в Штукенброке, где работы по благоустройству велись уже больше десяти лет и человеческий труд и старание сделали все для того, чтобы последнее прибежище несчастных, замордованных на чужбине жертв войны выглядело пристойно и даже, если так можно выразиться, эстетично, то здесь, где кладбище, судя по всему, до недавних пор было забытым и заброшенным, этих могил лишь едва коснулась заботливая рука.

Впрочем, кто-то поработал и здесь. В центре кладбища возвышается памятник. Он много меньше, чем в Штукенброке, — в полтора, от силы в два человеческих роста и не так хорошо выполнен. Замысел его прост — трехгранный обелиск из серого камня, увенчанный большой, тоже каменной, пятиконечной звездой. На доске написано: «Здесь покоится прах 1736 русских жертв войны». Чуть пониже дата: «1945 год».

«Все ясно, о каких еще тайнах могла идти речь», — решаю я и оглядываюсь на немцев. Те готовятся к возложению венка — распрямляют примятые в багажнике цветы, прикрепляют ленты. Стыд иглой колет в сердце: ведь это же я прежде всех должен был позаботиться о венке! Но Вернер, оказывается, и это предусмотрел. На одной из лент — немецкая надпись, на другой — русская.

Пауль старательно обметает веткой постамент обелиска, и мы с Вернером укладываем венок, разглаживаем ленты. Затем стоим с минуту молча — все трое.

После того как скромная церемония закончена, снова оглядываю кладбище. Оно кажется каким-то очень уж серым, может быть, из-за однотонности господствующего здесь камня, не смягченного другими, утепляющими, красками.

Словно догадавшись, о чем я думаю, Пауль показывает мне на выглядывающие кое-где из песка крошечные елочки. «Это только первая посадка, — поясняет он, осторожно прикасаясь большой загорелой рукой к неокрепшим деревцам. — Всей семьей сажали, и еще будем». Вернер одобрительно похлопывает парня по плечу. «Если он взялся — сделает». Паулю приятна эта похвала: у сдержанного Вернера ее заслужить не просто. И польщенный активист перечисляет другие свои труды — выстелили плитами дорожки, привели в порядок площадку вокруг памятника, подновили надпись. «Видите, какая стала отчетливая. — Он даже отходит на несколько шагов. — Все можно прочитать. А ведь сначала мы едва разобрали».

Что ж, значит, мы ошиблись, считая, что н а ш памятник — единственный и неповторимый в своем роде! Ведь Бохольт был освобожден на несколько дней раньше Штукенброка!

Пауль, который, вероятно, тогда еще и не родился, тем не менее подтверждает солидно, растопырив пальцы: на восемь дней.

Конечно же, и в этом лагере были свои умельцы — художники, архитекторы, гранильщики камня. Они построили этот памятник, сделали надписи — только они! Вернер кивает головой, однако в глазах у него сомнение.

— Я тоже так думал, когда узнал об этом от Пауля, — тихо говорит он. — Но потом у меня возникли вопросы, которые я пока еще не могу разрешить.

Невольно улыбаюсь: какие же могут быть здесь «тайны». Право, за их разгадкой мне не стоило бы ехать сюда. Дотошность немца мне кажется смешной.

— Почему здесь нет надписи на русском языке?

Пожимаю плечами.

— Разве это имеет значение? Строители памятника считали, что, поскольку он будет стоять на немецкой земле, то надо снабдить его прежде всего немецким текстом. Ведь если бы этой надписи не было, откуда бы вы узнали, кто здесь похоронен?

Вернер продолжает покачивать головой, как бы отсчитывая все «за» и «против».

— Может быть. Скажу больше: на памятнике была еще одна доска, но она исчезла, судя по всему, лет двадцать или больше тому назад...

— Понятно! — перебиваю я. — Там-то и была, наверно, русская надпись, однако какие-нибудь неонаци в годы «холодной войны» решили устранить ее как свидетельство гитлеровских зверств.

Вернер прощает мне мою горячность, глядя на меня со снисходительной усмешкой.

— Только они при этом почему-то забыли убрать звезду?

Кажется, я снова поторопился. Обхожу памятник вокруг, рассматривая уже каждый подозрительный след на его приземистом, немного несуразном каменном туловище. Нет, он строился не в один прием. На боковом срезе замечаю несколько напластований, словно временны́х колец у дерева. А на лицевой стороне обелиска видна еще одна звезда, вернее ее рельеф. Вряд ли строители украсили памятник сразу двумя звездами. Не было ли так, как думает Пауль: вначале на памятнике имелось две доски — на русском и немецком языках, и одна звезда, та, что поменьше. Затем, при Аденауэре, неонаци, а может, кто-то еще, решили убрать признаки того, что на кладбище лежат советские люди, и одну доску, на русском языке, сняли, а надпись

на другой старательно затерли и звезду тоже, поэтому сейчас их пришлось восстанавливать почти заново?

Но Вернер снова отрицательно качает головой.

— Уж затирать, так затирать. Мы же разглядели, что́ здесь было. Но даже если твое объяснение принять за истину, то кто и когда поставил на памятнике вторую звезду?

Пауль, покраснев, пожимает плечами. Я тоже теряюсь в догадках. Так или иначе, кто-то приходил на это кладбище еще до Пауля и его активистов и, вероятно, не раз. Что приводило сюда этих таинственных посетителей — память о жертвах фашизма или, наоборот, стремление стереть ее следы; любовь к тем, кто лежит здесь, в этой земле, или ненависть к ним? Воображение подсказывало самые различные предположения. И не было ли это скромное, заброшенное в одном из самых далеких уголков Вестфалии, кладбище ареной, где сталкивались политические, а может быть, и какие-нибудь другие страсти?

Однако теперь я не решаюсь высказывать Вернеру мои скороспелые гипотезы. У него, безусловно, зреет какая-то догадка, но, как человек логического мышления, он хочет проверить ее со всех сторон.

Поманив меня пальцем, Вернер не спеша идет между рядов, показывая ту или иную плиту, прикрывающую могилы. Некоторые надписи просит прочитать вслух. Я читаю. И снова возникают загадки, сонм загадок! Есть надписи, сделанные по-немецки. Но большинство надписей — русские. Все они совсем свежие, выполнены тщательно, однако я разбираю их с трудом, как некую криптограмму. Буквы вроде бы наши, хотя кое-где с ятью и ижицей, но звучание имен и фамилий — незнакомое уху. Словно в этих могилах погребено какое-то странное племя, выдуманное фантастами. «Колоскион Лукас» или «Туреус Ванг»... Какая-то абракадабра, нет у нас таких имен и фамилий!

Хочу заявить об этом, наконец, с полной убежденностью, но вдруг вспоминаю историю Федора Полетаева, русского героя, сражавшегося в итальянском Сопротивлении и похороненного на партизанском кладбище под именем Федора Поэтана. Нет, та надпись на могильном камне не была ни ошибкой, ни тем более святотатственной ложью, ее сделали друзья погибшего партизана по привычному для них звучанию. Может быть, и здесь: «Колоскион Лукас» был в действительно-

сти Лукой Колосковым, а «Туреус Ванг» — Иваном Туровым?..

Кто разгадает эти тайны?

Вернер все записывает в свою книжечку, потом что-то тихо говорит Паулю, дает, наверное, какие-то указания. Теперь немцы поняли, что здесь я им помочь не могу, и решили оставить меня в покое. Но теперь сам пытаю себя, свою память. Где, когда я услышал впервые это название «Бохольт»? Ну где же, где?

«Познай себя», — говорили мудрецы. Еще утром я считал эту поездку для себя чуть ли не бесцельной, а сейчас весь, каждой клеткой, прикован к загадочной истории этого лагеря. Откуда здесь столько жертв — больше полутора тысяч, даже указано точно — тысяча семьсот тридцать шесть человек, причем погибших, как утверждает Пауль, в одно и то же время, даже, может быть, в один день?

Сам Пауль, конечно, не видел, как их хоронили, этих несчастных, — его тогда еще не было на свете. Но недавно, когда он с помощниками выравнивал ряды, ему довелось заглянуть в одну из могил, находившуюся поодаль от всех, в последнем ряду. Эксгумация проходила в присутствии доктора. Тот удивился: у многих погребенных здесь не хватало то руки, то ноги, от некоторых вообще осталась половина туловища... Потом до него дошло. «Они не умерли, а погибли, — заключил врач, — погибли насильственной смертью».

Страшный смысл этих слов постигаю не сразу. Мне уже не по себе, или есть какая-то черта, которую трудно переступить... Душа боится, не хочет знать всех подробностей того, как умерли эти люди. И только беспокойная мысль продолжает доискиваться до истины.

«Что же с ними произошло, как они погибли?» Мне приходилось присутствовать при вскрытии могил расстрелянных эсэсовскими карателями на Украине и в Белоруссии — там находили, и то не всегда, лишь след от пули: крошечную дырочку в черепе. Еще меньше следов оставалось от сожженных в печах крематория: небольшая кучка серого пепла... «Нет, — теперь я уже сам опровергаю себя, — здесь другая причина. Уж не взорвали ли их?» Но в ту же секунду отметаю и это предположение. Стали бы эсэсовцы тратить для таких целей дорогостоящую взрывчатку.

И снова возвращаюсь к этой версии. Вспоминаю Мюнстер, вытащенные из развалин трупы. «Их разбом-

били!» Мысль ударяет как молния, высвечивая еще одну картину: лето сорок пятого... Война кончилась, на станции Гютерсло стоит поезд, украшенный цветами и кумачовыми транспарантами. На Родину отправляется первая группа моих соотечественников, освободившихся из фашистской неволи.

Я — спецкор нашей «Родина зовет!», приехал за материалом для очерка. Отойдя в сторону, интервьюирую одного из отъезжающих, молодого мужчину с темным лицом в мелких точечках. Странное лицо, в него словно дробью выстрелили в упор. Наверно, этим оно и привлекло меня...

Мужчина рассказывает о себе. Он гражданский, из Крыма, обрусевший грек, по профессии винодел. В армию не попал по здоровью, немцы же отправили его сюда, на тяжелые работы. Где только не трудился — и в хозяйстве у бауэра, и на торфяных болотах... Хватил всякого. Летом сорок четвертого загнали на завод у голландской границы, выпускающий газогенераторы. Завод был большой, работали там немцы, русские, поляки, югославы, французы. Немецкая охрана свирепствовала, чуя близкий конец рейха. Однако люди держались. Жили надеждой на освобождение, на встречу с Родиной.

И добавляет, как бы оправдываясь:

— Были, конечно, и такие, кто не просто ждал... Только конец их ожидал страшный...

Мужчина останавливается. На меня смотрят его темные, в красных ободьях, глаза, словно спрашивают: продолжать или нет? Я киваю.

— Перед Новым годом прибыло к нам пополнение — группа пленных офицеров из штрафного лагеря. Привезли их под сильной охраной и поселили в бараках из железобетонных плит, с узкими окошечками, в которые и лица-то как следует не увидишь, двери же были из железа. Нам приказали с этими людьми не общаться, предупредили: если заметят кого из наших вместе с ними — всем расстрел. Только ведь одним страхом не возьмешь. Нашлись смельчаки — то один другому на ходу слово шепнет, то записку передаст. А перед приходом союзников, дней примерно за десять, стали что-то готовить. Среди нас прошел тайный слушок, что не дадут эти офицеры нашим мучителям безнаказанно уйти... Вроде бы уже и оружие у них заготовлено, они

его где-то в цехе прячут... Гордились мы ими в душе. И может, присоединились бы...

Рассказчик смотрит, пытаясь угадать: верю я ему или нет.

— Наверно, так и случилось бы, — продолжает он. — Но в один из мартовских дней началась страшная бомбежка местности. «Летающие крепости» союзников сметали с лица земли все живое. Он спал после смены, когда послышался приближающийся свист бомб. Его разбудили взрывы чудовищной силы. Все побежали в бомбоубежище, оборудованное под заводоуправлением. Он же потерял свои колодки и отстал. Боясь наказания, не стал догонять строй, а спрятался тут же, в заводском дворе, нырнул в какой-то люк.

Над головой у него грохотало, будто рушились горы, крышка люка раскалилась от огня. Ему приходилось забираться все глубже и глубже под землю. Наконец он добрался до воды и просидел так, пока не кончился этот ад.

Когда на третьи сутки он выбрался из своего убежища, то не узнал местности. Вокруг громоздились груды кирпичей, скрюченных железных балок, изуродованных машин... Бараки лежали на земле, будто сбитые щелчком картонные домики. Среди этого хаоса бродило несколько человек в серых халатах, с носилками. Это были спасатели из Общества Красного Креста, не то немцы, не то голландцы. Не увидев больше никого, он обратился к одному из них с вопросом: где его товарищи? Ответа не последовало или он не расслышал, так как в ушах еще звенело. На вопрос, куда ему идти, мужчина в халате махнул рукой: иди куда хочешь... И тут он увидел, что люди в халатах собирают чьи-то останки — изуродованные трупы, оторванные ноги, головы... Огляделся. Поблизости на земле лежало несколько треснувших железобетонных плит, в одной из них узкое зарешеченное окошечко... Страшная догадка осенила его: он находился на месте, где стоял барак пленных офицеров, их мучители не открыли им двери, когда началась бомбежка.

— Они погибли все до одного, — помолчав, заключает он. — А наши разбежались кто-куда...

Он переночевал в перевернутом и обугленном вагоне узкоколейки, завернувшись в какие-то тряпки, а наутро увидел в долине за рекой огромных, чудовищных стрекоз или птиц, из брюха которых выбегали солдаты

в незнакомой зеленой форме, с автоматами наперевес.
Это были американцы, они высадились на пепел и, почти не встречая сопротивления, двинулись на восток...
Не здесь ли, в этой истории, разгадка?
Говорю об этом Вернеру. Он молча кивает, записывая в свой блокнот.

Едешь назад — словно читаешь книгу с конца. Опять плывут по сторонам низкие, мягких очертаний холмы. Только тюльпанов все меньше и меньше. И домов с белым обкладом — тоже.

Бохольт исчез из виду как-то сразу, не успели оглянуться. Последнее, что запомнилось: вышедшая нас проводить семья Винце — две старушки — мать и тетка Пауля; его жена с двумя дочками-подростками и сыном, мальчуганом лет восьми, таким же рыжим и веснушчатым, как и отец, и, кажется, тоже Паулем, мать назвала его «мини-Пауль»; с племянником и племянницей, хорошенькой девушкой «на выданье», и ее женихом, большим, немного неловким, наверно, от смущения, парнем; тут же был приземистый мужчина в выгоревшей фетровой шляпе, яркой, лимонного цвета рубахе с наспех повязанным галстуком и, державшая его за руку, высокая, представительная дама, вероятно, его жена; и трое подростков, стоявших чинно, лесенкой, позади взрослых, и еще кто-то... Все жали нам руки, желали доброго пути, и даже собака, тоже вышедшая проводить, ласково виляла хвостом...

Когда отъехали, Вернер сказал:

«Хорошая семья, полукрестьянская-полурабочая. — Он улыбнулся. — Кстати, это и есть почти весь актив Пауля».

Больше он не произнес ни слова. Сидел сосредоточенный, смотрел на дорогу и молчал. Я знал, что нам надо заехать еще в одно место, об этом он известил меня заранее, но добавил: «Если останется время». В его правилах было всегда отделять главное от второстепенного. Я тоже придерживался этого правила, потому меня немного удивила настойчивость, с которой Вернер решил вопреки моим первоначальным планам повезти меня в Бохольт.

Но теперь я благодарен ему.

Я вновь прикоснулся к тому, что будет преследовать меня и от чего уже не откреститься никогда, сколько

бы житейская мораль ни твердила, что жизнь коротка и надо беречь нервы и силы, что думать о прошлом — значит обкрадывать свое будущее, нагонять на душу мрак и холод могилы, когда мир так прекрасен, полон чарующих звуков и радостей. А счастье не любит, когда тот, кому оно досталось, слишком часто оглядывается назад. «Мир на мир живым», — как говорили в старину наши мудрые предки.

Все это мне известно. Но каждый может жить только так, как может. Судьба — не пустое слово: судьба человека, судьба поколения. Нам выпала на долю эта война, величайшая из всех, какие знала земля, и это стало нашей судьбой — школой жизни, и проклятием, и вечной мукой. Мукой памяти...

И я спрашиваю себя — с пристрастием, с горечью — все ли мы, оставшиеся в живых, сделали для того, чтобы рассказать о погибших? Каждый из читающих меня поймет, поставив себя на место тех, кто мог купить жизнь ценой измены, но не купил, предпочел смерть. Кто знает о них? Большинство свидетелей тоже умерло, но кто-то ведь остался. Вспоминаю погибших в лагерях в Дарнице, в Славуте...

«Надо работать, — говорю себе, — запечатлеть на бумаге или на магнитофонной пленке все, что еще хранит в своих кладовых наша память. Надо вспоминать, вспоминать — всем, кто еще жив, не боясь, что что-то не сойдется: те, кто будет потом складывать из этих осколков стройную и осмысленную фреску, все уточнят. А нам... нам прежде всего надо спешить.

Боже, какой же у нас в руках материал! Ни Данте, ни Шекспиру не снилась такая бездна трагических сюжетов, такая изощренность уничтожения — с одной стороны и такое бескорыстное мужество — с другой.

Ричард Третий... Макбет... Когда-то кровь леденела при одном их имени. Смешно, не правда ли? Да этих шекспировских злодеев мог бы — как наивных простаков — научить любой эсэсовец. И счет отрубленным головам шел не на единицы, как когда-то, а на тысячи, десятки тысяч...

Наши свидетельства нужны. Нужны Истории, Будущему, нашим потомкам».

Но вдруг мысль неожиданно поворачивает и бежит в другую сторону. На мгновение представляю себе Будущее, таким, каким оно вставало когда-то в наших далеких мечтах... Войн нет и в помине, с ними давно по-

коичено, а все накопленное оружне взорваио на дне океаиа н в космосе. Молодежь не должна знать о том, что когда-то пролнвалась кровь: книги о войне изъяты, доживающне свой век старики дали обет молчаиия. Отныне на земле царят только доброта, любовь и веселье.

О, если бы так было! Нет, мы, ветераиы войны, ие самолюбнвы и готовы утопить в Лете наш горький опыт, чтобы ннчто не напомнНало людям Землн о безумном и постыдном прошлом. Только можно лн отсечь будущее от прошлого, даже в мечтах?

Вернер осторожно дотрагнвается до моего плеча, проверяя, не заснул ли я. «Галстук в порядке? Расческа не нужна?» — спрашнвает он, иаправляя на меня зеркальце. Догадываюсь о каком «месте» шла речь. «Мы едем в гости?» Кнвок. «А к кому?» — «К свонм! — в голосе Вернера слышатся теплые ноткн. — К свонм, Александр».

Просториый, современных форм, зал заполнен иародом. Мерный гул голосов напомниает гул пчелниого улья. Многне из прнсутствующнх, как видно, давно знакомы друг с другом. Однако, пока до офнциальиого начала встречи остается еще несколько мннут, все разговарнвают вполголоса. Таков порядок.

По залу проворно н деловнто снуют молодые парни в белых курточках, ловко, будто нграючн, расставляют на длнниых столах приборы, бутылки, блюда с холодной закуской. В стороне, у окна, еще однн стол, без стульев — на ием высятся белые горкн тарелок, а рядом выстроились тележки с электрокухнямн, над которыми внтают всякне вкусиые запахн.

«И вы здесь!» Генерал Алексей Кнрнллловнч Горлинский, оказывается, только что прнехал с делегацней н пребывает в несколько приподнятом состояннн: седая прядь молодецки откннута назад, глаза за очками прнветлнво блестят. Он с кем-то разговарнвает, н вся его фнгура, стройная, по-юношескн подтянутая — предмет моей бессннльной завнсти, — выражает, любезность и ннтерес к собеседннку. Но кто он, этот немец, тоже высокий н стройный, с тонкнм, подвнжным лицом, разговаривающнй с моим «шефом»? Где-то я его уже внделл. И вдруг будто обиажеиный провод коснулся меия

на мгиовеиие, обжег током. Ну, конечис, этот мужчииа, с которым так оживленно беседует наш генерал, тоже генерал, легеидарный генерал Герт Бастиан, возглавивший движеиие за мир среди военнослужащих западиогермаиского бундесвера и уволенный командованием из его рядов.

О чем говорят два генерала — русский и немецкий? Конечно же, и о прошлом, и о будущем. То и другое, по выражению Алексея Кирилловича, любящего прибегать к сравнениям, так же не может существовать порознь, как тело и голова. Наш генерал старше своего собеседиика на добрый десяток лет, за его плечами — годы боев, горечь отступления, отчаяиная, невиданная в своем упорстве защита разрушеиного Сталинграда и радость первой победы. А еще через два года долгожданная встреча с союзниками на Эльбе, у иемецкого города Торгау. Как братья, обнялись тогда русские и америкаицы, и иикто из наших воинов, не желая омрачать этот счастливый, долгожданиый момент, не сказал, что поздновато пришли к ним иа помощь заокеанские собратья по коалиции... Нет, у иаших людей широкая душа и щедрое сердце. Да и не хотелось заглядывать в прошлое во имя будущего. Герои-победители думали о близком мире, о завтрашнем дне — высоком и чистом, как весеиnее небо, без взаимных подозрений, без войн...

Западногерманский геиерал тоже помнит те дни. Но тогда ои был еще не генералом, а молодым лейтенантом, горько переживавшим позор своей родииы. Потребовались годы — годы мужания и пересмотра казавшихся вечными «истин», чтобы прийти к выводу, что поражение гитлеровской военной машины явилось спасением для Германии и иемецкого иарода. Отсюда прямая линия размышлений вела к анализу сегодняшнего положения ФРГ. Чем ей суждено стать — существенным звеном мирного сотрудничества европейских народов или же плацдармом войны, стартовой площадкой для американских ракет? Нет, генерал не сразу встал на путь борьбы с воинствующими политиками из Бониа и Мюнхена. Он думал, взвешивал, советовался с товарищами. И только тогда, когда нашел единомышленников, понял: пришла пора действовать. Они стали выступать на собраниях, на митиигах, на манифестациях, призывая к разоружеиию и миру. На иих обрушились всякого рода «саикции», но они ие

сдавались. Пришлось уйти в отставку, чтобы продолжать борьбу. «Теперь почтения меньше, зато больше независимости!» — с улыбкой замечает отставной генерал. «Но сейчас, — добавляет он, — мы уже не одни, нас много, несмотря на политические различия. У большинства населения ФРГ, как и у вас, советских людей, есть общая, самая главная забота — предупредить войну, остановить бешеную колесницу Марса».

Подходит Вернер, берет меня под руку, подводит к высокому, могучего сложения человеку. И снова замирает сердце. Так бывает всегда, когда чувствуешь обаяние личности. А этого голубоглазого богатыря угадываю сразу — Герберт Мис, руководитель западногерманских коммунистов.

Обмениваемся двумя-тремя фразами. Узнав, что я бывший узник Штукенброка, товарищ Мис спрашивает: думал ли я когда-нибудь снова приехать сюда и увидеть то, что вижу сейчас? Не успеваю ответить, к товарищу Мису подходит кто-то из распорядителей и приглашает всех за столы.

За столами царит непринужденная атмосфера. Речи не заготовлены заранее, ораторы выступают без бумаги — люди отчитывались о своей работе, говорили о предстоящих задачах, и каждый изъяснялся в привычной для него манере.

Я уже понял, что это собрание не просто «товарищеский ужин», а как бы смотр сил, определение позиций накануне предстоящей всегерманской манифестации. И вдруг заметил взгляд Вернера, спрашивающий, хочу ли я выступить? Кровь ударила в виски. Да, хочу. Вернер чуть заметно улыбается и показывает мне три пальца. Это значит, что у меня есть три минуты в запасе. Три минуты на то, чтобы собраться с мыслями.

Что мне сказать этим людям? Я не знаю, что ожидает их завтра. Вероятно, это будет еще более трудная, еще более упорная борьба с силами зла. Но те, кто собрался в этом зале, знают, на что они пошли. Подобно древним рыцарям, они смело идут вперед, подняв забрало, идут без меча, воюя лишь с помощью слова. Они воюют за счастье своего и других народов, и это самая благородная «война», которую когда-либо знала Германия. И хочется верить в торжество добра, мужества и верности. Я почему-то вспоминаю о мюнстерских клетках на шпиле церкви, в которых когда-то на глазах у людей погибли, но не сдались последние герои кресть-

янской войны. А имена героев будет с благодарностью повторять народ.

Что ж, я готов. Встаю, начинаю и... обнаруживаю, что заготовленная мной схема трещит. Оказывается, я боюсь высоких слов! Мы все боимся высоких слов, будто наши дела недостойны их. И я стыдливо не говорю — «рыцари». И о «героях» тоже не говорю — нахожу какой-то более скромный синоним... Но заканчиваю так, как и было в мыслях, — выражением уверенности в победе добра и здравицей в честь людей, олицетворяющих мужество, верность и солидарность. Последнее слово вырвалось непроизвольно, когда мой взгляд упал на сидящих за одним столом Алексея Кирилловича, Бастиана и еще гостя, приехавшего из Нидерландов, богатыря, в прошлом тоже военного, с шапкой седых волос и резкими, словно вырубленными, морщинами на темном, как кора дерева, лице.

Сажусь. Мои пальцы похолодели. Но, кажется, я зря волнуюсь: дело сделано, все нормально. Ловлю в конце стола, за чьим-то плечом, лицо Герберта Миса — голубые глаза тепло лучатся. Алексей Кириллович сочувственно подмигивает. Молодежь, столпившаяся у стола «а-ля фуршет», даже аплодирует. Кто-то сзади дружески-одобрительно касается моего плеча. Оборачиваюсь: никого. Наверняка это Вернер: как добрый дух — осенил и скрылся.

Вскоре вниманием собравшихся овладевает новый оратор. Это кудлатый парень — студент или молодой рабочий в бело-голубой полуспортивной курточке. Он говорит, что только что вернулся из поездки в одну из соседних земель, где «áми» готовятся устанавливать свои ракеты. Показывая всем исцарапанные руки, юный доброхот мира называет их «вещественными свидетелями» готовящегося акта, позорного для Германии. «Я трогал ими проволочные заграждения, похожие на ограду гитлеровских концлагерей. Видите запекшуюся кровь — пусть это будет первая и последняя кровь, пролитая немцем!» Ему аплодируют. Вскакивает девушка, запальчиво читает стихи поэта Петера Шютта, сочиненные на волнующую всех тему:

Русские идут — уже в течение
Тридцати лет.
В 1949 году Аденауэр забил тревогу,
Они стояли перед дверью.
В 1968 году его «продолжатель» Кисингер
видел,

Что они идут.
Но они до сих пор еще не пришли.
Они довольно медлительны,
Эти русские медведи.
Вермахт шел быстрее.
Или же они не могут найти
Дорогу через тайгу?
Я думаю, что дело в том, что
В Москве, на Красной площади, до сих пор
Нет обращения с призывом:
«Идите на Запад!»

И снова — овация. Дружный, веселый смех. Кто-то запевает песню о мире. Все встают. Я вижу поющих Герберта Миса... Вернера Хёнера... Алексея Кирилловича... молодых студентов...

Нет, это слово — «солидарность» — пришло ко мне не случайно. Именно она, только она может помочь нам на этой земле.





ПРИЗРАКИ ТЕВТОБУРГСКОГО ЛЕСА

«Неофашизм»! Это зловещее слово звучит уже не один десяток лет. Сейчас к нему в пору добавить прилагательное «пожилой» или даже «застарелый». Головы первых неофашистов покрыты сединами, глаза застилает мутная пелена. Впрочем, они всегда отличались дефектом особого рода — видели все черное, все реакционное в розовых красках и, наоборот, на все, что радовало нормальных, миролюбивых людей и внушало добрые надежды, смотрели как сквозь черные очки.

«Рыцари «холодной войны» — нарекла их когда-то буржуазная печать. Изменились ли они с тех пор? Вряд ли. Скорее заматерели. Научились скрывать свои эмоции, шифровать свои истинные намерения. Но измениться, встать на путь политической или хотя бы просто гражданской, человеческой зрелости — на это оказались способны лишь единицы. Поголовное большинство осталось, как говорится, при своих.

Все это мы знали — и я, и Алексей Кириллович Горлинский, и другие наши товарищи, приезжавшие сюда, чтобы поклониться праху погибших соотечественников. Знали из тревожных газетных сообщений, из рассказов немецких друзей, наконец, из буклетов, которые вручались участникам манифестаций в Штукенброке. Буклеты были снабжены фотографиями, этими наглядными свидетельствами не только миролюбия и доброжела-

тельства лучшей части немецкой молодежи, но и злокозненных действий неофашистов, как молодых, так и старых.

Признаюсь, однако, что на фоне прежней варварской мощи молодчиков гитлеровского рейха, их преступной вакханалии современные последыши фашизма выглядели довольно чахло. Ну, собралась где-нибудь на лужайке толпа неких опереточных персонажей — увядших подагрических старичков, увешанных гитлеровскими орденами и медалями, и слушает такого же старого гриба, выступающего на фоне карты с изображением давно захваченных, а потом утраченных Германией земель, под ветхозаветными «геополитическими» лозунгами. Ну, покажут уличную драчку юнцов: кому-то разбили нос, кому-то порвали рукав... Все это выглядело, по крайней мере для меня и моих друзей, прошедших ад Штукенброка, не слишком впечатляюще.

Был, правда, случай, когда нам всем пришлось насторожиться всерьез. Накануне одной из мирных манифестаций на традиционном поле, рядом с кладбищем жертв фашизма, кто-то из руководителей рабочего кружка «Цветы для Штукенброка», кажется Вернер Хёнер, получил анонимное письмо с предупреждением, что если манифестация состоится, то там взорвут бомбу «очень большой силы». Руководителю местных коммунистов грозили, что вина за человеческие жертвы падет на него и его партию. «Отмените ваше сопливое, недостойное истинных немцев сборище!» — требовал воинственный аноним. Что делать? Вернер показал письмо представителям всех партий и групп, объявивших о своей готовности участвовать в манифестации, а также прибывшим в Штукенброк иностранным гостям. Люди есть люди, у каждого есть нервы, кое-кому, наверно, стало не по себе, но никто не дрогнул, никто не отказался от участия в манифестации. Помню, в первые минуты на гостевой трибуне я был внутренне насторожен и пытался угадать злодея, скрывавшегося в многотысячной толпе, но вскоре манифестация, страстные речи ораторов и жизнерадостные песни молодых самодеятельных артистов заставили меня забыть об опасности. Взрыва не произошло. Но неприятный осадок в душе остался. Мне хотелось увидеть «анонима» — его лицо, выражение глаз. Способен ли он осуществить свою угрозу?

И наконец увидел.

Незадолго до нашего отъезда Вернер, который давно хотел познакомить нас с легендарным Тевтобургским лесом, пригласил генерала и меня к себе домой, как он выразился, на прощальный обед. «Это будет моя последняя поездка с вами, — предупредил он не без сожаления. — Завтра я уеду по делам в Гамбург, а вами снова займется Гельмут».

Вскоре его «пежо» продвигался в потоке других машин. Миновав две или три знакомые нам площади, сворачиваем влево, на широкую прямую улицу с табличкой на углу: «Детмольдерштрассе». Невидимая рука сжимает мое сердце. Она! Сколько раз я забывал и снова вспоминал название этой улицы, где когда-то, вскоре после освобождения из плена, размещалась редакция нашей газеты.

За городом Детмольдерштрассе, набрав высоту, упирается в автобан. Поворот руля, и позади остаются придорожные садики с тусклой пропыленной листвой, приземистые, уже обветшавшие особнячки предместья, изредка украшенные дешевыми гипсовыми амурчиками и лебедями, когда-то ласкавшими глаз обывателя...

Проворный «пежо», как некая машина времени, вдруг переносит нас сразу на полвека вперед: почти неслышный скачок — и под нами исполинская полоса из литого железобетона. Автобан! Одно из чудес современной цивилизации.

Теперь машины шли в пять, в шесть рядов. Но шуршанья шин почти не слышно. Лишь только звенящий, словно сквозь сито просеянный, чистый, без примеси звук сыпался из-под колес. Справа и слева тянулись стальные охранные полосы. Часто мелькали росшие посредине дороги яблони, сливы, ровно подстриженный кустарник. А вдалеке проплывали все так же, казалось, не спеша пастбища; тучные, как на старинных полотнах, стада; острокрышие домики в разных скоплениях — то гуще, то реже. Или вставали мрачным видением, немым упреком современности осатанелой, летящей черт знает куда, развалины древнего замка...

Я посмотрел на спидометр: стрелка стояла на 200. Белые с легкой рыжинкой руки Вернера по-прежнему спокойно лежали на руле. Здесь, в машине, скорость не ощущалась ни психологически, ни физически. Но стоило немного опустить боковое стекло, как ветер со свистом врывался в салон.

Возле указателя «Детмольд» снова свернули на обычную дорогу. Вернер сказал, что весь город смотреть нет смысла, интерес представляет лишь историческая часть. Мы ответили, что полностью полагаемся на его вкус и эрудицию. Но я подумал, почему мы, люди второй половины двадцатого века, так мало ценим то, что сами созидаем? Или это заложено в природе людей: восторгаться созданиями прошлых веков, сегодняшнее же подвергать сомнению или, хуже того, безоговорочно охаивать? Но ведь по тому же закону наши потомки будут судить созданное нами и, кто знает, не зачислят ли они в разряд шедевров некое унылое, с нашей точки зрения, здание ультрасовременных форм или сюрреалистическую мазню, приводящую в ужас ценителей классического искусства?

«Все свое ношу с собой!» Вспомнив эту мудрость, я увидел себя со стороны и улыбнулся. Оставив машину у входа в старинный парк, мы шли по тропинке гуськом: Вернер впереди, генерал и я — в замыкающих.

Показывая на обвитые плющом стены замка, Вернер сообщает нам подробности о жизни какого-то местного князя, вольнодумца и либерала, посвящает в пристрастия и симпатии соперничавшего с ним архиепископа, и все это тоже, как и создававшиеся веками здания, и памятники, и росписи, принадлежит далекому прошлому. Мы с генералом внимательно слушаем. Но мне почему-то жаль эти каменные реликвии: ведь их, думается мне, сейчас можно уничтожить в одно мгновение. И я уже не могу, как прежде, беспечно любоваться прекрасными дворцами и парками, соборами и памятниками. «Они обречены, обречены!» — нашептывает сидящий во мне злой дух. И как ни пытаюсь выгнать его — все напрасно. Этого демона вселила в меня война, и он живет с тех пор, питаясь моей кровью, моим сердцем, моим сознанием, где каждый день находит себе обильную пищу в виде отложений от газетных статей, радио- и телевизионных репортажей, сводок, интервью и тому подобной текущей информации.

Смотрю на редких прохожих, пытаясь определить, не тревожит ли их такая мысль. Но на лицах добропорядочных жителей городка играет улыбка. Они видят, что мы — иностранцы, что их город производит на нас приятное впечатление, и это вызывает у них ответные чувства благорасположения к нам и еще больше

поднимает значение их Детмольда в собственных глазах.

Пройдя по исторической тропе до конца, возвращаемся, садимся в машину. Прощай, Детмольд!

Однако едем недолго. Снова город — еще меньше и еще примечательнее: Лемго. Весь городок — несколько улиц. Узорчатые, пряничные дома, с фонарями-скворешнями, с дверными молотками, висящими на цветных шнурах, с витражными окошечками в затейливых переходах. Старая ратуша еще меньше, чем в Детмольде. Старый замок местного вассала совсем небольшой, размерами с дачу какого-нибудь оборотистого современного завмага. Не знаю, считали ли в старину эти захолустные дворяне себя всесильнымн? Вернер говорнт, что их власть, особенно с возникновением городского самоуправления, была ограниченной: их могли призвать к ответу за беззаконие, поставить лицом перед народом, описать имущество... Нет, не слишком уж вольготная была у них жизнь! И питание, оказывается, тоже было довольно скудным, хуже, чем у того же завмага.

В Детмольде Вернер интересовался, не хотим ли мы перекусить. Теперь он уже не спрашивает. И мы догадываемся, что скоро его дом.

А вот и он! Признаться, мы почему-то представляли его другим, более традиционным, что ли. Да и можно ли создать уют в одном из кубиков, причудливо расставленных на зеленом лугу?

Вернер вводит нас в свое кубическое жилище, и через каких-нибудь десять минут мы убеждаемся, что современная архитектура не так уж плоха, если ее творцы думают не столько об оригинальности собственных замыслов, сколько об удобствах для жильцов. Правда, говоря о внутренней планировке, Вернер замечает, что она скорректирована им самим. По его словам, в доме десятки квартир, и нет ни одной, где планировка была бы одинаковой. Строительная организация определяла лишь размеры «коробкн», все остальное зависело от воли и желания хозяев квартиры.

Большая комната на первом этаже похожа на корабельную кают-компанию или ресторанный зал с выгородками-кабинами. Комната одна, а помещений как бы несколько: библиотека с двумя креслами и маленьким столиком; детский уголок, с вольерой для попугаев, пу-

шистым ковром на полу и горкой с игрушками; небольшая столовая с встроеииым в стенку буфетом и двумя торшерами по углам.

Мы сидим иа широкой тахте, потягнвая из бокалов апельснновый сок со льдом. Это преддверье еды, так сказать, увертюра к обеду. Сам обед — иечто таннственное, судя по выраженню лнца хозяйкн, которая только на миниуту выбежала из кухни, чтобы поздороваться с гостями, — еще не готов. Нас просят иемного потерпеть, зато, как намекает Верниер, приходя иа выручку жене, мы будем вознаграждеиы. Современные женщииы, замечает ои, не слишком любят заииматься домашним хозяйством, от иитересов их матерей, ограниченных когда-то четырьмя К — кюхе (кухия), кирхе (церковь), кнндер (дети) н кляйде (наряды) — теперь осталось н вовсе одио — последнее. Но его жеиа, шутит ои, приятиое исключенне. Оиа хотя н прииадлежит к новому поколению, ио все же сохраиила верность традициям, кроме разве соблюдения церковиых обрядов. «Мы с ней договорились, — смеется Верниер, — этот ее грех я беру иа себя. Для коммуниста все равно: семь бед — один ответ!»

Со двора прибегают дети — две девочки, тринадцати и восьми лет. Мать тут же зовет их к себе, вполголоса назидательно что-то говорит, и девочки иачииают накрывать иа стол: стелют скатерть, достают нз буфета и расставляют приборы. Я сижу с краю и вижу, что творится за переборкой. Меня удивляет хозяйствеиная сиоровка детей. Но еще больше удивляюсь легкости, с какой они перешли от веселой игры иа дворе к серьезному делу.

Стол накрыт, хозяйка снова выходит нз кухни и иаиосит несколько завершающих штрихов в его убранстве, затем сдержаиио благодарит дочек и отсылает их сиова во двор.

Нас просят заиять места. Еще мииута, и иа столе появляются яства. Только теперь мы чувствуем, что изрядио проголодались.

Сегодия особое застолье, иечто вроде бивака в пути. Комната заполиеиа мягким предзакатиым солицем. В этой дружиой семье мы отдыхаем душой, говоря о наших женах, о детях. Серьезных проблем стараемся не касаться, зиая, что еще совсем недавио по Вестфалии прокатилась очередиая волиа антикоммуинзма, которая еще жнва в памяти у всех. Но разговор об этом ие для

застолья. Генерал расхваливает блюдо из шампиньонов. Хозяйка смущенно отмахивается. «Что здесь такого? Если бы у меня были ваши русские грибы, — она имеет в виду наши боровики, — я, право, могла бы приготовить блюдо повкуснее. Но русские грибы не для нас, простых людей, это пища богачей!»

Мы дружно обещаем при следующей встрече, что называется, засыпать хозяйку нашими грибами. «Да, под Москвой, в Переделкине, где я живу летом, ими все поляны усеяны! Иной год их даже собирать не успевают!» Женщина от удивления закрывает глаза и молитвенно складывает ладошки.

Ее муж с благодушной иронией замечает, что если иметь все, что душа захочет, то можно обойтись и без повара. Заслуга заключается в другом: мало иметь, но много уметь! «Обнаружив когда-то эти способиости в одной хорошей девушке, — говорит, подмигивая, Вернер, — я решил иа ней жениться».

— Сейчас у вас есть возможность окончательно убедиться в правильности моего выбора!

Жена, с улыбкой погрозив ему пальцем, бежит на кухню и появляется оттуда с большим блюдом, на котором высится некое сооружение, напоминающее пирамиду.

Вернер, вооружившись каким-то замысловатым иожом, объявляет, что эта пирамида — изобретение хозяйки дома и состоит из тридцати элементов.

— Из тридцати пяти! — подсказывает жена.

— Тем лучше! Предлагается в процессе еды определить хотя бы половину из них. Награда — еще одна порция!

Вернер разрезает пирамиду с вершины и до основания на несколько длинных кусков и кладет по куску каждому из нас. «Ну и ну, — думаю я, — а мне казалось, что немцы мало едят». Где уж тут одолеть еще порцию, дай бог справиться хотя бы с этой!

Не претендуя на приз, просто из любопытства, пытаюсь разобраться в содержании «фирменной» пирамиды. В ее основании — поджареиные хлебцы, затем слой мясного фарша со специями. Затем слой бобов, еще какое-то мясо, вероятно куриное, затем тушеная морковь с черносливом, рисовый пудинг с изюмом, клубничный мусс с вареньем и — в завершение — дольки ананаса.

Насчитав в итоге около двадцати «элементов», не могу удержаться от того, чтобы не перечислить их вслух. Хозяйка тронута моим вниманием к ее произведению и делает знак мужу, что я заслужил обещанную награду. Вернер тянется за новым куском, но, видя на моем лице испуг, останавливается в нерешительности.

— Прошу пощады! — почти кричу хозяину.

— И я — тоже! — Генерал умоляюще поднимает руки.

Вернер смеется.

— Ага, теперь мы знаем, чем вас взять! Скажу всем: это самое сверхмощное оружие!

Алексей Кириллович показывает на остатки «пирамиды».

— Только жаль, что не все его секреты раскрыты. Впрочем, здесь, пожалуй, можно сделать исключение.

Он целует хозяйке руку и благодарит за вкусный обед.

— Простите, Вернер, но вы обещали нам еще что-то показать. Да и хозяйке надо отдохнуть от гостей.

— Один момент! — Жена Вернера берет с полки книжного шкафа фотоаппарат. — Мы, немцы, говорим: кто видит — тот помнит. Пусть у всех нас останется память об этом вечере.

Снова автобан. И снова сыплется словно сквозь сито просеянный слабо шуршащий звук. Скорость по-прежнему двести.

Но пейзажи уже вечерние, сумеречные. На траве лежит красноватый отблеск заката; большие, аккуратно сложенные скирды соломы, одиноко стоящие в опустевших полях, чем-то похожи издалека на языческие мавзолеи. Мавзолеи, в которых спит ушедшее лето, с медовым запахом трав, гудением пчел, веселым плеском ручья...

Генерал после недавнего смеха и шуток тоже впал в задумчивость. Возможно, он думает о том же, что и я: как быстро летит время и как мало у нас было мирных дней и вечеров. Ведь, в сущности, только сейчас, на склоне лет, мы постигаем истинный смысл жизни. Но, к сожалению, арсенал ее радостей для нас с каждым годом уменьшается.

— Послушайте, — говорит генерал, будто опомнившись, — мы, кажется, движемся в обратном направлении?

За окном снова мелькает дощечка с указателем «Детмольд».

— Ну конечно! Куда нас везут?

Вернер загадочно улыбается.

— Догадываюсь! — Генерал комично поднимает бровь. — Нас пригласил на ужин архиепископ? Или, может быть, даже сам князь?

— Берите выше! Мы едем в гости к великому Арминию, или Герману Херуску, предводителю древнего войска германцев, разгромившего почти две тысячи лет назад под Детмольдом, в Тевтобургском лесу, легионы римлян.

Город давно остался позади. Сворачиваем вправо на узкую полутемную дорогу. По обе стороны дороги рассыпаны домики какой-то деревушки. На щите с указателем написано: «Германденкмаль» — «Памятник Герману» и нарисована голова древнего воина в пернатом шлеме.

Арминий... Герман... Битва херусков с римлянами. Только сейчас, когда наша машина, сбавив скорость, взбирается на вершину лесистого холма, я вспоминаю, что уже слышал где-то и про битву в Тевтобургском лесу, и про памятник, чуть ли не самый высокий в Германии, а может быть, в Европе. Уж не был ли я здесь когда-то?

«Приехали!» — говорит Вернер. Последний поворот, и мы подъехали к стоянке. Несмотря на позднее время, здесь стоит десятка два машин и мотоциклов. Вероятно, это иностранцы приехали на экскурсию. Спрашиваю у Вернера. Тот делает какой-то неопределенный знак: пойдемте, мол, там посмотрим.

Что-то в его голосе настораживает меня — какая-то нотка. Неясное чувство, подобно тревожному облачку, возникает в душе. «Стоило ли нам тащиться сюда на ночь глядя?» Но логика подсказывает другое: если мы уж оказались здесь, то стыдно было бы не посетить сей холм с его достопримечательностью.

На вершину поднимаемся пешком. Попыхивая сигареткой, Вернер, снова взявший на себя роль гида, поясняет, что вряд ли история знает еще какой-либо монумент, кроме, может быть, самых древних, который стро-

нлся бы так долго: больше тридцати лет. И это уже в прошлом веке, при наличии необходимых технических средств. Скульптор придирчиво искал идеальное воплощение замысла, вносил поправки, словом, хотел создать шедевр, способный затмить все, что было создано ваятелями до него. Он посвятил этому памятнику почти всю свою жизнь, жил здесь же, у строительной площадки, вдали от больших городов, от своих близких, жил как отшельник в маленьком домике без удобств, работая и питаясь вместе с мастеровыми. Его фанатизм стал притчей, которой профессора доныне пичкают своих студентов, внушая им преданность «святому» искусству. А результат? Что ж, результатом герр скульптор тоже по-своему мог бы гордиться: при Гитлере памятник был объявлен символом истинно германского духа, сюда приводили отряды нацистских молодчиков для клятвы в верности рейху. «Образовалась своего рода цепная реакция, — мрачно иронизирует коммунист. — Сначала человек сотворил куклу, затем эта кукла стала помогать «творить» человека, вернее, античеловека. И это — в двадцатом веке, после Гёте, Шиллера, Гейне... Бедная Германия!»

«Кукла»! Впервые я услышал об этом памятнике-колоссе еще в школьные годы. Тогда появилась книга, а вскоре и фильм, где рассказывалось о трагической судьбе немецкого юноши, моего ровесника Бертольда, думающего и правдивого, который отказался сделать доклад в нацистском духе и, затравленный учителем, фашистом, кончил жизнь самоубийством. Так вот этот древний полководец Арминий, или Герман, уже не помню, как его там называли, стал невольной причиной гибели Бертольда, с ним, с его победой, которая, как старое дерево лишаями, обросла за две тысячи лет всякими небылицами, современный школьник должен был «увязать» идею величия фюрера и его несуществующих полководческих талантов.

Что ж, не знаю, был ли в жизни этот почти мифический вождь давно вымершего племени столь могучим и величавым, но его скульптурное изображение, скажем прямо, впечатляет. Еще подъезжая к стоянке, мы увидели в ночном небе подсвеченную гигантскую бледно-зеленую иглу, которая теперь, при более близком рассмотрении, оказалась победно поднятым мечом. Бронзовый Арминий стоит, картинно отставив левую ногу и опираясь на щит, а на его голове красуется столь лю-

бимый завоевателями всех времен и народов пернатый шлем.

Фигура на первый взгляд грозная. Но уже через несколько минут величие памятника начинает представляться мнимым. Вижу: нога у гиганта неестественно отставлена, а короткая туника, или кольчужка, в которую он одет, делает его похожим на солиста какого-нибудь героического балета. Да и красота сомнительная, рассчитанная на неприхотливого обывателя: хищно изогнутый нос, выпученные глаза... «Вернер прав: бедная Германия, если она могла поклоняться подобным идолам, — думаю я. — Интересно, как относятся немцы сейчас к этому памятнику? Вероятно, лишь с любопытством, не больше?»

Обращаюсь с вопросом к Вернеру, но тот делает вид, что не слышит меня. Я ловлю его взгляд, направленный в сторону постамента, где у подножия каменных колонн копошатся странные тени, и тревожное чувство возвращается ко мне. «Неонаци!» — негромко произносит Вернер. Он говорит спокойно, но интонация настораживающая.

Смотрю на генерала. Тот уже, конечно, все понял и делает мне едва уловимый знак. Я подхожу ближе. «Может, нам лучше уехать?» — тихо спрашивает Алексей Кириллович. «Думаете, они нападут?» — «Нападут не нападут, — уклончиво отвечает он, — но нежелательные эксцессы не исключены».

Однако момент для благородной ретирады уже упущен. Вернер, как бы бросая вызов столпившимся у постамента молодчикам, предлагает нам подняться на смотровую площадку. Мы медлим с ответом, и наш гид, продолжая внешне невозмутимо попыхивать сигареткой, направляется к входу в цоколь.

Десять шагов... двадцать. Молодчики, рассредоточившись, выходят из укрытия. Теперь, на свету, они предстают во всей красе. Молодые парни — старшему, наверно, не больше двадцати пяти лет, — отличающиеся друг от друга, как положено людям, ростом и чертами лица, явно постарались устранить это «несовершенство» природы. На них одинаковая одежда — грубые солдатские штаны, заправленные в низкие краги, кожаные или клеенчатые куртки, матерчатые шапки с подвернутыми наушниками и длинным, как утиный нос, козырьком, — те, что у нас в народе зовутся «тоска по Гитлеру». Одинаковым кажется и выражение лиц: деланно свирепое,

глупо-решительное, под стать возвышающейся над ними тысячепудовой металлической кукле.

Кинутся ли они на нас в прямую атаку или нет, нам пока неизвестно. Но вид у них воинственный. Впрочем, этот боевой задор немного стоит: их больше десятка, а нас трое. Силы явно неравны. Мы понимаем: главное сейчас — спокойствие и уверенность. Дрогнувших бьют. Надо ждать. И быть начеку, не пропустить ни одного подозрительного движения.

Подпустив нас ближе, молодчики маневрируют — выстраиваются в ряд — и быстро, почти бегом вырываются вперед. Перед нами вырастает как бы живая стена из молодых, напружинившихся тел. Парни стоят в позе штурмовиков — ноги раздвинуты на ширину плеч, руки сложены на груди. Конечно, они уже догадались, кто мы и откуда. Но, может быть, потому на их лицах написана не только угроза, но и какая-то тайная растерянность. Почувствовав это, мы подходим к ним вплотную и требовательно просим дать дорогу. Минутное замешательство, потом старший делает пренебрежительный жест, означающий: ладно, мол, пока мы их пропустим. Стоящие посередине подвигаются, и мы не торопясь проходим сквозь строй.

За дверью в постаменте начинается узкая каменная лестница, ведущая вверх, на смотровую площадку. Из висящего на стене плана узнаем, что нам предстоит подняться на высоту более пятидесяти метров. «Может быть, мы все же туда не пойдем?» — хочу спросить у моих спутников. Но они уже смело двинулись вперед. Отставать нельзя.

Мы идем по одному, друг за другом, стиснутые стенами из темного продымленного кирпича. На площадках горят тусклые электрические лампочки, заправленные в бывшие газовые рожки. Лестница крутая, почти отвесная, и я, идущий последним, вижу перед собой лишь ботинки генерала: они новые, блестящие, не иначе надел их перед отъездом из Москвы.

Внизу пока тихо. Неужели молодчики струхнут? Что-то непохоже на неонаци!

Вдруг внизу раздается какой-то грохот, затем звон разбитого стекла. Генерал останавливается. «Вы живы?» — слышится его голос. «Жив». Идем дальше, то есть выше. Когда же кончится проклятая лестница?

Еще сотня ступеней, и мы пришли. Переводя дыха-

ние, стоим на бетонированной площадке, полуосвещенной косыми лучами, падающими, вернее, стекающими сверху, с бледно-зеленых, неживых ног гиганта. Он тяжело нависает над нами, упираясь своим зеленым мечом чуть ли не в самые звезды.

«А что там, внизу?» Я заглянул за барьер. Но там все тонуло во мраке, усиленном узким лучом прожектора, и я не смог рассмотреть ни автостоянки, ни людей у подножия. По темным силуэтам угадывались лишь аккуратные, как циркулем вычерченные, полукружья декоративного кустарника, окаймляющего поляну, и за ними прорезанная в чаще дорога, прямая, как шрам от удара мечом. Она уходила из полосы света и терялась где-то в долине, по которой мы ехали днем, любуясь домами и старыми замками. Сейчас там было также сумрачно, будто все вымерло.

Генерал произносит, вглядываясь вдаль:

— Глухо. Тут хоть волком вой — не услышат.

Налетает холодный верховой ветер, срывает с меня кепку, я, изловчившись, ловлю ее в воздухе. Вернер шутит, что это сигнал к тому, что нам пора уходить.

Ныряем по одному в люк в том же порядке, что и раньше: Вернер — первым, за ним — генерал и я.

Пройдя обратный путь до половины, попадаем в темноту. Под ногами трещит стекло — мерзавцы наци побили внизу все лампочки.

Что делать, как быть дальше? На счастье, Вернер, единственный из нас курящий, находит в кармане зажигалку. В темноте вспыхивает язычок пламени, но тут же гаснет. Снова вспышка. Теперь Вернер предусмотрительно заслоняет огонек ладонью, и мы продолжаем идти.

Приближаемся к выходу. Вернер исчезает в прогале под аркой, огонек гаснет. Неживой голубоватый свет заливает ступеньки, ведущие на лужайку. Выходим, оглядываемся: никого нет, только рядом на площадке валяются пустые бутылки.

Стоянка тоже пуста. С краю, как-то боком, притулился наш «пежо». Вернер обходит его кругом, подозрительно оглядывая. Что-то ему не нравится. Открывает капот. «Уж не копались ли они здесь?» — бормочет он.

Садимся в машину. Плавный спуск, вираж, и снова спуск. Все в порядке. Теперь, пожалуй, можно расслабиться. Устраиваюсь поудобнее, расправляю спину. Впе-

реди на приборной доске светятся часы. Мысленно прикидываю: «Через час мы должны быть у себя в отеле. А там — стакан горячего чая — и в постель...»

Толчок! Бросок! Машина юзом ползет куда-то вправо, в темноту, и после отчаянных усилий Вернера, пытающегося предотвратить беду, останавливается на краю дороги. Дружно, не сговариваясь, выскакиваем из машины. Еще немного, и она свалилась бы в овраг.

Вернер, ощупывая скат, находит прокол. На счастье, в багажнике сохранился запасной баллон. Спешно производится замена, и мы едем дальше.

Теперь машина идет ровно. Но я уже боюсь загадывать. Кто знает, что еще произойдет с нами через пять, через десять минут...

Генерал снова толкает меня локтем, показывает: посмотри назад. Оборачиваюсь. За нами впритирку друг к другу движется несколько машин, над той, что идет в середине, на полкорпуса впереди остальных, развевается флаг со свастикой. Это все те же неонаци!

Что им нужно? Вначале предполагаем худшее: они собираются таранить нашу машину, сбросить ее в пропасть. Но Вернер по-прежнему спокоен.

Пронзительный гудок, и одна из машин вырывается вперед. Остальные идут за нами почти вплотную, как стая волков. Я усмехаюсь в душе: не они ли, вернее, такие же, как они, может быть, их отцы, недобитки фашисты, в первые послевоенные дни, объявив себя «вервольфами» — оборотнями, волками в овечьей шкуре, — шастали по лесам в надежде легкой поживы?

И мне вспоминается осень сорок пятого в этих местах, когда мы возвращались на Родину.

...Автострада поднимается в гору. Машины слегка буксуют: недавно прошел дождь. Желтые пятна света плывут по мокрым цементным плитам, как в черном зеркале. Хочется спать.

Но спать нельзя. В миссии нас предупредили, что здесь, в лесах, скрываются недобитые фашисты. Красный огонек на головной машине гаснет и снова загорается — это дается команда приготовить оружие.

Нас обступает темный лесной массив. Над головой, точно руки чудовищ, простираются могучие лапы сосен, отряхивая с себя тяжелые капли. Кое-где, как мертвые стражи царства, стоят охотничьи избушки, чернея пу-

стыми глазницами окон. Срывается с дерева ночная птица, ныряет в чащу. Трещит валежник, будто кто-то огромный крадется во мраке, рядом с нами.

Напряженно вглядываюсь в темноту, стиснув до боли в пальцах рукоятку пистолета. Машины движутся медленно, ощупью. Но напряженность скоро проходит, и глаза начинают слипаться, голова клонится набок. Щиплю себя за ухо, снимаю фуражку, высовываюсь в окно. Меня обдает дождем, лесной сыростью. За воротник бежит вода, прогоняя сон.

Скорее бы выбраться из этого леса! Продолжаю сжимать рукоятку до тех пор, пока не начинает светать. Деревья постепенно редеют. Машины, скрипя тормозами, спускаются вниз, в долину, окутанную туманом. Огонек в голове колонны гаснет.

Думал ли я, что через тридцать с лишним лет еще сохранятся и «вервольфы», и флаги со свастикой?

...Но, кажется, мы уже уверились, что с нами ничего не случится, сколько бы эти ни бесновались. Генерал делает вид, что перестал обращать на них внимание, разговаривает с Вернером, шутит. «Готовятся к авторалли, хотят выиграть хрустальный кубок!» Он кивает на окно, за которым, отчаянно клаксоня, проносится то одна, то другая машина. На что рассчитывают преследователи — запугать, сбить с курса? Или же просто продемонстрировать перед нами мощность своих моторов? Вот нас обгоняет их «фюрер» — тот, что на головной машине, под свастикой. Он злобно показывает нам кулак. «Гаденыш! — думаю я. — Или просто болван, запоздавший прочистить себе мозги?» Воображаю: если бы он мог пустить в ход оружие! Нам пришлось бы плохо!

— Нельзя ли от них оторваться? — спрашивает генерал Вернера.

Тот пожимает плечами. «Все зависит от машины. Да и что они вам?»

Коммунист сидит в спокойной, невозмутимой позе, устремив взгляд на дорогу и не оглядываясь по сторонам. Лишь в скулах прячется напряжение. Он прикидывает, примеривается и вдруг каким-то немыслимым рывком выводит машину вперед. Минута, другая, и «фюрер» с его стаей остаются позади.

— Молодец, Вернер! — радостно воскликнул я. — Вот это класс!

Генерал молча кивает на спидометр. Стрелка на нем дрожит где-то за последней чертой, обозначающей предел скорости. Так, на пределе, мы едем еще минут десять, пока машины наших преследователей не скрываются из виду.

— А вот и Билефельд! — произносит Вернер. Приникаю к стеклу. Впереди в небе зарево — отсвет огней большого города. Сзади — пустая автострада.

— Неужели приехали? — радостно откликается генерал.

Вернер, не отвечая, начинает сбавлять скорость.





НАСЛЕДНИКИ КОММУНЫ

Сначала нам показывают город. Мы уже знаем, что во время войны он был почти полностью разрушен американскими и английскими бомбами, как, впрочем, все более-менее значительные немецкие города. Потом его восстановили, прежде всего центр с его историческими памятниками, которых здесь особенно много, больше, чем в каком-либо другом вестфальском городе. И восстановили, надо сказать, тщательно и любовно. Только очень зоркий и опытный глаз может обнаружить в этих башнях, шпилях, скульптурах подделку под старину. «Молодцы ваши мастера — и прежние и современные!» — говорит генерал, отдавая должное неизвестным нам архитекторам, скульпторам, каменотесам, резчикам по дереву... В руках у Алексея Кирилловича карта с рисованными изображениями памятников старины, и он, как человек, привыкший к точности и обстоятельности, делает на ней свои пометки. «Здесь мы уже были. А сюда хотелось бы зайти». Наш гид Эвальд, секретарь окружкома ГКП, влюбленный в свой город, с нескрываемым удовольствием поглядывает на генерала, который сейчас больше похож на дотошного историка или искусствоведа. Кому из патриотов не льстит внимание к предмету их гордости?

«Кто в Мюнстере не бывал, тот Вестфалии не видал» — примерно так на русский лад звучит местная

поговорка. И это не преувеличение. Здесь, на Рыночной площади и прилегающих улицах, что ни дом, то реликвия. Есть среди них и немые свидетели великих исторических событий, таких, например, как окончание Тридцатилетной войны. В зале этой Старой ратуши был подписан знаменитый Вестфальский мир, давший возможность вздохнуть обескровленным народам Европы... А этот кафедральный собор? Что только не помнит он на своем почти тысячелетнем веку? Его стены, высокие стрельчатые окна, древний портал видели закованных в железо крестоносцев, бюргеров в пышных, расшитых золотом одеждах, спесивых князей и графов, видели и «плебс» — трудолюбивых, неунывающих простолюдинов вроде этого, стоящего здесь же, на площади, запечатленного в камне крестьянина, нагруженного корзинами с овощами, с гусем, переброшенным через плечо. Все века вот такие подневольные сыны народа кормили плодами своего труда чванливых господ. Но время от времени чаша народного терпенья переполнялась, и площадь оглашалась шумом толпы и трубными звуками, зовущими к восстанию.

Эвальд подводит нас к одной из церквей, тоже старинной, но более скромной, чем собор, и показывает наверх. Там, под самым крестом, видны три клетки — снизу они кажутся почти игрушечными. Мы невольно ищем взглядом: нет ли в них птиц? Но, вглядевшись, видим, что клетки пустые.

Наш гид печально усмехнулся. «Вы слышали о Мюнстерской коммуне?» — спросил он. «Конечно!» Мы с генералом тут же выложили наши скромные познания. Кажется, говорим, дополняя друг друга: если не изменяет память, это была, так сказать, последняя, но самая героическая страница Крестьянской войны. Древние «коммунары», защитники интересов бедноты, исповедовали равенство и братство, выступали за ликвидацию сословных привилегий, справедливое разделение имущества... «Да, да, — кивает своей рано полысевшей головой Эвальд, и его взгляд за очками слегка влажнеет. — Они, в сущности, боролись за то же, что и мы с вами. Только кончилось все плохо». Коммуну, рассказывает немец, задушили богатые феодалы, а попавших в плен вождей казнили. Для троих из них, самых стойких и убежденных, придумали особый, изощренный вид казни: живыми посадили в клетки, подняли на вершину этой церкви и потребовали при народе отречься от своих идей.

Но враги так и не дождались торжества. «Коммунаров» не испугала мучительная смерть от голода. Они умерли, про́клятые власть имущими, которые решили сохранить эти клетки навечно — в назидание всем, кто задумает когда-либо последовать идеям погибших...

История давняя, но трогает душу. Мы еще несколько минут стоим молча, как бы отдавая дань памяти героев. Есть, наверно, какая-то незримая связь между людьми всех эпох, теми, кто жаждет в этом мире справедливости и всеобщего счастья, кто ненавидит насилие и алчность.

В скромный ресторанчик, находившийся тут же, на средневековой Рыночной площади, мы приходим с опозданием. Нас уже ждут собравшиеся на дружеский обед местные коммунисты. Подъехал сюда и Вернер. Он укоризненно показывает нашему «гиду» на часы.

— Беда нам с тобой, Эвальд! Вечно ты со своими рассказами не укладываешься в график.

— Заморил всех голодом, особенно гостей! — прибавляет еще один из присутствующих, плотный коренастый мужчина с веселыми голубыми глазами, одетый в форменную курточку с изображением лиры в петлицах.

— В самом деле, — откликается Эвальд, доставая из кармана трубку, и виновато смотрит на нас с генералом. — Пусть товарищи простят мне мою болтовню.

Он садится и от смущения начинает выбивать трубку о колено.

Полная женщина средних лет, круглолицая, с цепким взглядом умных, насмешливых глаз, поднимает палец.

— Хочу сказать два слова в его защиту. Если он закурил, значит, и сам проголодался. Я уже заметила за ним... А ты, Вилли?

Она поворачивается к сидящему в кресле под пальмой худощавому пожилому мужчине.

— А... что? — Он, оказывается, задремал, пока нас ждали. — Что ты сказала, Фрида?

Все, кто наблюдал эту сцену, дружно хохочут. Раздаются реплики:

— Хорош! Что он будет делать после обеда?

— Досматривать свой сон. Наверно, тот был приятный, если наш Вилли жмурился, как кот на печке!

— Фрида, ты спроси у него потом наедине, кто ему там снился!

— Могу. Но тогда я должна рассказать, кто снится мне.

Все смеются, рассаживаясь за один стол. В зале собралось человек сорок, но ощущение такое, словно здесь одна семья, как и накануне, в профцентре, только меньше и, пожалуй, еще сплоченнее. Сюда пришли люди, которых связывают годы совместной борьбы. Некоторые из них, поясняет Вернер, еще помнят Тельмана, но есть и совсем молодые товарищи, испытанные в «легальных» схватках последних лет.

Эти люди пришли для встречи с нами. Не так уж часто, думаю я, им приходится видеть у себя посланцев страны, которая стала для них с юных лет маяком, озаряющим жизненный путь. Кое-кто по этому случаю даже приоделся. На том же Эвальде замечаю новый, видимо, непривычный для него, галстук. Женщины — в выходных платьях, кофточках. Нет никого, кто бы был в затрапезной помятой одежде или, наоборот, в новомодных джинсах. Все одеты просто, добротно, может быть, иногда чуть старомодно.

Мы с генералом внутренне подтягиваемся. Понимаем, что представляем сейчас не только самих себя. О, это нелегкая миссия! Но, не сговариваясь, стараемся нести ее без напряжения. Самое страшное, когда тебя сковывает свинцовая «официальность». Лучшее лекарство в таких случаях — это шутка.

И генерал (он, конечно, в центре внимания), взяв слово сразу за представившим нас Вернером, спрашивает у присутствующих, почему за столом он видит добрую половину мужчин в единственном числе.

— А где же жены? — Он комично обводит глазами сидящих. — Уж не являются ли некоторые товарищи послушниками какого-нибудь монастыря?

Юмор доходит, на лицах людей появляются улыбки. Однако ответа нет.

— Вот вы, — Алексей Кириллович кивает еще не старому, но уже лысоватому мужчине с крупными чертами загорелого лица. — Вас зовут, кажется, Вольфганг? Так скажите, пожалуйста, товарищ, у вас есть жена?

Немец, слегка покраснев, делает неопределенный жест.

Все смеются.

— Так есть или нет?

— Была! — подсказывает Вернер.

— Тогда извините, — генерал разводит руками, — не знал. И все равно трудно представить, что такой мужчина ходит в холостяках.

— А у вас где жена, Эвальд? — обращается он к секретарю окружкома.

— Тоже была, — негромко откликается тот.

— Но вот вы, молодой человек, неужели и вы не женаты?

— Нет.

— И не были?

— И не был.

— А почему?

Отвечающий, крепкий, широкоплечий блондин лет тридцати, с длинными волосами, широко улыбается.

— Желающих не нашлось. Одна, правда, пообещала, а потом раздумала.

— Приданое бедновато, — подсказывает его сосед, — а хлопот хоть отбавляй!

— Каждый день окна от краски отчищать — радости мало!

Снова смех венчает этот, казалось бы, не слишком веселый разговор. Вероятно, мы, гости, чего-то недопонимаем? Генерал, догадавшись, что затронул больную, может быть, даже запретную здесь тему, вопросительно смотрит на Вернера.

— Нет, нет, все правильно, — говорит тот, — я человек женатый и отвечу на ваш вопрос. Наши подруги жизни, по моим понятиям, — героини. Но их подвиг известен, к сожалению, лишь узкому кругу.

«Подвиг»! Вглядываюсь в сидящих за столом женщин, на их лицах нет ни мрачной одержимости, ни следов пережитых страданий. Но это ни о чем не говорит. В прошлом им всем, верно, пришлось немало претерпеть, да и сейчас их жизнь нельзя назвать легкой.

Формально коммунист здесь такой же гражданин, как и все, рассказывают немцы. Тем не менее ему чинят препоны на каждом шагу. Пошатнулись дела у предпринимателей, началось сокращение на производстве — кого выбрасывают за ворота первыми? Коммунистов. А если открылось новое предприятие, то кого принимают последними, на самую худшую работу? Коммунистов. Да это еще полбеды, а то и вообще не берут, оставляя без средств на жизнь. Богатые акционеры недвусмыс-

ленно заявляют: «Мы не хотим кормить тех, кто собирается нас уничтожить!» Логика глупая и вздорная, однако на кого-то подействовала, иначе власти не санкционировали бы «запрета на профессии», под который предприниматели теперь подводят каждого, кто протестует против несправедливости.

Несколько раз в рассказе мелькает слово «прессинг», которое мне приходилось ранее слышать лишь у спортсменов. Пытаюсь выяснить у своих соседей по столу, что оно означает в данном случае.

Пожилой Вилли кивает, вслушиваясь в мой вопрос, но внятно разъяснить не может, только сжимает руки в кулаки и упирает их друг в друга. На помощь приходит его жена. Она говорит, что, как и в спорте, это слово обозначает давление. А проявляется оно в любых областях жизни. Сейчас же речь идет о дискриминации, которой коммунисты подвергаются, так сказать, «в рамках закона».

— Это я назвала бы «большим прессингом». — Говорит круглолицая Фрида, и в ее умных глазах за очками в тонкой оправе искрится усмешка. — А есть еще «малый прессинг», он не предусмотрен никакими постановлениями, но мы, коммунисты, ощущаем его как нечто газообразное, своего рода угар или зловоние, растворенные в воздухе, которым мы дышим. Примеры? Ну, самый первый попавшийся... У нас в торговле широко практикуется продажа товаров в кредит, вы слышали? Так вот, случается, придешь в лавку к булочнику, а он вместо хлеба сует тебе под нос фигу. Та же сцена может произойти и у молочника, и у мясника. А вокруг люди — одни сочувствуют, другие злорадствуют: так, мол, им, коммунистам, и надо! Вынести это трудно. Но держишься, ведь пожаловаться некуда! — Женщина пожимает плечами. — Или еще пример — с детьми. Приходит ребенок из школы, а у него все лицо в крови. Спрашиваешь: «Кто это тебя так?» Отвечает сквозь слезы: «Ребята из нашего класса». — «За что?» — «За то, что я сын коммуниста». Иду к родителям обидчиков, рассказываю. Они разводят руками: «Мы здесь ни при чем, дети есть дети!» Выходит, опять никто не виноват. — Фрида невесело качает головой. — Думаете, здесь говорилось насчет очистки стекол ради красного словца? Нет, редкая ночь проходит без того, чтобы кто-либо из наших недоброжелателей не испакостил нам окна или двери. Иногда так разрисуют масляной краской, что не

сразу и сотрешь. А сотрешь — смотришь, через день-другой они все снова в непристойных рисунках или надписях. Каково, представляете, очищать эту пакость, высунувшись в окно, на виду у прохожих и соседей? О, нет, наши мужчины совсем не монахи, они вполне нормальные люди, но женщинам трудно с ними жить в таких условиях.

— А как же вы, Фрида?

Она улыбается.

— В нашем положении с Вилли различия нет. Ему так же могут вымазать окна из-за меня, как и мне из-за него.

— Значит, вы тоже член партии?

— Безусловно. И Вилли не просто муж, он — мой учитель, мой, выражаясь высоким стилем, Пигмалион. Но, связав свою судьбу с ним, я никогда не считала себя несчастной.

И Фрида рассказывает, что встретилась с Вилли больше двадцати лет назад, когда молоденькой, еще далекой от политики студенткой полиграфического факультета пришла на практику в издательство, выпускавшее школьные учебники. Тогда Вилли, который заведовал одним из отделов, был как коммунист на нелегальном положении. Она узнала об этом лишь через год, когда между ними уже была дружба, готовая вот-вот перейти в любовь. Вилли предупредил ее о возможных неприятностях, назвал все свои «минусы»: преклонный возраст, отсутствие официального развода с женой, уехавшей от него вместе с детьми в другой город, наконец — и это, как он сказал, главное — вечные неприятности от властей. Фрида ответила, что для нее существуют лишь два фактора: любовь и доверие. «Если они есть, то никакие «минусы» на меня не влияют». Так сложился этот союз. С тех пор прошло много лет, Вилли скоро семьдесят, он болен и недавно перенес тяжелую операцию, ему уже нельзя работать так, как раньше. Но все, что этот человек знал и умел, чем обогатила его жизнь, он постарался передать своей Фриде — любимой женщине, товарищу, другу. Теперь, как говорит она не без гордости, главные заботы в их маленькой семье лежат на ней. «Но даже если бы их было в тысячу раз больше, — добавляет Фрида в заключение, — никто никогда не услышал бы от меня ни одного вздоха». И эту стойкость ей привил тоже Вилли!

Генерал рассказывает собравшимся о нас, советских коммунистах, называет многомиллионную цифру — количество членов самой массовой партии в мире.

— Если бы у нас была хотя бы десятая часть! — произносит Вернер.

— Если бы! — подхватывает плотный, коренастый Эрих. — Тогда наши толстосумы не посмели бы обижать рабочего человека.

— Ничего, — вставляет Эвальд. — У римлян была поговорка: «Капля долбит камень не силой, но частым падением». Мы ведь тоже чего-то добились!

Немецкие товарищи говорят, что учатся у нас прежде всего искусству связи с массами, умению всегда прислушиваться к их чаяниям, держать руку на пульсе.

— Здесь я присоединяюсь к Эвальду, — говорит Вернер. — Нам уже кое-что удалось, думаем, удастся и дальше. Не будь нас, правые совсем подняли бы голову. Но они не слепые, видят, что по многим вопросам народ с нами. Взять хотя бы антифашистские митинги в Штукенброке! А манифестации мира?!

Кто-то провозглашает тост за единство честных людей земли! Все встают. Кажется, наша встреча подошла к концу. Увидимся ли мы еще когда-нибудь?

Я смотрю на немцев, на их строгие, серьезные, вдохновенные лица. За Эвальдом и его соседом, молодым крепышом с длинными волосами, в окно виден знакомый шпиль с клетками. Вдруг возникает мысль: а как бы сейчас повели себя эти люди, стоящие сейчас рядом с нами, если бы их попытались заставить отречься от идеи? Наверно, также предпочли бы смерть.

После обеда почти все расходятся, уезжает даже Вернер, сказав, что дома у него не совсем здорова жена, но завтра он обязательно приедет к нам в гостиницу. Прощаясь, советует: «Побродите по городу еще немного с Эвальдом! Лучшего гида не найдете во всем Мюнстере!»

А где его друг, веселый Эрих в синей музыкантской куртке? Он сказал, что хочет поговорить с нами, а сам ускользнул из-за стола незаметно, еще в разгар обеда. «Не беспокойтесь, — шутит, уходя, Фрида. — Если нашему Эриху Керну надо, он отыщет и на дне морском». А муж многозначительно улыбается. «Вы еще с ним увидетесь».

...За рулем Эвальд, я сижу рядом с ним. Генерал уступил мне свое место, а сам, как он выразился, ушел

во второй эшелон и сейчас подремывает, привалившись к дверце. Что ж, от застолий тоже устают, особенно если это еще и работа.

Уже темно. Недавно мы проехали последний более-менее освещенный жилой массив и, совершив на развороте нечто вроде прощального круга, въехали в лес. Сразу наступила почти кромешная тьма, лишь иногда прорезываемая вспышками встречных фар.

Решаю: может быть, тоже вздремнуть? Смотрю на Эвальда. Он сидит как каменный: кожаная кепочка надвинута на лоб, руки словно приросли к рулю. Он курит, борясь со сном. И мне спать нельзя, неудобно. Пытаюсь, по привычке, развлечь себя психологическими «шарадами».

Взять, к примеру, этого немца. Кто он? Я имею в виду не только его профессию, но прежде всего его биографию. В войне, вероятно, не участвовал: был еще мал. Но она опалила его детство, оставила отметины в душе. Отсюда вывожу мысленную прямую, ведущую к партии коммунистов. Просто и ясно. Но тут же ловлю себя на возможности ошибки, которую совершал уже не раз: если что-либо поначалу просто и ясно, то затем окажется все наоборот. Недаром мудрецы учили: наблюдай!

Прошло каких-нибудь пятнадцать-двадцать минут, а я уже сделал несколько любопытных наблюдений. Что Эвальд обстоятелен, мы уже знали. Но он еще и тверд, и, если надо, смел, и, кажется чуточку самолюбив. Несколько раз нас обгоняли машины лихачей, ехавших на недозволенной скорости. И всегда Эвальд снова выходил вперед, пусть на секунду, но выходил — для того, чтобы дать понять, что он может и не уступать им, однако уважает порядок и безопасность.

Или такое наблюдение: он не сентиментален, но добр и жалостлив. В одном месте свет наших фар захватил на дороге зайца. Серый испуганно замер, сжавшись в комочек. Эвальд не просто объехал его, нет, он остановился, вышел из машины, взял зайца за загривок и оттащил в лес. И только убедившись, что длинноухий скрылся в чаще, вернулся и поехал дальше.

Наконец, он хитер! Но хитрость его особого рода — самому ему она не приносит ничего, кроме хлопот и, может быть, неприятностей. Но зато служит людям, его друзьям. А Эвальд — верный друг, в этом мы вскоре убедились.

...«Варендорф», — прочел я на указателе. Справа, вписанные в темный лес, показались небольшие дома. Я уловил взгляд водителя, брошенный на часы. Стрелки приближались к половине десятого. Эвальд неожиданно сбавил скорость, почему-то смущенно посмотрел на меня и хмыкнул.

Кто-то в белом метнулся на дорогу, машина остановилась. Бог мой, да это же Эрих Керн! Сунув голову в кабину, он что-то говорит, размахивая руками...

— Битте, битте, цум мейн хауз! Прошу вас, пожалуйста, ко мне в дом. Это здесь, рядом!

Я в растерянности. Время позднее, а до нашего отеля еще далеко. Да и устали мы...

Будим генерала.

— Что? А, товарищ Эрих! Очень, очень рад! Поужинать! Друг мой, мы уже совершенно без сил. Скажите ему, что нам сейчас в глотку ничего не полезет.

Эрих продолжает отчаянно махать руками.

— Аллес фертиг! У моей жены уже все готово, стол накрыт!

— Нет, нет! — сопротивляется Алексей Кириллович. — Какое там застолье в десять часов. — И добавляет, поворачиваясь ко мне: — Да знает ли он, что в Москве сейчас уже двенадцать, люди спят. А мы москвичи...

Но напоминание о Москве лишь еще больше подстегнуло желание немца заполучить нас к себе.

— Ну хотя бы на пять минут! — Он умоляюще смотрит на генерала и выкладывает последний козырь. — Разве на войне вы всегда ложились спать в это время?

— Да, но то была война.

— А вы вообразите, что она еще идет!

Генерал качает головой: хороши шуточки. Однако, подумав, сдается.

— Ничего не поделаешь, придется зайти. Но только на пять минут.

Эрих с торжествующим криком устремляется по дороге к дому, а мы едем за ним. Теперь мы понимаем, почему он исчез из ресторана: ему захотелось принять нас у себя.

Вылезаем. Алексей Кириллович, роясь в своем «дипломате», тихо говорит мне:

— Неудобно идти с пустыми руками. Нужен какой-то презент...

— Презент! — восклицает хозяин, уловив последнее слово. — Лучший презент — это вы сами! — Эрих почти силком затаскивает нас в дом и подбегает к внутренней двери. — Гертруд! Иди сюда! Ты видела когда-нибудь в своем доме генерала?

Входит, снимая с себя передник, хозяйка.

— О, это для нас такая честь!

Глаза у Гертруд веселые, как у мужа, нос курносый, миловидное лицо. Молодец, Эрих, не промахнулся когда-то, выбрал подругу по себе.

Мы как-то сразу теплеем от присутствия этой женщины.

— Садитесь за стол. Мы, конечно, не капиталисты, но у нас говорят: «Добрый прием выручает даже плохую хозяйку!» А мы с Эрихом так вам рады!

Эрих, передав бразды правления жене, уже сидит за столом и колдует с графинчиком, нацеживая в рюмки какое-то зелье красноватого цвета.

— Не беспокойтесь, это для виду. — Он подмигивает. — Фирменный напиток «Семья Керн и К°»! Лучший безалкогольный коктейль во всей Германии. Тридцать даров леса на одну бутылку воды, и ни капли спирта.

Смеясь, садимся — каждый на свое место. Алексей Кириллович сидит, как ему положено, в центре стола, между хозяином и хозяйкой. Теперь, при таком надежном заслоне, о пяти минутах нечего и думать. Дай бог управиться хотя бы за полчаса.

— К делу, товарищи, к делу! — Генерал поднимает рюмку с фирменным зельем. — Если никто не возражает, я скажу несколько слов.

Возражений, конечно, нет, и наш генерал говорит, что пусть это застолье не предусмотрено никакими протоколами и пусть происходит оно не в каком-нибудь парадном зале, а в маленькой квартирке немецкой рабочей семьи, однако радушие, с которым здесь принимают нас, советских людей, делает эту встречу, может быть, самым ярким событием дня... — Генерал, шутливо посмотрев на хозяина, добавляет: — И, скажем для точности, уже и ночи.

Он говорит, что в годы своей довоенной юности, в далекие двадцатые годы, взял комсомольское обязательство выучить немецкий язык для того, чтобы способствовать лучшему взаимопониманию трудящихся СССР

и Германии. Но так уж получилось, что вскоре пришлось приналечь на другие предметы, которые в силу исторической обстановки вышли на первое место. Впервые он пожалел, что не сдержал слово, лишь в конце этой войны, когда был уже майором и вместе с войсками оказался на территории Германии. Недобитые фашисты отравляли сознание простых людей, пугая всякими ужасами, которые якобы грозят им со стороны СССР и его армии. Как ему хотелось тогда разоблачить этот бред: своими словами, ярко, убедительно рассказать о характере советского народа — простого, совестливого, незлопамятного... Жалеет и теперь, когда бывает на немецкой земле с миссией мира и дружбы. И сейчас надо разоблачать клевету врагов и недоброжелателей. Но чаще он страдает от бедности своего запаса немецких слов, желая сказать простым людям, трудящимся Германии, обо всем том, что объединяет две наших страны, два народа, от которых в конечном счете зависит, быть или не быть войне в Европе, а может быть, и во всем мире.

— Я хочу поднять этот бокал... — генерал улыбается, — эту рюмку за то, чтобы мы всегда встречались на такой и подобных мирных позициях и чтобы наши глаза смотрели только дружески; чтобы злоба и жажда уничтожения никогда, понимаете — никогда! — не взяла верх над тем человеческим, что украшает нашу жизнь. За это, друзья, и за наших дорогих хозяев!

Все дружно опоражнивают рюмки. Выпив, Гертруд чмокает генерала в щеку.

— Вы так хорошо сказали!

Алексей Кириллович приятно смущен. Показывает глазами на хозяина.

— А он меня не вызовет на дуэль?

— Но вы же генерал. А он даже стрелять не умеет.

— Не умею? — Эрих, сделав грозное лицо, поднимается. — Да знаете ли вы, что я единственный вооруженный коммунист во всей нашей стране.

Он срывается с места, бежит в соседнюю комнату и возвращается с большим длинноствольным пистолетом образца прошлого века.

— Вот! — потрясает им в воздухе. — Дрожите, тираны!

— Скажи лучше, ночные воришки! — выкрикивает, смеясь, его жена.

— Те уже дрожат! Скоро полгода, как я на вахте, а все тихо.

— Еще бы! Ты и без этой пушки грозен.

Эрих снова куда-то удаляется, и здесь мы узнаем от его жены, что после исключения из профсоюза он долго скитался в поисках работы, пока наконец при помощи родственника устроился ночным сторожем с половинной зарплатой. Заработок у него теперь мизерный, но Гертруд, которая так же, как и Эрих раньше, работает на стройке, говорит, что взяла роль «коренника» на себя и тянет, не жалуется. «Значит, у вас теперь матриархат?» — замечает генерал. «У нас всегда был матриархат, — смеется женщина. — Мой муж от своей зарплаты оставляет мне рожки да ножки. Все остальное идет у него на общественные нужды».

Не успеваем мы спросить, куда он затрачивает свои средства, а главное, свою энергию в свободное от работы время, которого, как мы понимаем, теперь у него хоть отбавляй, как Эрих снова появляется с какой-то блестящей трубой в руках. Точнее, это сразу несколько труб, похожих на сложенные вместе пастушьи или древние сигнальные рожки.

— А вот оружие, которое не стареет! «Шальмайен!» — нет, перевода вы не найдете. Этот инструмент пришел из глубины веков и встал на службу германскому рабочему классу. Знаете, как у нас его называют? Горлом революции!

И он издает на трубе громкий, призывный звук.

Гертруд бросается к нему.

— Безумец, что ты делаешь? Ты хочешь, чтобы нам отказали в квартире? И так соседи недовольны, что рядом с ними живут коммунисты!

— Но я хочу, чтобы гости видели, что я не только слоняюсь здесь по ночам с этим дурацким пистолетом. Я — музыкант, дирижер и первая труба нашего шальмайен-оркестра!

— Мы верим, верим! — убеждает его генерал, опасливо косясь на стену. Но, кажется, там тишина.

Эрих успокаивается не сразу. Он несколько раз, уже шутя, приставляет трубу к губам, делая вид, что пугает соседей, называет их филистерами и собачьими хвостами, потом снова бежит в другую комнату и приносит кипу брошюр, где рассказывается долгая и славная история немецких «шальмайен-капелл». Оказывается, еще в средние века представители имущих классов — князья и графы — ненавидели не только музыкантов, игравших

на этих инструментах, но и сами инструменты. Бедные рожки, как им доставалось! Их запрещали, конфисковывали, отправляли на переплавку... И гитлеровцы, не успели прийти к власти, как уже была дана команда «тотального» уничтожения ненавистных им труб. Уничтожили и «красных музыкантов». Многих из них схватили в Мюнстере в первые же дни нацистского режима. Из застенков гестапо они уже не вернулись.

— Каких людей убили! — Эрих называет имена. — Но музыку им убить не удалось, она живет!

В соседней комнате у супругов устроен своеобразный музей. На фотографиях последних лет мы видим новую мюнстерскую «шальмайен-капеллу»: десятка два музыкантов, одетых в синие костюмы, красные галстуки и темные береты. В центре группы, конечно, Эрих Керн, рядом с ним — его Гертруд. Еще два-три их сверстника, среди них мы узнаем Эвальда. Остальные — молодежь, парни и девушки не старше двадцати лет.

— Инструменты наши, костюмы — тоже, — поясняет хозяин, он же дирижер и первая труба капеллы. — Частная собственность, которая работает против капитала.

На других фотографиях показана жизнь рабочих Мюнстера — первомайские шествия, манифестации мира, концерты на самодельных эстрадах и просто во дворах, поросших травой. Всюду душой события является капелла. Но меня немного удивляет слишком уж сосредоточенный, даже суровый вид музыкантов. Замечаю, что при таком веселом дирижере и оркестранты могли бы быть повеселее. «Мы все веселые, когда отдыхаем, — отвечает Эрих, — но работать и скалить зубы — это могут только ресторанные шуты. Наша работа — серьезная!»

Хозяйка хлопает в ладоши, требуя внимания.

— Не говорите с ним больше о его капелле, не то он и вас заставит играть на этой дудке.

— Непременно! — подхватывает Эрих. — Мне как раз не хватает одного баритона и одного пикколо!

— Чур я — пикколо! — Генерал, смеясь, поднимает палец. — У моей внучки есть такая дудочка. Только далеко отсюда — в Москве.

— В Москве! — Эрих мечтательно поднимает глаза. — Вот где нам хотелось бы побывать с концертом.

— Кто бы там стал нас слушать, — Гертруд качает

головой. — В Москве такие замечательные артисты, правда?

Но генерал отвечает, что у нас в столице часто выступают и таланты из народа, чьи концерты пользуются иногда не меньшим успехом, чем выступления профессиональных мастеров искусств.

Алексей Кириллович извлекает из своего «дипломата» цветной плакат с видом Кремля, разворачивает и показывает здание театра, где обычно проходят фестивали и смотры художественной самодеятельности.

— Какая красота! — восторженно шепчет Гертруд. Ее особенно умиляют кремлевские соборы.

— Это верно, что у них купола из чистого золота?

Эрих насмешливо стучит ей по лбу.

— А еще строитель! Будь по-твоему, церкви от тяжести давно рухнули бы!

Эвальд спрашивает, в каком из домов работал Ленин. Мы показываем.

— А где заседает советский бундестаг? — интересуется Эрих.

— Верховный Совет, — поправляем его мы.

Немцы долго смотрят на многооконное здание под красным флагом.

— Давайте выпьем за Москву! — вдруг предлагает Гертруд и снова наполняет рюмочки.

— Давайте! — Эвальд все же решается сделать еще глоток, но предупреждает, что этот будет последним.

— Правильно! — Генерал, посмотрев на часы, восклицает: — Первый час ночи! — Он поднимается с рюмкой в руке. — На посошок! У нас в России это означает: удачной дороги. Так? — Эвальд солидно кивает. — Ну и удачи тем, кто остается. За вас... и за Москву!

Мы уже идем к порогу, как хозяин, всплеснув руками, кричит, чтобы мы подождали.

Он опять скрывается в соседней комнате и через минуту выносит оттуда два небольших свертка.

— Вам... на память!

На улице мы обнимаемся. Гертруд смахивает с глаз слезу. А ее неугомонный муж делает дирижерский жест и вполголоса запевает:

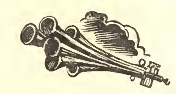
Москва моя, Москва моя...

Больше слов он не знает. Зато мелодию ведет с завидной точностью. Гетруд вдохновенно вторит ему.

...У себя в номере я развернул сверток. В нем было несколько книг и брошюр. На одной из них, рассказывающей о жизни Эрнста Тельмана, прочел надпись: «Советскому товарищу в память о пребывании на мюнстерской земле, с мечтой о победе Коммунизма во всем мире!»

Была здесь и уже знакомая мне книжица о «шальмайен-капелле». С портрета смотрел Эрих Керн — крепкий, коренастый, серьезный, с хитро прищуренными глазами. Кого же он мне тогда напомнил?

Ба, да ведь это была почти точная, лишь осовремененная, копия того — каменного — крестьянина с городской площади, одного из тех, кто когда-то воевал за свободу и справедливость.





ИНТЕРВЬЮ У ТРАПА

Пожалуй, никто так не любит задавать вопросы, как немцы. Чем это объяснить — интересом к чужой жизни или жаждой сенсаций? Надо и мне их спросить — ну, хотя бы вот ту белокурую студентку в очках или того большого, толстого, бородатого, безвозрастного детину, отрекомендовавшегося магистром психологии. Но все больше и больше понимаю, что времени у меня не останется. Светящиеся цифры на табло над выходом в предпосадочный вестибюль бегут, мои провожающие Гельмут и Дитер уже начинают нервничать и посматривают на окруживших меня интервьюеров неодобрительно, особенно нетерпеливый, не любящий, как он выражается, толочь воду в ступе, Гельмут, но наш диалог — в данном случае его следовало бы назвать «многологом» — все накаляется.

— Как вы попали в плен?

— Как и многие мои товарищи по концлагерю. В окружении под Киевом был тяжело контужен, потерял сознание...

— А если бы не потеряли? Хватило бы у вас решимости кончить жизнь самоубийством, как поступали некоторые?

Кажется, это опять бородатый психолог.

— Не знаю. Скорее, испробовал бы все способы вы-

браться из «котла» и либо вышел бы к своим, либо погиб бы.

— Значит, вы, по нашей классификации, реалист, а не фанатик?

— Ну, если у вас есть своя классификация, то судите сами.

Слышится смешок окружающих, психолога оттесняет высокий пожилой лысоватый мужчина решительного вида со впалыми щеками и глазами, ушедшими под лоб.

— Я поляк, в детстве тоже был в концлагере — в Гросс-Розене, может быть, слышали о таком, — там умерли мои родители и старший брат. Нам приходилось плохо, но вам, советским, еще хуже. Мы хотя бы пользовались поддержкой Красного Креста, получали от него немного галет или сухарей, иногда папиросы, иногда кое-какие лекарства. Советские же не получали ничего. Но, может быть, так было только в Гросс-Розене, а у вас...

— Понял. В Штукенброке было то же самое.

— И как же вы остались живы?

— Так и остался.

— Это не объяснение. Вероятно, вы находились на каком-либо привилегированном положении?

В тоне поляка чувствуется неприязненная нотка. Кто он, этот бывший хефтлинг, осевший на чужой земле? И какие «привилегии» он имеет в виду?

— Думаю, вам лучше других известно, что тот, кто имел там привилегии, вряд ли вернулся бы на родину и уж, во всяком случае, не приезжал бы сюда сейчас как представитель своей страны...

Мой намек понят. Что-то ворча себе под нос, поляк отходит, уступая место полной молодой даме с крупными чертами лица и свисающими, как у библейской грешницы, волосами. Скороговоркой назвав неизвестный мне печатный орган, который она представляет, дама задает мне явно не блещущий новизной вопрос о том, почему в нашей стране у власти всего лишь одна партия коммунистов и не является ли это угрозой миру?

С минуту молчу. Нет, я далек от того, чтобы усматривать в даме злокозненного провокатора. Скорее всего она просто из породы ретивых газетных попугаев, зарабатывающих на хлеб повторением, так сказать, общих мест, которые вечно напуганный обыватель еже-

дневно пережевывает, как подножный корм. Ну что ей ответить? Ведь она ждет от меня какой-нибудь обмолвки или, хуже того, казенной, неубедительной отповеди, которую при известной бойкости пера можно было бы обернуть против нас же.

— Ваше имя, фрау? — любезно интересуюсь я.

— Урсула Шмидт.

— Так вот, фрау Урсула, насколько я понял, вы являетесь сторонницей многопартийности.

— Безусловно.

— И считаете ее единственной гарантией прочного мира?

— Разумеется.

— В таком случае прошу вас припомнить, что произошло в городе Веймаре тридцать первого июля тысяча девятьсот девятнадцатого года?

Моя корреспондентка краснеет, неуверенно пожимает плечами.

— Меня тогда еще не было на свете, — пытается отшутиться она, с тайной надеждой на подсказ поглядывая на окружающих. Но они тоже пожимают плечами. Наконец один из них приходит ей на помощь и вспоминает, что, кажется, в этот день была принята первая в Германии буржуазно-демократическая конституция, разрешающая существование многих партий.

Хвалю его за знание истории и задаю даме еще один вопрос:

— И уж, конечно, вам известно, что произошло через тринадцать — всего тринадцать с небольшим — лет?

За нее отвечает хор голосов:

— Президент Гинденбург назначил канцлером Гитлера...

— Наци пришли к власти...

— Началось самое проклятое время для Германии.

— Только ли для Германии? Гитлер — это война!

— Истина, неясная одним неофашистам!

Дама поспешно закрывает свой блокнот и исчезает. Гельмут, довольный моим ответом, показывает на табло.

— Нам пора! — Он хочет завершить «пресс-конференцию».

Прощаюсь с обступившей меня молодежью. Кто-то жмет мне руку, кто-то дает свою визитку, девушка в

очках, отделившись от уходящих товарищей, возвращается и вручает мне памятный сувенир — самодельный диск из прозрачной пленки с записью какой-то студенческой песни.

Гельмут, подхватив мою дорожную сумку, добродушно посмеивается над моими полемическими способностями.

— Ты, Александр, здорово отбрил эту газетную Марию Магдалину. Только я ответил бы ей пожестче. Та, библейская, Мария была честнее, она хоть покаялась!

Мы убыстряем шаг. Однако у стеклянных дверей заминка. Среди собравшихся выделяется атлетическая фигура Дитера, посланного Гельмутом на разведку.

— В чем дело? — Гельмут теребит его за плечо.

— Посадка задерживается.

— Почему?

— Сказали, технические неполадки.

— И долго ждать?

— Вероятно, не меньше часа.

Гельмут сокрушенно вздыхает. Он говорит, что должен спешить домой. Но и покидать меня ему неудобно. Дитер, который живет поблизости, успокаивает Гельмута обещанием «подождать еще немного». Прощаюсь с Гельмутом, тот убегает, Дитер с некоторой завистью смотрит ему вслед.

Через полчаса прощаюсь и с Дитером, заверив, что мне одному не будет скучно: пройдусь по залу, посмотрю на людей. Нет занятия увлекательнее, чем наблюдать за многоликой и многоязычной толпой.

Тем не менее, оставшись один, некоторое время испытываю душевную пустоту. Хожу вдоль нескончаемого ряда ларьков, разглядываю витрины. Чего здесь только нет — от пластмассовых попугайчиков для развлечения младенцев до всяких сомнительных снадобий, предназначенных омолаживать стариков. У последней витрины толпятся несколько человек — пожилые негр и негритянка, трое весело гогочущих солдат-французов с ранцами за спинами, священнослужитель откуда-нибудь из Алжира или Марокко.

Вдруг кто-то берет меня за локоть.

— А я думал, что вы уже в Москве!

Оборачиваюсь. Это толстяк психолог, который час назад был оттиснут другими, более энергичными интервьюерами. Кажется, он рад, что наш самолет задерживается.

— Старик Гегель недаром сказал, что все действительное разумно, — пытается шутить он. — Может быть, нам удастся продолжить нашу беседу? — И признается, что целых два дня караулил меня в аэропорту, поскольку для него якобы я первый из встреченных им живых свидетелей проклятого прошлого.

— Почему первый? — удивляюсь я.

— Нет, нет, — уточняет толстяк, — вы меня не так поняли. Я имею в виду именно ваше прошлое. Ведь я работаю над докторской диссертацией на тему об изменениях психики у людей, прошедших гитлеровские застенки. А вам, советским, досталось больше, чем кому-либо. Вы не только не получали никакой помощи от Красного Креста, но с вами было и самое жестокое обращение. В том же Штукенброке от голода и издевательств погибал, вероятно, каждый второй, а может быть, еще больше.

Он говорит уже взволнованно, горячо, и это расположило к нему. Что ж, я готов ответить на интересующие его вопросы. Мы выбираем уголок, откуда можно видеть табло с объявлениями, садимся. Толстяк достает из портфеля маленький диктофон и приспосабливает его у себя на коленях. Замечаю, что это вряд ли нужно, ведь для науки, насколько я понимаю, важны не те или иные слова, а суть. Но молодой ученый со мной не согласен. «Все важно... очень, очень важно... — упрямо твердит он. — Ведь вас осталось так немного!»

Толстяк тяжело вздыхает и начинает говорить о несовершенстве статистики, которая исчисляет потери в минувшей войне в страшной, но, по его мнению, далеко не полной цифре — пятьдесят миллионов. А разве психически травмированные, увечные душевно, утратившие интерес к жизни, желание жить не являются жертвами войны, еще более ужасными, чем те, кто был убит или умер от ран или голода? Ведь не только наука, которую он представляет, ведет многолетние наблюдения за физическими и душевными процессами, происходящими с людьми, пережившими войну, но и художественное творчество исследует эти процессы средствами искусства. Он называет мне длинный ряд книг, фильмов, спектаклей, где изображены бывшие участники войны, узники концлагерей, люди, выдержавшие оккупацию, даже сражавшиеся в Сопротивлении, но затем, уже в мирное время, сбившиеся с пути и ставшие отбросами общества. Особенно трагичной в этих произведениях выглядит судьба

тех, кто дружил когда-то, в трудные годы, а потом, попав в гораздо менее суровые обстоятельства жизни, дрогнул и забыл о дружбе, хуже того, предал своих друзей. Не отсюда ли, говорит он, в современном обществе родился скепсис, недоверие человека к человеку, словом, все то, что сейчас так или иначе мешает взаимопониманию людей?

Завершая свою мрачную, хотя и не лишенную основания тираду, он спрашивает меня о моем личном опыте: случилось ли нечто подобное со мной или моими друзьями?

Ему хочется пополнить моими свидетельствами уже имеющуюся у него коллекцию «комплексов неполноценности». «Призовите на помощь свою память, может быть, она подскажет вам хотя бы одну подобную судьбу», — многозначительно говорит психолог, словно гипнотизируя меня.

Он зря старается, мне нечего напрягать мою память. И нечего скрывать или утаивать. Насчет нас мой собеседник прав в одном: война, концлагерь, да и последующие испытания могли искалечить хоть кого и зачастую калечили. Но душа осталась прежней.

Психолог мне не верит. «Это чудо! — говорит он. — Значит, вы какие-то особенные». Он просит меня рассказать о моих друзьях.

И я вспоминаю.

Воспоминание первое

Поздняя осень сорок пятого.

Поезд идет медленно: дорог не хватает, почти на каждой станции «пробки». Вагоны набиты до отказа, люди едут на ступеньках, держась друг за друга, теснятся в узких проходах и на тормозных площадках. Некоторые, наиболее отважные, расположились даже на крышах. Говорят, что первое время среди любителей такого способа передвижения было много жертв. Сейчас более-менее спокойно: люди приспособились, привыкли. Едут себе не тужат, хотя все чаще льют дожди и холода уже прихватывают. А где привычка, там и душевное здоровье: слышатся шутки, смех. Под Брестом, например, видели такую картину. Сидит на крыше вагона какой-то давно не бритый мужичок, видно, из репатриируемых, шапка набекрень, в руках трофейный аккордеон — знай себе наяривает, веселит публику. А что-

бы не упасть, привязался веревкой за трубу. Ему хорошо, и всем тоже. Домой едут!

Мы — наша бывшая редакция — едем с комфортом, в крепком, просторном пульмане, занимая почти половину верхних нар. Посредине вагона стоит железная печка-«буржуйка», которая спасает нас от холода, особенно ночью. Углем обеспечиваем себя по-партизански: где выпросим у машиниста или складской охраны, где наберем украдкой ведро-другое на стоянке. Словом, вагон быстро обжили, даже украсили по углам пучками золотых кленовых листьев, сосновыми ветками...

За эти дни были у нас и свои радости, но были и огорчения. Еще в Магдебурге, перед отправкой, нашу «команду» хотели разделить — офицеров отправить отдельно, рядовых — отдельно. Пришлось нашему бывшему редактору обратиться к генералу, тот помог, сказав, что если мы работали вместе, то и на Родину должны ехать вместе. Но Машеньку даже и ему не удалось отстоять: таков якобы приказ свыше, чтобы военные репатриировались отдельно от гражданских. Все так, приказ есть приказ, его не обсуждают. Но надо было посмотреть, как прощался наш Петя Струцкий со своей Машенькой! Плакал навзрыд, забившись в угол, едва успокоили. Машенька, к удивлению, держалась более стойко, гладила бедного Петю по плечу, приговаривая: «Встретимся еще, бог даст, встретимся!»

В Бресте рядовому составу приказали сдать пистолеты. И здесь, оказывается, был закон. Все наши, конечно, подчинились без разговоров, кроме Леонида. Тот вступил в пререкания с начальником контрольного поста, доказывая, что пистолет получен им в награду за мужество и самоотверженность, проявленные при освобождении лагеря, и потому принадлежит ему пожизненно. «Как советский гражданин, я требую!» — кричал он. Но начальник поста только усмехнулся. «Ты сначала фильтрацию пройди, а потом уже требуй!»

По нашей земле мы едем быстрее, почти не останавливаясь. Мелькают станции и полустанки — иные с наспех сколоченными будками вместо сожженных служебных помещений, с разрушенными водокачками. И села какие-то полумертвые — с почерневшими подслеповатыми окнами, с заброшенными, заросшими бурьяном палисадниками, с вырубленными садами. Белоруссия, край горя и бедствий...

Людей видим редко. Лишь иногда промаячат вдали

какие-нибудь фигурки — женщин, собирающих в полях остатки соломы, или солдата, возвращающегося домой.

Куда мы едем?

Мои друзья приникли к окнам и ловят глазами названия полустанков, пытаясь угадать маршрут. У Зубкова от ветра даже нос покраснел. «До Смоленщины далече?» — кричит он каждому, кого увидит. Ему отвечают по-разному: кто утвердительно кивает головой, кто разводит руками... Мне смешно: охота пуще неволи! Ну, будь тысяча или будь сто километров, что изменится?

Только под вечер останавливаемся. «На обед!» — кричит сопровождающий эшелона, открывая двери. Все горохом ссыпаются вниз, под откос, гремя котелками. Из полевой кухни, окутанной легким аппетитным парком, получаем по черпаку супа и тут же, на месте, его съедаем. «Перекур!» — подается команда. Гурьбой толпимся у станции, смотрим, как вдоль вагонов шныряют краснощекие бабенки в платках и ватниках, с корзинами в руках, весело окая, предлагают соленые огурцы, кусочки сала, посыпанные крупной серой солью, пирожки с картошкой.

«Ведь смоленские, а?» — Зубков хватает одну из них за рукав. «Смоленские, аль не слышишь!» — со смехом отвечает женщина. Зубков на радостях покупает у нее весь товар. «Угощайтесь! — предлагает он каждому. — Такие пироги, кроме как у нас, нигде не поешь!»

«По вагонам!» Эшелон трогается. Неизвестность по-прежнему осталась, но на душе все же легче. Людей увидели — это не раз чихнуть, как любит выражаться мой друг. Я поворачиваюсь к Андрюше: он сидит, уставившись в одну точку, и курит. Леня развернул свою заветную тетрадку, мусолит карандаш и что-то мучительно сочиняет. Заглядываю, читаю: «Милая Валечка и дорогой сын Артур! Спешу сообщить вам, что нахожусь...» Дальше он что-то зачеркивает, снова пишет и снова зачеркивает. «Пиши: на Родине!» — подсказываю ему. Он радостно восклицает: «А ведь верно! Вот голова!»

Смеркается. Кто-то зажигает коптилку. Я лежу и разглядываю потолок, по которому, как бесплотные духи, ходят тени. Странно: неужели я дома? И все позади — война, концлагерь... Когда-то я умирал от голода,

меия бнлн, кололи штыками, травили собакамн. Но выжил, ие погнб. И душа ие погнбла. Когда иачалась другая жнзнь, я как-то сразу прнвык к ией: работал, пнсал. И любнл... Даже не верится, словио я прочитал какую-то кннгу.

В вагоне уже почтн все спят. Только иаш капнтан сндит с нголкой в руке, при свете иочннка пришнвает к гнмнастерке иовый подворотннчок н шепчется с Леней.

— Главное — это найти себя. Тогда прндет спокойствне. А ты, по-моему, еще не нашел.

Леня порывнсто возражает:

— Главное, чтобы тебе верилн. Пусть мне поверят, не вспомннают — я горы сверну!

— А может быть, наоборот? Ты сиачала делами докажн.

— И докажу!

Петя Струцкнй тнхо посапывает у себя в уголке. Сашка храпнт. Николай Мнхайловнч Зубков завернулся в одеяло н что-то бормочет во сие. Андрюша лежит рядом, я чувствую его тепло. Красные обожженные векн плотно сжаты, в волосах серебрится тонкая ниточка. Что это, неужели седнна? Я вглядываюсь: точно...

Да, то, что с иами было, не прошло даром. И все же стоит ли вннить жнзнь за ее урокн? Я вндел кровь, грязь н подлость. Но вндел н настоящнх людей — это искупает все.

Начннаю засыпать. Постукивают колеса. Ласково мнгает ночник, плывут тени. Чья-то большая, невидимая рука гладнт мое лицо, легко прнкасается к сердцу н уноснт все горестн н тревогн.

Мие хорошо, я дома.

Воспоминание второе

Иван Гавриловнч Алексеев, наш главный врач из штукенброкского ревира, — жнв! Как мы все рады свнданию с ннм, ведь осенью сорок четвертого года его забрали в гестаповскую тюрьму, потом отправнлн в Гемер, по слухам, в какой-то особый лагерь, откуда уже не возвращаются. Но он выжнл, его освободили тогда же, когда н нас, — в начале весны сорок пятого. Потом мы вместе уехалн на Роднну и снова расстались. Доктор вернулся в свое Ставрополье, мы разъехались по разным городам и селам...

И вот после почти двадцатилетней разлуки мы снова собрались в Москве, за одним столом. Здесь и Леонид, и Андрюша, и Бадиков, и бывший Жорка Беглец. При встрече — поцелуи, объятия, затем разговоры: сначала о том, кто кем стал, кто как живет, обзавелся ли семьей? Иван Гаврилович о своих семейных делах не распространялся, сказал лишь, что после войны пришлось начать жизнь, в сущности, заново. Про работу говорил с гордостью: несколько лет назад принял заброшенную сельскую больницу и начал ее поднимать, развернулась стройка, недавно заселил главный корпус, который может сделать честь иной столичной больнице. «Все самое новое, самое современное. Приезжайте, посмотрите, в каких условиях лечатся наши колхозники!»

Дорогой Иван Гаврилович, ведь он же когда-то спас меня...

Я смотрю на него сейчас — седого, отяжелевшего, с отеками под глазами, и вспоминаю его другим — высоким, стройным красавцем с могучей и гладкой, как столб, шеей, с лицом, словно высеченным из чистого мрамора... Мне никогда не приходилось видеть таких красивых людей. Красивых и добрых! Кто был я для него — обычный лагерный доходяга, присланный из рабочей команды с переломом руки и красным «шайном» — адовой карточкой, в которой говорилось, что после излечения меня как саботажника должны отправить в штрафной блок «особого назначения». Что это такое, знал каждый в лагере. Я старался не думать о будущем. Ревир мне представлялся последней пристанью по дороге на тот свет.

Однажды в бараке появился какой-то рослый, светлоглазый парень с серьезно-озабоченным выражением глаз. Он кого-то искал. Карманы у него были подозрительно оттопырены. Сперва я принял его за обычного «менялу», лагерного спекулянта, ищущего, чем бы поживиться. Он пошарил глазами по нарам и вдруг направился ко мне. Подойдя, нагнулся и шепотом назвал меня. Я вздрогнул, обожгла мысль: меня намерены досрочно перевести в штрафной блок. Но тут же инстинкт подсказал, что здесь что-то не так. И я кивнул. Парень еще раз оглядел меня, подмигнул. «Ты что, забыл? Я Леонид, Ленька! Давай котелок!» Я рванулся в темноту, в угол, дрожащими руками достал свою ржавую посудину. Парень быстро переложил в нее содержимое

карманов — кусок просяного хлеба, несколько вареных картофелин, соль в тряпочке, щепотку табаку. Выложив, снова подмигнул, дружески пожал мне руку и быстро, слегка припадая на одну ногу, пошел к дверям. Я даже не успел поблагодарить его.

Можно было сойти с ума от счастья. Почему оно вдруг свалилось на меня, почему? Кровь билась в висках радостными толчками, перед глазами плыл туман. Я быстро, почти не жуя, съел одну картофелину, другую... Потом закурил. Затянувшись раз-другой, совсем опьянел и, отдав окурок соседу, повалился на нары. В ушах все звучали, как музыка, слова моего неожиданного благодетеля: «Мы о тебе позаботимся!» Кто «мы»? Все это было как сон.

Через два дня, под вечер, мой благодетель появился снова в нашем бараке и вызвал меня на улицу. В сгущающихся сумерках мы прошли с ним по «рингу» — замкнутой кольцом дороге — вдоль проволочной стены, окружавшей ревир. Тут я кое-что узнал. Леонид — он работал санитаром в операционной — сказал, что выполняет поручение главного врача. Я удивился: откуда обо мне знает сам главврач? Леонид только похлопал в ответ меня по плечу, как маленького. «Он все знает!» Эти слова прозвучали примерно так, словно речь шла о боге.

Мы долго прохаживались в темноте, ослепляемые иногда блуждающим лучом прожектора, и я ловил на себе острый, испытующий взгляд. Мой новый товарищ «прощупывал» меня, расспрашивая вроде бы невзначай, в какой семье я рос, где учился, кем воевал, как попал в концлагерь...

На следующий день рано утром, едва в бараках зажгли свет, пришел наш фельдшер, маленький ворчливый старик, и сделал мне клизму. «Сегодня вас будут оперировать по поводу аппендицита», — важно пояснил он и удалился. Я долго лежал, недоумевая, и вдруг вспомнил: до моего перевода в штрафной блок осталось всего три дня!

В полдень фельдшер пришел за мной и повел меня в хирургический барак. В приемнике уже ждал Леонид — торжественный, в белом халате. «Больной, идите сюда и разденьтесь!» — сказал он официальным голосом, преувеличенно громко, и провел меня в закуток, завешенный одеялами. Там шепнул: «Не бойся, операция ерундовая, а прокантуешься здесь еще с месяц».

И радостно в самое ухо: «Ночью Москву слушали. Наши уже в Польше!»

Голый, я прошел в операционную и послушно лег на длинный и узкий стол, застланный простыней. Наискосок, в углу, возились два фельдшера, доставали из автоклава с кипящей водой блестящие ножи, ножички, кусачки и аккуратно раскладывали их на марлевой подушке. Я лежал, смотрел на эти приготовления и вдруг увидел его — моего бога! Он возник надо мной неслышно — огромный, в широком халате, с лицом, наполовину закрытым белой маской. На меня внимательно, с чуть заметной усмешкой, смотрели большие черные блестящие, необыкновенно выразительные глаза. «Здравствуй, герой! — послышался наконец низкий, приглушенный маской голос. — Значит, на операцию согласен?» Он спрашивал! Мурашки поползли у меня по телу — не от страха, от восторга. Куда я попал? Подо мной был не жесткий операционный стол, а белое облако, которое принесло меня сюда, в эту сказочную страну, где царят добро и человечность...

«Что с тобой, ты плачешь?» — спросил «бог». «Не знаю», — пробормотал я, глотая слезы. «Боишься?» Я отчаянно замотал головой. «Понимаю!» — сказал он.

Его глаза сделались грустными, задумчивыми. Он долго глядел на меня или мимо меня и молчал. Фельдшера рядом тоже замерли с инструментами в руках. «А вы что смотрите! — вдруг рявкнул «бог». — Оденьте его и пусть катится обратно в свой барак, к чертовой матери!»

Я опомнился у себя на нарах. Что случилось? Неужели я чем-то разгневал этого человека? Горестно закрывшись с головой шинелью, я погрузился в сон — тяжелый, тупой... Проснулся, услышав, как кто-то толкает меня. Это был Леонид. Даже в сумерках я увидел в его глазах веселые искорки. Высыпав в котелок свои обычные дары, он кивнул мне: выйдем.

Мы вышли. «Эх, ты, — сказал он, смеясь, — шуток не понимаешь. Пожалел он тебя, говорит: молодой, еще не резаный... Обещал что-нибудь другое придумать».

Еще через два дня меня отправили в туберкулезный филиал лагеря, а попросту «яму», где гитлеровские сатрапы, боявшиеся заразы больше, чем воздушных налетов, содержали инфекционных больных. Ходили слухи, что там режим еще жестче, чем в основном лагере, —

несчастных чахоточных за малейшую провинность загоняют в бассейн с ледяной водой. Но это меня не трогало. Я знал, что назад из «ямы» уже хода нет.

На прощанье Леонид снабдил меня запасом хлеба и табака. «Учти, — предупредил он, отведя в сторону, — главное, чтобы тебя там оставили. А мы о тебе не забудем. Придешь — скажи врачу в приемнике: «Привет от Ивана Гавриловича!»

И пароль сработал.

В «филиале» нас всех провели через рентген. В темноте кабинета я различил две тени. Слышалась немецкая речь, латинские термины. «Сюда!» — скомандовала правая тень, и рука в холодной резиновой перчатке крепко сжала мне плечо. Это был наш врач, час тому назад я успел передать ему привет «от Ивана Гавриловича». Слева от него, как я понял, сидел немецкий «унтерарцт». Ледяная металлическая рамка прижалась к моей груди. «Дыши!». Я нерешительно вздохнул, не зная, что будет лучше для меня — дышать глубоко или, наоборот, затаить дыхание. Немецкий врач что-то пробурчал. Рука незаметно подталкивала туда-сюда. «Нихт кляр!» * — сказал немец. «Их глаубе, цвай вохе бехандлюнг!» ** — предложил русский. «Гут» ***, — недовольно согласился немец и махнул рукой...

Я вышел, словно сдал решающий экзамен. «Цвай вохе бехандлюнг» — две недели лечения — вскоре с помощью резинки и карандаша превратились в «цвай монат», два месяца. Об этом позаботился писарь Михаил Андреевич, тихий пожилой человек с круглым бледным лицом, тоже один из «архангелов» Ивана Гавриловича. Он же помогал с едой, с куревом... Данный мне пароль сработал наверняка!

А сам Иван Гаврилович — он остался где-то там, в общем лагере, и продолжал воевать за жизнь людей. Я услышал об участившихся побегах из ревира и невольно подумал о главвраче. Почему он не бежит? Потому что помогает бежать другим. Да и дожить тоже. «Если уж «ждать», — думал я, — то только так, не иначе...»

И вдруг как-то ночью меня разбудил Михаил Андреевич. Он держал в руках карбидную лампочку, дро-

---

* Неясно, плохо видно *(нем.)*.
** Я думаю, две недели для лечения *(нем.)*.
*** Хорошо *(нем.)*.

жащее пламя освещало его лицо, бледное, как бумага. Он поманил меня в угол барака — на улицу выходить было еще рано — и тревожным шепотом сообщил, что Ивана Гавриловича и нескольких врачей забрали в гестапо. «Как? Почему?» — только бормотал я. «Почему?» — усмехнулся «архангел». Мы долго молча стояли и курили. И обоим думалось со страхом: что с ним сейчас? Если бы мы могли знать!

И вот теперь, ошалев от радости, мы потчуем его и говорим, говорим.

Несколько раз в передней звонил телефон, друзья, узнавшие о приезде дорогого гостя, просили сказать ему хоть несколько слов, но хозяин дома брал трубку и неизменно отвечал, что Иван Гаврилович устал и сейчас отдыхает. «Какого черта врешь! — орал на него Иван Гаврилович. — Я занят тяжелым трудом!» Он шутливо показывал на придвинутые к нему яства, а потом на сердце. «Уморите вы меня, братцы, во мне же весу больше центнера плюс два инфаркта». Все смеялись, и больше всех он сам — над собой, над своими болезнями.

«Все правильно, товарищи!» — сказал он, когда мы провожали его на вокзале, и вдруг, поднявшись на ступеньку вагона, запел песню, которую любил петь там, в лагере, разумеется, тайно, за закрытыми дверями. Это была песня о Москве. «Я по свету немало хаживал...» Мы дружно подтянули.

На перроне на нас смотрели удивленно. «Уж не во хмелю ли они?» — было написано на лицах. Да, в нас говорил хмель, но особый: любовь к жизни, друг к другу, память о прошлом.

Мы пели до тех пор, пока поезд не скрылся из глаз.

Воспоминание третье

Под Новый год первой, как всегда, приходит поздравительная открытка из Костромы. От него. И, как всегда, со стихами.

С Новогодьем, старый друг,
Счастья, радости, удачи,
А прихватит коль недуг,
Дай ему, как прежде, сдачи!

Стихи напечатаны на машинке. А дальше приписка от руки. «Это ведь я не столько о тебе, сколько о себе — насчет недуга. Слякотная осень оживила мои болячки, выползли, разбойники, на свет божий и тиранили. Пришлось учить студентов на дому, с «постельной» кафедры. Но ничего, ходили исправно, слушали внимательно. А потом, конечно, рой вопросов. Короче — жил, и тем спасался... Сейчас полегче, встаю. Вижу в окне двор, белый от снега, синичек перед окном. Все-таки как это прекрасно: снег, деревья, птицы, ожиданье чего-то хорошего... Давай и ты не хандри. Надо держаться, дружище, памятуя, что хуже, чем когда-то, для нас уже не будет, а все лучше еще может быть! Твой Володя».

Я храню его открытки и письма — они всегда полны душевного света, но лаконичны. Мой друг бережет время для многочисленных дел — лекций, выступлений, научных и литературных трудов... В моем шкафу хранятся его книги. Их тему не назовешь одной фразой. Тут и пособия по педагогике, и сборник литературных викторин, развивающих находчивость и интеллект, и записки краеведа, влюбленного в свою костромскую землю, и повесть о пережитом...

Иногда я открываю эту книгу с изображенным на обложке человеком в полосатой робе концлагерника. У него суровое, мужественное лицо, кулаки крепко сжаты, полуголой грудью он приник к колючкам ограды, собираясь как бы протаранить ее...

Да было ли так? Никакой робы мы тогда не носили — лагерь в Славуте, украинском городке, куда я попал с дизентерией и голодным отеком, скромно, даже гуманно именовался лазаретом. Этот гитлеровский «лазарет» размещался в бывших казармах — огромных нетопленых помещениях, с вечно мокрыми трехъярусными нарами, с неистребимым запахом тлена. Раненые и больные лежали на пропитанной водой и испражнениями соломе, которую санитары время от времени меняли вместе с постояльцем. Прежнего оттаскивали в мертвецкую, на его место клали нового, и все повторялось — и быстро мокреющая подстилка, и бессильные крики о помощи по ночам, когда на сотни больных оставался лишь один дежурный, и предсмертный, отчаянный, саднящий душу хрип, а чаще тихий и никем не услышанный вздох — последний звук отлетающей жизни...

О какой «робе» можно было здесь говорить. Даже если изначально она у кого-то имелась, то давно превратилась в клочья. Сюда привозили людей как на свалку — в грязном тряпье с чужого плеча. Это был последний этап и для человека, и для одежды — за стенами казармы их ждала разверстая черная пасть могильной ямы, где каждый новый слой трупов лишь слегка посыпался землей, смешанной с негашеной известью, сжигавшей дотла лохмотья вместе с кишевшими в них вшами...

И к проволоке тоже никто не подходил. Не мог подойти. За десять шагов до нее по земле была прочерчена белая кромка — каждый последующий шаг был равносилен смерти. Вахманы зорко следили с вышек за передвижением узников. Да и если бы кто-то из них обезумев от голода и отчаяния, пересек контрольную зону и достиг колючей ограды, то первое же прикосновение к ней также убило бы его, только еще вернее, поскольку сквозь проволоку был пропущен электрический ток.

Да и в героическую позу я не очень верю. Но не потому, что не видел там мужественных людей, способных умереть за правое дело. Видел. И гордился ими. Однако, совершая героическое по сути, ежедневно, ежечасно, ежесекундно рискуя жизнью, больше того, внутренне готовя себя к чудовищным, нечеловеческим мукам, сквозь которые им пришлось бы пройти в застенках гестапо прежде, чем умереть, эти люди никогда не принимали героических поз. И никогда никому не рассказывали о своих подвигах.

Почему мой друг не поправил художника, пошедшего на поводу у расхожих понятий о «героическом»? Не смог возразить ему? Или постеснялся? Последнее на него похоже: он всегда был ласков и мягок с товарищами. И насмешлив и непримирим к врагам.

Вспоминаю день, когда мы познакомились с ним. Он лежал неподалеку от меня на нарах, но я не смотрел на него, мой потухающий взгляд был устремлен в потолок. Меня не тянуло к общению с соседями: какой смысл узнавать, кто твой сосед, если не сегодня завтра его уже не будет? А не его, так тебя. Каждое утро в нашем ряду кто-то умирал. Еще в сумерках я узнавал умерших по каменно задранным подбородкам и тусклому блеску остановившихся глаз. И сам в душе готовился к смерти. Жизнь уходила с каждым днем. Не было

уже сил вставать, даже баланду ел лежа, проливая половину на себя.

Все же до весны дотянул. А в марте краснорожий фельдфебель из комендатуры привел к нам молодого чистенького офицерика в какой-то странной полугитлеровской-полубелогвардейской форме, крикнул: «Внимание!» и, осклабившись, вышел, оставив офицерика с нами наедине.

Это был власовский пропагандист, который стал уговаривать нас вступить в русский легион. Офицерик не превозносил немцев, нет, наоборот, давал понять, что с ними каши не сваришь, нужно помогать самим себе, а именно, как призывает генерал Власов, брать в руки оружие и воевать за «новую Россию». «Или, — пропагандист вразумляюще указывал пальцем, — доходить здесь, на нарах».

«Вы меня поняли, земляки?» — спросил он, закончив свою тираду.

«Поняли», — слабо отозвались нары.

«Так, значит, будем писать заявления?» Офицерик достал из планшетки аккуратно нарезанные листки бумаги и так же аккуратно заточенные половинки карандашей. «С кого начнем?»

«Ты для начала дал бы закурить, красивый», — сказал один из «доходяг», со впалой грудью и выбитым глазом. Я посмотрел на него с удивлением: неужели он поддался на агитацию власовца?

Офицерик засуетился, шаря по карманам, извлек портсигар, наполненный сигаретами, отсыпал половину и раздал жаждущим. Пьянящий ароматный дым заструился над нарами, перекрывая зловонные запахи.

Одноглазый сделал пять или шесть затяжек и передал окурок соседу.

«На, потяни, браток, табачок-то турецкий, не наша поло́ва! — сказал он, обнюхивая пальцы. — От одного духа чумеешь. — И усмехнулся. — Только уж больно цена дорогая... Стошнит, как подумаешь, а, па́ря?»

Офицерик, услышав, насторожился.

«Чего ты там мелешь? — Он спохватился. — Тебе вообще зря давал... слеподыру».

«Хоть я и слеподыр, а дальше твоего вижу. — Наш товарищ подмигнул единственным глазом. — Жаль мне тебя, красавчик, шейка-то у тебя белая, нежная. — И зацокал языком: — Ай-ай, как жалко!»

Мы поняли, засмеялись.

«Так будем писать, братцы?» Офицерик вскочил и пошел вдоль нар. Докуривая его сигареты, «братцы» насмешливо смотрели на него. Ни одна рука не протянулась за листком.

«Ну и подыхайте здесь, хрен с вами!» — злобно крикнул офицерик и, выбежав, захлопнул дверь.

В этот же день или на следующий я вдруг обнаружил, что одноглазый смельчак, высмеявший власовского вербовщика, расположился рядом со мной. Почему так случилось, мой обескровленный мозг сразу не осмыслил — то ли прежний сосед, лежавший слева от меня, умер и место освободилось, то ли сработал некий закон взаимного тяготения... Только помню шевельнувшуюся во мне радость, когда я, скосив глаза, увидел, как сбоку от меня тихонько, но основательно устраивается человек, единственный, кроме старшины барака и раздатчика пищи, кого я теперь различал среди всех. Как бы между прочим продолжая копошиться в уголке, он так же тихо и с усмешечкой, но уже дружелюбной, осведомился, как меня зовут. Себя он назвал Володей. «Вот и будем вместе, — прозвучало из угла. — А кто вместе — у того двести!» Приговорочка до смысла не дошла, но в груди у меня потеплело.

Мой новый сосед оказался человеком деятельным. Он куда-то уходил, потом приходил, шуршал какими-то бумажками, иногда забившись в самый угол, где на балке приспособил крошечную коптилку, сделанную из тряпочки, пропитанной неизвестно каким маслом, иногда же, по ночам, писал вслепую, что-то тихо бормоча себе под нос. Хилый на вид, с перебитыми ребрами, немного скособоченный, с красной, слезящейся пустой глазницей, которую он, уходя, прикрывал черной повязкой, с серо-землистым лицом и редкой, даже не нуждавшейся в бритве растительностью. Володя тем не менее не был доходягой. В отличие от многих, уже обессилевших или смирившихся с мыслью о тщетности своих усилий, он каждое утро перед раздачей баланды умывался заранее припасенной водой или талым снегом, скоблился — скорее для порядка, чем по необходимости, — осколком зеленого бутылочного стекла, подобранным где-нибудь на свалке, и никогда не попрошайничал, хотя сам охотно откликался на чужие просьбы. Он был еще и человеком хозяйственным. В углу, над балкой, у него находился целый маленький склад, в котором хранились аккуратно рассортированные по баноч-

кам и коробочкам всякие необходимые в нашей нищенской повседневности предметы — пуговицы, крючки, нитки, иголки, многократно использованные, но чисто выстиранные бинты, жженый уголь для лечения поносов, кусочки жевательной смолы, предохраняющей, как говорили, от выпадения зубов, и еще масса всяких полезных мелочей, которым мы когда-то, до войны, не придавали никакого значения. Володя великодушно позволял другим пользоваться этими сокровищами, давал безвозмездно то иголку, то нитку, то сапожные гвоздики, показывал, как надо делать из старых истлевших шинелей тапочки, а из отслуживших свой век алюминиевых котелков — портсигары и ложки.

Однако сам он никогда ничего не мастерил с целью продажи или обмена. Брался за иглу или ножницы только тогда, когда надо было кому-то помочь. Увидев, что у меня под головой ничего нет, кроме колодок, набитых соломой и обернутых вещмешком, Володя все так же тихо, не говоря ни слова, сделал высокую, довольно пышную подушку и украсил ею мое ложе. «Ну, как, — спросил он, — устраивает?» Я не поверил, что это дается мне в дар. Значит, ему что-то нужно? Но у меня уже не было ничего, что имело хоть какую-нибудь ценность. Часы немцы с меня сняли еще тогда, когда подобрали нас, раненых и контуженых, на поле боя. Сапоги пришлось в лагере променять на баланду, гимнастерку тоже... Подушка, конечно, меня устраивала, и я, почти не надеясь, что сосед продаст ее мне, предложил за нее две пайки хлеба — мой последний НЗ. Володя, усмехнувшись, покачал головой. «Хлебец оставь себе, да не береги, ешь. — Он пошелестел у меня над ухом бумажкой, смущенно кашлянул. — Другим меня отблагодаришь... если силенок хватит». Я не понял, чем, лежачий, могу быть ему полезен. «Тут вот... стихозу одну нацарапал. Может, послушаешь?» Я сделал усилие, чтобы приподняться. «Лежи, не напрягайся!» И тихим будничным голосом, все так же смущаясь, он прочитал стихотворение, показавшееся мне как бы пародией на что-то давно слышанное. «Вспомнил я в минуту жуткую твой стройный стан и карий луч твоих очей. Война казалась мне простою шуткою, и сердце радостно забилось и звончей». Таинственная вспышка, вызванная в воображении, высветила разбуженную этими немудреными строчками картину из моего прошлого... Вот комната в старом домике на курьих ножках, жарко

натопленная печь, сдвинутые к стене стол с недоеденными яствами и стулья, на углу стола раскрытый патефон, крутится пластинка, льются хрипловатые звуки танго, под которые мы, десятиклассники, юноши и девушки последнего мирного года, неуклюже и упоенно танцуем. «Карий луч твоих очей...» У моей девушки были серые глаза. Но это — о ней, конечно, о ней... Я силюсь вспомнить музыку, мелодия голубем парит надо мной, но не дает себя схватить... О, черт, да вот же она! «Мы будем пить вино шипучее...» Танго называлось «Брызги шампанского». Нет, «брызги» — это что-то страшное: грязь, кровь... Прежняя картина тут же гаснет. И я, украдкой размазывая пальцем слезу, говорю сочинителю, что все в его «стихозе» прекрасно, кроме двух-трех слов и названия. Лучше было бы назвать «Воспоминанием», тогда бы... Володя, не дослушав, кивает: «Ты прав, я тоже так думал». Он тянется к своему «гайнику» и достает оттуда завернутый в тряпочку ломтик хлеба с кусочком сала. «На-ка, дружок, подкрепись немного»... Беру, ем. Мне хочется спросить, откуда у Володи этот домашний хлеб, вкус которого я давно забыл, и сало, роскошь и подавно невиданная. Но сосед спускается с нар и, спрятав под рубахой бумажку со стихами, куда-то уходит. Странный, загадочный человек!

Вскоре мы были уже не просто соседями, между нами завязалось что-то вроде дружбы. Мы уже ели из одного котелка, курили одну цигарку на двоих... Все доставал, конечно, Володя — хлеб, табак, соль. Иногда он приносил вообще царские лакомства: обернутый в зеленый капустный лист катышек пахнущего коровой домашнего масла или кусок пирога с мятой картошкой, с луком, со шкварками. Меня не раз подмывало спросить у него, откуда все это. Но я не решался, понимал: как бы мы ни были близки, чужую тайну надо уважать, не набиваться с вопросами. Рано или поздно, думалось мне, мой сосед сам скажет...

Спасибо ему! Прошло не больше двух недель со дня нашего знакомства, как я стал подниматься и сползать с нар, потом, держась за столбы, сделал первые шаги... Ко мне возвращались силы, а вместе с ними и надежда. «Жить! Жить!» — звенела каждая жилка, каждый сустав. Как-то я отважился оторваться от столба и добрался до окна. Через проволочную сетку увидел поникшие сугробы в проталинах, и сердце радостно забилось. Вот и еще одна весна в моей жизни! Сбросив ко-

лодки, я поднялся на лавку. У меня дрожали колени, но все же мне удалось дотянуться до открытой форточки и вдохнуть воздух. Голова закружилась, я чуть не упал. Вернулся на нары, в смрад, но он уже не мог заглушить пробудившийся для меня запах весны — талого снега, пьянящего воздуха...

В душе я называл Володю спасителем. Но назвать другом долго не решался, не имел права. Друг тот, от кого нет секретов. А Володя все еще чего-то остерегался и нет-нет, как бы невзначай, устраивал мне испытания. «Неужели ты ничего не написал про лагерную жизнь?» — допытывался он. Ему не верилось, что молодой грамотный парень, недавний победитель школьных литературных конкурсов, мог «засушить», как он однажды выразился, свой поэтический талант. «Чудак! — хотелось ответить ему. — До поэзии ли здесь, в этой душегубке?» Володя понял меня без слов. «Ты не прав, если считаешь, что нашему брату не нужны стихи или музыка, — серьезно сказал он. — Порой искусство, братец мой, лечит лучше лекарства».

Прошло еще с полмесяца, я уже выходил во двор и грелся под лучами весеннего солнышка, как вдруг однажды Володя подошел ко мне и тихо, так, чтобы никто не услышал, проговорил: «Хочешь послушать концерт? Тогда иди за мной». Он подошел к оплетенной колючей проволокой двери, ведущей на главную «штрассу», сделал знак стоящему за ней человеку с повязкой переводчика на рукаве. Тот, оглядевшись, достал из кармана ключ и открыл замок на двери, затем пропустив нас наружу, снова закрыл и, притворно покрикивая, повел дальше. «Куда он нас ведет?» Едва подумал я, как переводчик остановился возле крайнего из блоков, снова открыл калитку и вместе с нами прошел в нее, поспешно заперев за собой замок.

Мы вошли в казарму. Переводчик остался в коридоре, а меня Володя повел в одну из комнат, предназначенных для фельдшеров и санитаров. Там, среди тесно приставленных друг к другу железных кроватей, возле единственной тумбочки сидел плотный, с покатыми плечами, смуглолицый крепыш восточного вида и сосредоточенно, с какой-то недовольной гримасой рассматривал себя в зеркало. «Это ты?» — спросил он, не поворачиваясь. Володя усмехнулся, подмигнув мне. «Мы», — с тихим вызовом ответствовал мой товарищ. И представил меня.

Смуглолицый был уже, вероятно, наслышан о моей персоне. «Ах, так это вот кто!» — несколько небрежно, но с интересом произнес он и повернулся на стуле. Тут я увидел, что у него нет одной ноги. Правая штанина была подвернута высоко, под самым пахом. «Ашот Саядов, — представился он в ответ все так же небрежно, не протягивая руки. — А вообще... для своих — Саша».

Еще раз посмотрев на себя в зеркало, он почему-то подкрасил углем и без того иссиня-черные брови, демонически поводил глазами туда-сюда и, взяв из угла костыли, единым махом поднялся со стула. Встав, крепыш оказался неожиданно малорослым. Но силы он был, по-видимому, недюжинной. Крупный квадратный торс, сильные короткопалые руки, поросшие чуть ли не до ногтей черным волосом, большая голова — все в нем было выразительно, дышало нездешней крепостью и здоровьем.

«Посмотрите мой костюм, — он достал из фанерного чемоданчика старую, но чистую, аккуратно заштопанную тельняшку и самодельную куртку из синей фланели. — Пойдет?»

«Еще бы, — улыбнулся Володя. — Ведь ты моряк, а там много из-под Севастополя».

«Я тоже так думаю! В нем я еще не выступал, только вчера его мне Нила передала».

Он вскинул голову. «Сегодняшний концерт я посвящаю ей». Отставив костыли, он ловко облачился в костюм, нашел в нагрудном кармашке белый платочек с оборочкой, молитвенно зажмурившись, приложился к нему губами и вставил его снова в кармашек. Потом, уже удовлетворенно, взглянул на себя в зеркало и, решительно открыв костылем дверь, вышел из комнаты. Мы двинулись за ним.

Вся эта процедура с одеванием, зеркалом и подкраской бровей была и непонятна и смешна. Я уже понял, что новый знакомый — артист. Но что за концерт он может дать? Да еще здесь, в мрачной полутемной казарме, среди стонов и бреда умирающих? Со страхом и отвращением я смотрел на самодовольного фигляра.

Но уже через десять, самое большее пятнадцать минут я понял, что жестоко ошибся. Нет, этот смуглолицый крепыш знал аудиторию и чувствовал, что ей надо. Глядя на него — нарядного, торжественного, — люди думали так: смерть смертью, гадать не будем, когда

придет наш конец, а пока живы, дышим, приятно посмотреть иа артиста, который сам, без немцев, пришел к нам и хочет показать свое искусство, не гнушается нашей обстаиовкой, вои как чисто оделся — опять для нас же...

Таковы были мысли. На них, как на добротно вспаханную почву, весомо и благодатно падали слова и мелодия песни.

Здравствуй, мать, прнмн пнсьмо от сына,
Я пншу тебе нздалека.
Из тюрьмы, которая постыла,
Там, где жнзнь печальна н горька.

О, как он пел — с надсадиой хрипотцой, простуженно и проникновенно! Мирный человек, артист, ставший воииом в грозный час и не щадивший жизни в тяжком бою, — таким воспринимался этот крепыш, впившийся сильными пальцами в костыли. А его песни — они нацелены прямо в сердце. Никто не смотрит на недостатки текста, на примитивность мелодии. Главное — настроение, а оно уловлено безошибочно.

Как ты встретншь меня, любимая,
Если вдруг у людей на внду
Из сраженнй, огня н дыма я
Инвалндом домой прнду?

«Браво! Бис!» — неслось со всех сторои. Эти восторженные крики заглушали все другие звуки — и чей-то невольный стон, и чей-то одинокий трусливый призыв к «благоразумию». Людьми овладело неистовство.

Певец подождал, пока сиова воцарится тишина, и, сам себя подзадорив, лихо щелкнул пальцами.

Мы будем пнть внно шнпучее...

Я вздрогнул, по спине пошли мурашки. Это та самая песня, при рождении которой я присутствовал. Сейчас она показалась мне вдвойне прекрасной.

А певец пел. Да, это был Артист! Он поводил большой головой в такт мелодии и слегка закатывал свои темиые выразительные глаза, как бы отдаваясь воображаемому настроению далекого мирного вечера и танца с любимой... Люди затаив дыхание внимали. У кого не было в жизни таких или похожих вечеров? Неужели оии никогда не повторятся?

Мы будем пнть вино шнпучее
И в танго упонтельном кружнть.
Вновь прнмет нас к себе страна могучая.
Вернется Родина, друзья, вернется жнзнь!

Артист потряс в воздухе костылями, крикнул: «Вернется жизнь!»

Что творилось с людьми, со мной — если бы кто видел! Наверно, никакая звезда эстрады еще не вызывала такого восторга аудитории, какой пробудил своими песнями этот маленький, смуглолицый инвалид с хрипловатым цыганистым голосом. А Володя? Он, который по праву должен был разделить с певцом добрую половину успеха, скромно стоял в сторонке, свертывая цигарку, и пальцы его слегка подрагивали...

И теперь, в старости, он такой же: никогда не хвастается, не выпячивает заслуг, хотя их немало. Я знаю, что Володя — теперь Владимир Николаевич Кондрашов — один из самых уважаемых людей в своем городе, награжден, имеет звание заслуженного учителя, а главное, его любит молодежь, для которой он служит примером самоотверженности, стойкости духа, постоянного творческого горения.

Скажу по совести: и я, его старый товарищ, тоже пытаюсь брать с него пример. Бывает, в трудную минуту жалуюсь ему на усталость или плохое настроение. Тогда он не медлит с ответом. Но, как и прежде, мой друг не морализирует, не читает нравоучений, а вспоминает о каком-нибудь случае из нашего прошлого, и у меня, как правило, легчает на душе...

А что же сталось с другими?

Много лет спустя пришло письмо из Львова, которое меня немало озадачило. Писала незнакомая мне Леонила Ивановна Мищенко, профессор Львовского университета. Сославшись на Володю, давшего ей мой адрес, она сообщала о судьбе моих знакомых по Славутскому лагерю, в том числе о судьбе Ашота Саядова. Он вместе с оставшимися в лагере ранеными и больными был освобожден нашей армией в начале сорок четвертого года, уехал на родину, в Краснодар, где когда-то пел в филармонии. Поначалу выступал с концертами в Домах культуры и рабочих клубах, но уже не имел такого успеха, как прежде. У него уже не было с в о е г о репертуара, новый он не нашел. Самолюбие его страдало, сдали нервы, кончилось тем, что он покинул сцену, поступил в какую-то артель. Потом открылись старые раны, и бедный Ашот ушел безвременно из

жизни, больной, покинутый всеми, кроме матери. Она и написала письмо о его кончине единственно помнившей о нем женщине, чей адрес он оставил перед смертью...

Сообщила Леонила Ивановна и о себе. Оказалось, что она — та самая «таинственная» Нила, посылавшая пленному певцу передачи из-за проволоки. Тогда она называла его своим «женихом». Но это было своего рода прикрытием ее деятельности партизанской связной: в лагере готовила побег группа военнопленных, и Нила получила от командира партизанского отряда задание вывести беглецов в расположение отряда, что и было выполнено в конце сорок третьего года.

Ашота давно нет в живых, но память о нем продолжает жить в сердцах людей, слышавших его песни. Они не забудутся нами, как не забудется лагерь, борьба за проволокой, побеги, священное пламя согревавшей нас дружбы. Это наше Прошлое, наша эпоха.

Воспоминание четвертое.

«Значит, летишь?» — спрашивает Андрюша, рассматривая мой «трансконтинентальный» авиабилет — продолговатую книжечку небесно-голубого цвета. В его взгляде мне почудилась легкая зависть. Это что-то новое в характере моего друга. «Времена меняются, меняемся и мы с ними».

Андрюша отдает мне билет: «Эх, брат-патронник, рад был бы тебе позавидовать, да что толку. Теперь я навсегда отлетался: врачи запретили любой подъем. Разве только на лифте».

Когда мы встретились на вокзале, не сразу угадал его. Волосы поседели, лицо осунулось, побледнело, даже шрамы от ожогов словно выцвели.

Мы взяли машину и поехали на квартиру к Бадикову. Наш бывший редактор, недавно овдовевший, дал команду, чтобы я вез нашего общего друга к нему. «Я теперь один, но это не значит, что не могу достойно принять. Будет и чистое белье, и полноценный обед», — пообещал он.

Обед в самом деле хорош. Бадиков, какой-то новый, домашний, в мягких шлепанцах, в фартуке, старательно ухаживает за нами, меняя блюдо за блюдом: салат из свежих овощей, прозрачный суп, пахнущий кореньями, тушеное мясо с картофелем, посыпанным укропом,

компот из крупных вишен. «Ягода своя, с дачного участка», — замечает хозяин не без гордости.

«Вот так, друзья мои! — говорит он. — Ко всему надо привыкать, теперь нам от жизни галушек ждать не приходится. А жить надо, так?» Ему семьдесят пять, лицо в морщинках, но походка бодрая и глаза смотрят по-прежнему с лукавинкой. «Пока человек работает, — говорит он, — жизнь продолжается. Как в часах с самозаводом — ты идешь, и часы идут. Но работу, конечно, надо брать по силам, ни себя, ни других не обманывать. Я вот от командования цехом ушел, но на заводе, в коллективе остался. Ночным директором. Работа тоже хлопотная, но — сижу в кабинете, с людьми общаюсь, в основном по телефону... — Он хлопает Андрюшу по колену. — Словом, патронник, жизнь идет!»

Подтекст его тирады мне понятен: своим примером он хочет подбодрить Андрея, который давно распростился с небом, но, закончив институт и приобретя вторую — уже «земную» специальность, работает в какой-то организации, косвенно связанной с аэродромной службой, и теперь, после болезни, боится, что он вынужден будет уйти и оттуда. Конечно, у него есть чем заняться: за эти годы он приобрел новые увлечения — собирает книги, пишет стихи (мне, например, он иногда присылает сонеты собственного сочинения, в основном философского характера), вечера проводит в шахматном клубе, играет наравне с мастерами, хотя сам всего лишь перворазрядник. Но все это, как он выражается, «хобби». А дело — здесь он согласен с Бадиковым — основа жизни.

В свое время, когда пришлось уйти из авиации, он вряд ли пережил бы удар, если бы не пример того же Бадикова. И тому в первые послевоенные годы пришлось сменить профессию. В редакторы его не взяли, а быть простым корреспондентом на побегушках — сам не захотел. Да и семья поджимала: на его плечах было трое, дети росли, учились, а послевоенное бытие было тяжелым. И он пошел на завод, где когда-то работал слесарем, а затем по комсомольской путевке стал газетчиком. Теперь «спираль» развернулась в обратную сторону: из газетчиков он снова подался в цех, работал и учился, стал техником, затем инженером, был выдвинут на командную должность, награжден орденом. Ценят его и сейчас... Жалеет ли он, что не работает в газете? «О чем говорить, братцы, когда поезд

уже прошел!» — отшучивается он. Да, «поезд» прошел и не вернется. Но и сейчас, когда бывший редактор вручает мне для передачи рабочему кружку «Цветы для Штукенброка» старую подшивку нашей «Родина зовет!», то руки его слегка дрожат от волнения...

«Хороши мы были!» — Бадиков любуется старыми фотографиями. Что и говорить! Меня, например, на этих фотографиях уже никто не узнает. В волосах — даже после всех переживаний — нет и признаков седины, они черные как смоль. В фигуре военная подтянутость, собранность. И друзья, если смотреть теперешними глазами, все красавцы... Только где они сейчас?

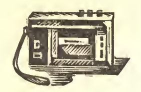
Леонид Волшенков, наш пламенный Леня, умер — раны доконали его, и с его уходом в нашей жизни утратилось что-то очень важное, какой-то общественный нерв: ведь именно Леня, никто другой, был долгие годы душой наших дружеских собраний.

Многие затерялись, из корреспондентского «корпуса» еще дает о себе знать — шлет весточки из родного Владимира, лаконичные, как и его бывшие репортажи, Василий Федорович Кротков, или — для нас — по-прежнему Вася. Смешно, если вдуматься: Вася в семьдесят лет. Но так оно и останется уже навсегда: Вася, Андрюша, Саша, Валентин... Наша память не знает старости.

А вот фотография Ивана Гавриловича Алексеева — чудесного доктора, нашего спасителя. В первые послевоенные годы ему пришлось, пожалуй, тяжелее нас всех. В его Георгиевске — по злобным наветам или по собственной инициативе — человека со сложной биографией травили узколобые чинуши, не давали спокойно работать. Дрогнула жена, отвернулся кое-кто из коллег. Пришлось уехать в другой край любимого Ставрополья. Заново начал жизнь уже в селе Красногвардейском — лечил, оперировал, спасал. Был восстановлен в партии, стал главврачом больницы, членом райкома. А сердце уже сдавало... Гигант, красавец, он умер в шестьдесят с небольшим. Нам сообщили о его смерти, когда он уже лежал в земле. Похоронили Алексеева на почетном месте, в ряду знатных людей района. «Значит, он это заслужил», — прочли в письме... Сейчас мы с Андрюшей — двое из тысяч спасенных им от гибели — вспоминаем эти строчки и грустно переглядываемся. Большего, гораздо большего заслужил этот человек... Да будет вечной память о нем!

Вот и снова вспомнили. И не собирались, но, видно, от прошлого никуда не денешься — тут и наша вечерняя поверка, и новый душевный заряд. Ведь это наше прошлое — вроде аккумулятора, питающего наши сердца энергией и надеждой, или, как выражается нововявленный автор сонетов Андрюша, «Земля, дающая силы Антею»...

Я не договорил — немец сам увидел на табло обращение к пассажирам с просьбой идти к самолету. Беседа закончена. А жаль, теперь уже и мне жаль!





В ПУТИ

Самолет набирает высоту, и снова проплывают и уходят все дальше и дальше зеленые, желтые, розовые полоски полей, россыпи краснокрыших домиков, серые прямоугольники заводских цехов, складов, пакгаузов... Вот уже парящие над ними белые облака дыма неразличимы под другими, небесными облаками. И все меньше и меньше дома́, у́же и у́же дороги, и огромное облако, вынырнув из-под крыла, застилает последнее голубое окошечко.

Теперь вокруг нас расстилается белая пустыня. Самолет еще набирает высоту, но с пейзажем уже все ясно: он не изменится почти до Москвы. До обеда еще далеко. Знакомых среди пассажиров нет, общаться не с кем. «Три часа одиночества» — придумываю название для заключительной главы, которую, возможно, когда-нибудь напишу. И будет она начинаться с такой строчки: «Нет ничего хуже самолетной скуки. Уж лучше сон». Да, лучше сон, тогда хотя бы набираешь силы для предстоящих трудов. Но не так-то просто вызвать его в себе, когда голова еще гудит от впечатлений и разговоров.

Беру в руки рекламный проспект с видами Африки. Предприимчивая Люфтганза проникла и туда. Отлично исполненные фотографии показывают желтые с синей полосой самолеты, парящие над песками Сахары,

над густо-зелеными тропическими чащами, над белым городом у яркой аквамариновой лагуны...

Кто-то осторожно трогает меня за плечо. Оборачиваюсь: надо мной в проходе стоит плечистый голубоглазый блондин с широкой, как веник, бородой и копной волос над белым чистым лбом. Он ничего не говорит, только улыбается, ждет, чтобы я его узнал. И, не дождавшись, вдруг хлопает себя по лбу, показывает на бороду. «Это она виновата!», — восклицает парень и прикрывает нижнюю половину лица ладонью. «А теперь?» — спрашивает он. «Неужели не помните? — В его голубых глазах чуть ли не мольба. — Я — Эрвин... Эрвин из Мюнстера... Мы с вами встречались... тогда, в Штукенброке!»

Помню. Я не узнал его не только потому, что тогда у него не было бороды, а прежде всего потому, что он упорно не называл своей фамилии. Ему не хотелось привлекать к себе внимания окружающих.

Наконец я ответил ему какой-то незначащей фразой и, в свою очередь, спросил парня, куда он летит. Вопрос, разумеется, был праздный. Но я хотел выиграть время и узнать, зачем понадобилась этому парню *моя* страна, летит ли он к нам как друг и доброжелатель или же как досужий искатель «экзотики», равнодушный, а то и враждебный, всему *нашему*.

Мне показалось, что Эрвин уловил мои сомнения. Его голубые глаза погрустнели, он покачал головой и присел на корточки, чтобы нам было удобнее общаться. «Я уже второй раз лечу в Москву, на студенческий семинар, — сказал он и, достав зубами из пачки сигарету, закурил. — Простите, вам не предлагаю, помню, что вы не курите».

Меня невольно тронули эти слова. «Значит, вы помните и другое — как мы познакомились, о чем говорили?». — «Я *все* помню!» — серьезно сказал он, затянувшись дымом.

И, видимо, чтобы не впасть в патетику, добавил с легкой улыбкой: «Помню, что в тот день мы оба промокли до нитки и пошли сушиться в одно и то же заведение, хотя и в разные залы. — Он с досадой тряхнул своей пшеничной копной. — Сейчас мы, конечно, были бы за одним столом. Но ведь с того дня прошло целых пять лет!» — «Да, — как эхо, откликается моя память. — Пять лет...»

...Входим под крышу, отряхиваемся. Впрочем, Вернер постарался доставить нас сюда в сохранности: при выходе с трибуны всем вручили зонтики. Но это мало нас спасло.

Немцы, как всегда, деятельны, но теперь, когда официальная часть закончилась, мысли принимают уже иной оборот.

Слышатся шутливые реплики:

— Сейчас, пожалуй, не мешало бы принять немного жидкости.

— Ха! Ему еще мало!

Вернер куда-то уходит и вскоре снова возвращается, держа под руку невысокого мужчину в рубашке с расстегнутым воротником.

— Знакомьтесь: хозяин заведения. Он приглашает всех нас отужинать, — Вернер делает внушительную паузу, — за его счет!

Приглашение, разумеется, принимается с радостью.

Хозяин, улыбаясь, делает широкий жест: прошу!

Через несколько минут человек пятьдесят уже сидят в полутемном банкетном зале со столами, составленными в длинный — от стены до стены — ряд, и сдержанно вполголоса переговариваются, наблюдая как ловкие официанты бесшумно расставляют приборы. Регламент есть регламент. Здесь его придерживаются строго. Для иностранных делегатов отведено почетное место за первым столом, рядом с организаторами манифестации. Справа от меня сидит смуглолицый болгарин, с которым мы обмениваемся односложными фразами на ломаном русском или немецком языке. Напротив нас Вернер посадил французов, мужа и жену, участников Сопротивления. Муж, как нам сказали, после высадки союзников был переведен из гестаповской тюрьмы в лагерь в Штукенброке и здесь встретил освобождение.

Языки постепенно развязываются, устанавливаются контакты. Отважный солдатик, которого я принял за девушку, с присущей ему страстной убежденностью что-то доказывает сидящему рядом с ним пастору, тот тихо кивает: ему, по-моему, не столько важен смысл речей солдата, сколько его безоглядная преданность идее, приведшей сюда их обоих. Небрежно одетый парень, которого Вернер отрекомендовал как представителя студентов, пристроился к нашему генералу и почтительно рассматривает орденские планки у него на груди.

Алексей Кириллович сидит прямой и неподвижный, как статуя, но в глазах играет усмешка. «Ничего, мол, не поделаешь, ведь и я уже нечто вроде музейного экспоната!» — говорит его взгляд.

К нам в зал то и дело кто-нибудь заглядывает. Большинство посетителей ресторана смотрят на нас с вежливым любопытством. Но есть и такие, что глазеют слишком уж беззастенчиво.

Встречаюсь взглядом с одним из них, высоким красивым парнем с белокурой копной над чистым юношеским лбом. Он рассматривает меня, а я — его. «Молодой Зигфрид», — усмехаюсь в душе, невольно любуясь этим «истинно арийским» типажем, и слегка толкаю локтем Гельмута. «Хорош, а?» Но Гельмут, обычно веселый и добродушный, взглянув на юного красавца, меняется в лице. «Ты знаешь, кто это?» Он называет одну из самых зловещих фамилий, с которой связана память о гитлеровских злодеяниях. «Но того давно нет в живых!» — говорю я, продолжая уже с антипатией смотреть на парня. «Этот, его внучек, тоже подает надежды. — Во взгляде коммуниста горит ненависть. — Года три назад он с дружками совершил в Мюнстере налет на типографию, где мы печатали наши мирные воззвания; сломали наборные кассы, рассыпали шрифт. А портреты Гитлера, флажки со свастикой и прочая неофашистская стряпня, которой они пичкают своих сверстников, молокососов, бредящих «героическим прошлым» Германии? Ведь это тоже дело их рук! И сюда, я уверен, он появился с какой-нибудь гнусной целью».

Гельмут вскакивает и подбегает к Вернеру. Я слышу, как он говорит ему, что надо бы поставить кого-нибудь у дверей, чтобы оградить нас от непрошеных зевак. Но Вернер разводит руками. Оказывается, перед тем, как дать нам пристанище, хозяин заведения поставил условие, чтобы мы всячески общались с публикой из других залов: разговаривали, танцевали, давали автографы. Гельмут возвращается огорченный. «Коммерция, черт бы ее побрал!» — бормочет он, поглядывая на дверь.

Вдруг в разгар нашего застолья люстра под потолком гаснет. В соседней комнате что-то ухает, взвизгивает и рассыпается. Невольно вздрагиваю. Но тут же прихожу в себя. Да это же поп-музыка! Настырная какофония — словно бьют палкой по стеклу — сопровож-

дается световыми вспышками. Время от времени вспышки переходят в потоки света — красные, желтые, синие, зеленые, розовые. Они то взмывают кверху, то причудливо извиваются в каком-то экзотическом танце, то медленно сползают на пол и замирают...

— Шеён? Красиво? — слышу я голос рядом с собой.

— О, да! — машинально отвечаю я и поворачиваюсь.

Вспышка озаряет потное, довольное лицо хозяина.

— Эта штука, — он с гордостью показывает на установку, — обошлась мне в двадцать тысяч марок. Но я не жалею. Публика довольна, видите?

Мы толпимся в дверях, наблюдая за танцующими. Люди топают, хлопают в ладоши, кружатся, приседают, ползут на карачках по полу... Какое-то всеобщее опьянение или же бегство от дум про жизнь, а может быть, просто бездумное счастье? Все танцуют — и молодые и старики. Ловкий кабатчик прав: он не прогадал. Я усмехаюсь: на нас он тоже не прогадал. Только мы ему стоили много дешевле.

Нет, я никого не осуждал. Пусть каждый живет по своим законам, лишь бы это были законы совести. И если бы у людей пропала способность веселиться, сойдясь в круг, то пропала бы, наверно, и радость жизни. Но во мне еще не остыли впечатления дня — возложение венков, манифестация, речи. Хотелось их сохранить, уберечь от суеты.

Взяв плащ, я вышел на улицу.

Несколько глотков свежего воздуха будто переродили меня. Дождь, пока мы сидели в ресторане, прекратился, напоив землю и деревья. Пахло хвоей, травами, скошенным сеном. В сумерках таинственно высился холм, домики у его подножия стали уже неразличимы, на темной округлой вершине виднелась лишь подсвеченная снизу башня.

Я шел не спеша по дороге, ведущей к полю, было тихо.

Музыка на мгновение смолкла, и я услышал скрип. Кто-то шел за мной — так мне показалось. Но, никого не увидев, подумал, что ошибся, и продолжал путь.

...Подхожу к кладбищу. В темноте еще больше ощущаешь его громадность. Крошечными светлячками мерцают посыпанные гравием дорожки, темным золотом и серебром отсвечивают положенные на могилы искусственные венки. Гуляет прохладный сквозной ветер.

При каждом его дыхании ленты на венках начинают шелестеть. Этот шелест похож на шепот. А темные концы лент шевелятся и судорожно обнимают намогильные камни, словно руки заживо погребенных, которые еще пытаются выбраться... Но ветер утихает, и снова тишина.

Стою и думаю. О чем? Мыслей много, но все они летучие, как ветер, гуляющий над этим ночным полем. Вспоминаю тех, кто погребен здесь, прежде всего тех, кого знал лично: Костю Марченко, бывшего тракториста с Кубани, ухаживавшего за мной, когда я болел сыпняком, моего земляка Гошку Монетова, ловкого, оборотистого паренька по прозвищу Купчик. Как хотел он выжить, наш Купчик: шил тапочки из тряпья и сбывал их за хлеб или сигареты французам, показывал фокусы на самодельных картах, опять же, разумеется, за малую мзду — словом, изворачивался как мог. Свалила Гошку дизентерия. Его силенок хватило на пять-шесть дней. Он уже умирал, когда меня позвали к нему. «Скажи, землячок, неужели это... все?» — прошептал он, плача. Я попытался успокоить его. «Полжизни отдал бы за лекарство, — клялся несчастный парень. — Мне же всего девятнадцать лет, землячок, понимаешь?» Что я мог сделать для него? Спросил, кто из близких остался у него на родине. Он был детдомовец, сирота, а жениться еще не успел. Только за минуту до смерти назвал, и то уже неясно, чье-то имя: не то Люба, не то Люся...

Ну а я, а все мы, разве нам не была уготована такая же участь?

Погруженный в свои мысли, я не заметил, что кто-то подошел ко мне и стоит почти рядом. А когда заметил — не почувствовал страха. Здесь, где были погребены шестьдесят пять тысяч человек — шестьдесят пять тысяч жизней, для меня как бы утратилось ощущение опасности. И все же я вздрогнул. Но не от испуга, скорей от неожиданности. Рядом со мной стоял парень, тот самый, похожий на героя средневекового эпоса.

Сначала я угадал его по темному силуэту, а через минуту, когда из-за облаков выглянула луна, увидел и лицо. Оно показалось мне мрачным, нахмуренным. Но угрозы в нем не было.

— Ты зачем пришел сюда? — вырвалось у меня, когда я рассмотрел, что парень держит что-то за спиной. — Хочешь убить меня или осквернить могилы моих товарищей? Но знай: это тебе так не пройдет!

Я говорил внушительно и спокойно. И в то же время понимал, что вряд ли могу его напугать. Даже если бы я закричал, никто меня не услышал бы. Но парень — теперь можно было почти поручиться — не собирался чинить зла. По-видимому, его что-то мучило, какая-то тайная мысль.

— Я знаю, что вам говорил этот... коммунист, — наконец с усилием выдавил он. — Что ж, это все правда. Да, правда, — в его голосе прозвучала горькая усмешка. — Внук палача и убийцы, сын вожака местных «гитлерюгендов» и сам недавний предводитель шайки «молодых волков». — Он молча покачал головой. — Но есть и другая правда, о которой никто не знает. — Только им, — парень со злобой кивнул в сторону городка, — я не скажу. Вам могу сказать. И этим... что в могилах. Вот... мой залог!

С этими словами он вынул из-за спины небольшой серебряный венок из тех, что вешают на месте гибели героев, и положил его на могилу. Выпрямившись, закурил, потом снова нагнулся и расправил ленты на венке.

Я следил за его движениями, пытаясь понять, что́ скрывается за ними — юношеское пижонство, истерический каприз или, может быть, честное раскаяние. Последнее мне казалось ближе к истине, но, право, пока я в этом боялся признаться даже самому себе. Все добрые предположения рушились, едва вспоминалась его роковая фамилия.

— Так вот, — сказал он с какой-то отчаянной решимостью, — прошлого больше нет, я его отрубил... как хвост саламандры. Память о деде я проклял вместе со всем миром. От папеньки, хотя он уже давно не больше, чем старый ворчун и маразматик, я ушел — живу в студенческом общежитии; с прежними дружками порвал. Итак, мы с вами не враги. Но еще и не друзья, ведь так? — Он схватил меня за руку и крепко сжал. — Не отвечайте мне, не надо, пока я не смыл с нее позор... — Парень тряхнул рукой и засмеялся. — Не верите, что смогу стать чистым? Но вы же марксисты, диалектики, должны верить, что человек способен измениться.

Он снова умолк, закрыл глаза и пошатнулся. Не от вина — если он и выпил, то совсем немного.

— Вам... нехорошо? — спросил я, перейдя на «вы».

— Ничего... Сейчас пройдет.

Передохнув, парень сказал уже спокойно.

— Но фамилию свою не изменю. И поверьте: я по-

стараюсь сделать так, чтобы она никого не пугала. Даю вам слово.

Он шагнул в темноту и исчез.

Я еще постоял немного, прислушиваясь к шороху гравия. Мне думалось уже не только о мертвых, но и о живых. «Кто поручится за их судьбу, — спрашивал я, стараясь унять волнение в душе, — и кто их спасет? Никто, кроме самих себя. А верить... верить надо, что победит разум, победит добро».

Вокруг была ночь, лишь вверху, сквозь облака, брезжил далекий неясный свет.

Что бы мы стоили, не будь у нас памяти! Для меня тот день и все, что произошло, стали одной из вех, с которой пошел отсчет нового отрезка или, если говорить громко, нового этапа в моей жизни.

По взгляду сидевшего рядом со мной на корточках молодого человека я видел, что и он помнит.

— Скрылся как вор в ночи! — Парень принужденно засмеялся. — Но то был не я, то была моя тень!

— Однако, насколько помню, эта тень разговаривала очень уж похожим голосом и даже курила те же самые сигареты.

— Что ж, похожие фокусы умели проделывать и другие всем известные тени. Вспомните тень отца Гамлета. — Он потушил окурок, усмехнулся.

Мне показалось, что парень нарочно взял со мной шутливый тон, чтобы избежать разговора о серьезных вещах. Но я ошибся. Порывшись в кармане, он достал желтый пластмассовый кружок из тех, что носят на груди участники празднеств и собраний, и пояснил:

— А это уже я сам, вернее, мой знак, с которым через две недели я пройду мимо окон кабинета господина канцлера Коля. Я думаю, что сей факт вам о чем-нибудь говорит.

На значке я прочел надпись: «Бонн, 10 июня 1983 года».

— Такой манифестации мира в ФРГ еще не было, — не без гордости пояснил немец. — Во главе колонны пойдут на костылях и поедут в колясках инвалиды войны. За ними последуют бывшие концлагерники в своих полосатых робах. Поравнявшись с «большим Ойгеном» — так у нас прозвали небоскреб бундестага, — молодые матери поднимут своих детей на вытянутых

руках. А студенты — между прочим, это придумали мы, мюнстерцы, — будут идти с голубятнями, укрепленными на шестах различной длины, и по сигналу выпустят голубей, поравнявшись с «Ойгеном». Пусть наши мирные птицы еще раз напомнят канцлеру и его министрам, что небо над Германией должно принадлежать только им — им, а не американским крылатым ракетам.

Теперь я смотрел на него с симпатией. Под словами этого парня мог бы, наверно, подписаться любой из моих друзей. Но снова взяло сомнение: не вспышка ли это, не кратковременный ли каприз сынка состоятельных родителей?

Вероятно, в моей памяти, как кровь через бумагу, проступало его уже далекое прошлое, эта проклятая фамилия, доставшаяся ему от предков.

— Вы все еще мне не верите? — спросил он, перехватив мой взгляд. — Что ж, я уже привык. Ваши друзья-коммунисты тоже поначалу смотрели на меня как на неонацистского лазутчика... — Он усмехнулся. — До тех пор, пока мои бывшие собратья не задумали поколотить отщепенца Эрвина, внука и сына «истинных германцев». Это произошло с полгода назад, после собрания, на котором была принята резолюция о манифестации в Бонне. «Молодые волки», конечно, узнали, что я голосовал вместе с коммунистами. Такого они вынести не смогли и решили свести со мной счеты тут же, при выходе из клуба, лишь заманив за угол. — Парень немного помолчал, вспоминая, и снова закурил. — Их главный, Лукас, по кличке Взводный, сначала взял роль судьи на себя. Наши отцы когда-то вместе маршировали в гитлерюгенде, а потом хотели, чтобы мы повторили их прошлое: и в самом деле, у нас со Взводным поначалу была дружба, в нашем гимназическом отряде он был моим заместителем или, как говорится, правой рукой. Потом мы разошлись. Лукас, который так и не кончил гимназии, ушел в мясники, а я продолжал учиться... И вот теперь он захотел расправиться со мной.

«Ну, что, Магистр, — сказал он с вызовом, намекая, что скоро, после защиты диплома, мне должны присвоить первую ученую степень, а также как бы напоминая о моей бывшей роли вожака в гимназической «стае», — говорят, ты променял крест на звезду?» Я ответил, что он не папа римский и не ректор университета, а потому я не обязан предъявлять ему свои рега-

лии. Тогда, видимо, не зная, что еще сказать, Взводный ринулся в драку. Здоровый парень, с тяжелыми кулаками, он рассчитывал на скорую победу, но забыл или не знал, что я в прошлом неплохой боксер. Словом, получил солидную сдачу: по три марки с пфеннига. Тогда, видя, что одному со мной не справиться, позвал на помощь других «волков». Некоторых из них я уже не знал, они были новенькие. Кое-кто, не надеясь на себя, сжимал в руках кастет или нож...

«Все, мне конец!» — мелькнуло в мозгу. Пропустив несколько ударов по голове, я потерял сознание. Последнее, что удалось расслышать, был чей-то крик, похожий на боевой клич...

Эрвин повернулся, чтобы взять с тележки стюардессы стакан оранжада, и я впервые увидел у него на лбу шрам. «Так вот это откуда!» — подумалось мне. Парень поднялся, чтобы размять затекшие ноги. А мне, признаться, уже не терпелось дослушать его рассказ до конца. Я даже сделал ему знак, показывая, что с интересом жду продолжения.

Эрвин не спеша допил лимонад, не спеша поставил стакан обратно на столик, привычно размялся, переступая с ноги на ногу, снова принял ту же позу и продолжил свой рассказ.

— Я очнулся. Не в аду, как рассчитывал, и не в раю, а на диванчике ночного сторожа в нашем клубе. И увидел совершенно незнакомые или почти незнакомые лица. Потом я узнал, что это были музыканты-любители, рабочий оркестр или так называемая «шальмайенкапелла» — я угадал их по синим форменным курткам и синим беретам с кокардой в виде лиры. И понял: это они меня спасли. — Парень с улыбкой покачал головой, вздохнул. — Потом-то я, конечно, выведал у этих славных трубачей, чем закончилась та история, но тогда они не хотели меня волновать; оказав первую помощь, погрузили в чей-то драндулет и отвезли в больницу. Там они навещали меня, приносили скромные дары, сидели сначала у койки, затем, когда я стал ходить, — в коридоре, и небольшими дозами, как лекарство, начали выдавать подробности. Оказалось, что мне в тот вечер повезло: их оркестр задержался, чтобы проиграть какой-то номер, который не ладился. Они уже складывали свои трубы, собирались домой, вдруг кто-то, вышедший первым, успел крикнуть: «Сюда, ребята!» и бросился во двор, чтобы разогнать дерущихся. В том, кто есть кто,

рабочие-музыканты разобрались почти мгновенно. Пацанов, тех, у кого в карманах не было оружия, тут же отпустили, дав по затрещине. Вооруженных во главе с мясником обезоружили и отправили под охраной в полицию. «Вот мерзавцы, вот негодяи!» — возмущались эти простые рабочие парни. Особенно пылал благородным гневом капельмейстер — маленький коренастый дядька по имени Эрих. «Если бы мой сын позволил подобное, я и моя жена пороли бы его посменно до утра. А ручка у моей Гертруд, — добавил он с гордостью, — дай бог, увесистая, как положено каменщице. — И подмигивал: — Скажу по секрету: сам этой женской ручки иногда побаиваюсь!»

Мы подружились. У некоторых из них — у того же Эриха, например, — было славное боевое прошлое. При Гитлере «шальмайен-капеллы» запрещались, музыкантов, играющих на этих древних народных инструментах, бросали в концлагеря. И все же иногда среди ночи раздавался звук «крамольной» трубы, как бы напоминая о простой и вечной как мир истине, что песню, как и народ, убить нельзя.

— Вот так, — закончил парень, — теперь часто ходим вместе. Идем на виду у всех, по самым людным улицам. А мясника с его сворой «блюстители порядка», конечно, вскоре, отпустили, взяв мизерный штраф.

Закончив рассказ, он снова закурил. Боясь, что у него опять затекут ноги, я встал и предложил ему пройти в соседний салон, где заметил два свободных места.

«Странный человек, — подумал я. — И еще более странная у него судьба». У меня вызывали уважение серьезность и сосредоточенность, которые тогда, пять лет назад, при нашей первой встрече, я мог бы принять за экзальтацию или, хуже того, за рисовку. Сейчас он казался поистине зрелым, мыслящим человеком. Что сыграло в этом роль — возраст, или обогащенный знаниями ум, или наблюдения над жизнью и людьми? Чем можно объяснить эту загадочную эволюцию?

Я не удержался и спросил у него.

Он улыбнулся. На его чистый лоб набежала легкая морщинка и разгладилась. По его глазам я видел, что этот вопрос для него не нов и, судя по всему, решен раз и навсегда.

— Все, о чем вы сказали, конечно, влияло и влияет. Уже не мальчик — скоро двадцать три года. И, не хвалясь, признаюсь: уже не дикарь и не неуч. Пещерный

период в моей жизни кончился, период рабовладения, наверно, тоже. Думаю, что нахожусь пока где-то между средневековьем и Возрождением. Первое не люблю, но его рудименты нам в какой-то степени навязывает время. Еще мы видим взрывы «культа силы» то здесь, на этом материке, то за океаном. Еще идут религиозные войны, еще кто-то мечтает о крестовых походах, о завоевании новых земель... Это, выражаясь по Марксу, — объективная реальность, данная мне, да и всем нам, в ощущение. Видите, я хоть и не коммунист, но Маркса штудирую исправно. Ренессанс же, в лучших своих чертах, разумеется, это средоточие прекрасного, торжество гигантов мысли и чувства... Нет, до него я еще не дорос — не хватает пламени души и сердца, нет окрыляющего чувства свободы. — Он взмахнул рукой. — Да что я, лучшие люди нашего времени уступают гениям Ренессанса — по классичности замыслов, по гармонии чувства и разума...

Я с возрастающим удивлением слушал его. В облике этого молодого немца, который на первый взгляд походил на спортсмена или артиста варьете, все больше и больше проглядывала серьезность, она же звучала и в его речах — не мальчика, но мужа. Немцы любят мудрствовать, но, бывает, и мудрят, выражаясь пространно и туманно. Здесь же было все понятно и — чувствовалось — все пережито, каждая мысль. Это невольно вызывало уважение, как любой человеческий поиск.

— И все же о главном я не сказал, — задумчиво произнес Эрвин, глядя куда-то за окно, в безбрежный океан облаков. — Главное — это, конечно, совесть. У кого нет совести или кто ее в себе задушит — тот не человек, а двуногий зверь, и наоборот, кто услышит совесть и будет жить с ней в ладу — тот придет к тому, к чему пришел я. Да, да, — он уже загорелся этой мыслью, как самой заветной из всего, что было им наработано в душе. — Более того: признак человека — не его внешний облик, не дар речи, а наличие совести. — Он усмехнулся. — А первый признак совести — раскаяние. Это я понял на самом себе.

— Вы гадали когда-нибудь на судьбу? — вдруг спросил меня Эрвин, чтобы переменить «пластинку».

— Нет, разве только когда-то в юности, и то в шутку.

— А я гадал. Составлял гороскоп... по телефону.

— Разве так можно?

— У нас можно. Хотите узнать свой гороскоп, наберите 0, затем 1-16-08 — и все в порядке. Ваша судьба, как пишут в рекламе, в ваших руках.

— Хорошо, в следующий раз полюбопытствую. А что сей современный астролог предсказал вам?

— Вечную борьбу за истину.

— Это шутка?

— Нет, совершенно серьезно.

— Тогда, разрешите, я задам вам тот же вопрос, какой, по преданию, почти две тысячи лет назад Понтий Пилат задал Иисусу Христу: что, по-вашему, есть истина?

— То же, что и для вас, и для всех людей: мир, любовь и согласие.

— Вы думаете, что каждый из живущих там, — я кивнул за окно, — это осознает?

— Там, — он, засмеявшись, показал на облака, — вряд ли. А ниже — должны осознать.

Мы все еще говорили с улыбкой.

— А если не осознают?

Лицо моего соседа потемнело.

— Тогда... — чуть слышно сказал он. — Тогда мы снова начнем с пещер... Или, еще вернее, с космической пыли.

Мы умолкаем. Мерно гудят турбины.

Под нами земля.



СОДЕРЖАНИЕ

Васильев А. С.

В 19 Мемориал. — М.: Мол. гвардия, 1986. — 286 с.,

В пер.: 75 к. 100 000 экз.

«Мемориал» представляет собой актуальное, политически острое произведение, которое затрагивает как прошлое — Великую Отечественную войну, так и современность. Книга построена на большом фактологическом материале, воспоминаниях автора о злодеяниях фашистских палачей, несгибаемом мужестве советских людей, а также о движении сторонников мира, о борьбе антифашистов и коммунистов ФРГ против сил реакции и мракобесия.

Рассчитана на массового читателя.

В $\frac{4702010200-267}{078(02)-86}$ КБ—024—002—86

ББК 84Р7

ИБ № 5207

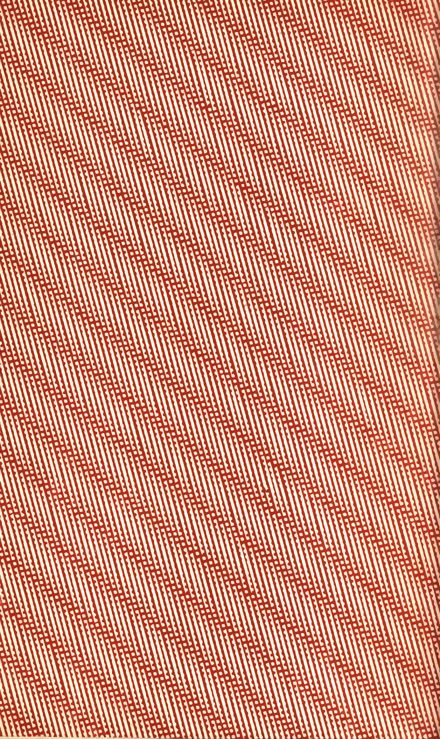
Александр Сергеевич Васильев

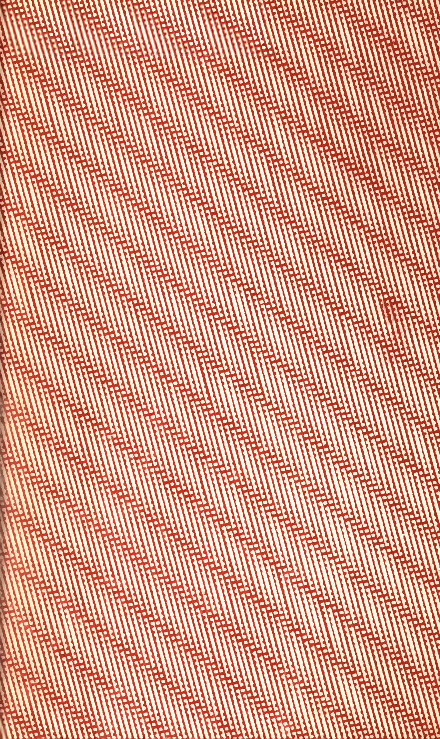
МЕМОРИАЛ

Редактор
В. Васильев
Художник
Ю. Семенов
Художественный редактор
Б. Федотов
Технический редактор
Т. Кулагина
Корректор
Н. Самойлова

Сдано в набор 18.04.86. Подписано в печать 08.09.86. А09731. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 15,12 + 0,84 вкл. Усл. кр.-отт. 16,54. Уч-изд. л. 16,8. Тираж 100 000 экз. Цена 75 коп. Заказ 935.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.





75 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ